

В. Гауф

СКАЗКИ

Классики
и
Современники



В. Гауф СКАЗКИ



В. Гауф

СКАЗКИ

Перевод с немецкого



Москва
«Художественная литература»
1988

ББК 84.4Г
Г 24

Классики и современники

*Зарубежная
литература*



W. HAUFF

Вступительная статья

В. Каверина

Художник

А. Лурье

Г $\frac{4703000000-188}{028(01)-88}$ 129-88
ISBN 5-280-00045-0

© Вступительная статья, оформление. Издательство «Художественная литература», 1988 г.

СКАЗКИ ГАУФА

I

Где только не рассказывают герои Вильгельма Гауфа сказки, легенды и предания, где только не происходят с ними необыкновенные истории: в пустыне на пути к Каиру, в самом Каире, в Александрии и Багдаде, в Германии и дремучем Шпессартском лесу, в Шотландии, во Франции в Париже, в Голландии, на море и на суше. И нельзя сказать, что эти истории тесно связаны друг с другом. Они далеки друг от друга. Они происходят в одних местах, а могут происходить и в других. Время действия условно. Это странно, но некоторые герои могут даже поменяться местами.

Более того: мотивы, которые сопутствуют возникновению этих историй, достаточно условны. Они могут даже отсутствовать, это ничего не меняет. Для того, чтобы была рассказана очередная сказка или повелла, автор не ищет серьезного повода. Необходимо лишь одно условие — время. Без собеседника, разумеется, не обойтись. Время и собеседник — этого для Гауфа вполне достаточно.

Одна история сменяется другой, при этом возникает иллюзия, что она продолжает предыдущую, как бы вложена в нее, а та, что вложена, содержит в себе третью. Казалось бы, эффект знаменитой русской матрешки не имеет ничего общего с повествовательной манерой известного немецкого сказочника, но если вдуматься, сходство нетрудно обнаружить: вот первая матрешка, оказывается, внутри нее — другая, затем — третья; казалось бы, вот и все, а нет — появляется еще и еще — матрешки, уменьшаясь в размерах, вложены одна в другую.

Такой же эффект неожиданного результата, связанности и непрерывности историй остается у читателя сказок Гауфа. Одновременно создается впечатление, что запас историй у автора безграничен. Он просто вынужден закончить цикл историй, так как ограничены размеры книги.

Но отметим существенную разницу: размер сказок для Гауфа не имеет никакого значения. Впрочем, и в других отношениях композиция произведений Гауфа бесконечно сложнее элементарного устройства матрешки. Ему ничего не стоит разорвать пополам сложную и занимательную сказку («Холодное сердце»), и, разумеется, это делается на самой интересной странице. Его учителя нетрудно угадать: это Эрнст Теодор Амадей Гофман. Гауф знакомит читателя с первой частью истории, необыкновенной, новой,

удивительной во всех отношениях, а потом, через много страниц, посвященных другим историям, рассказывает вторую часть, еще более необыкновенную.

Широко известно, как построена знаменитая сказочная эпопея «Тысячи и одной ночи». Красивая и догадливая палочница Шахразада, после очередной любовной встречи, зная, что паутро ее ожидает казнь, каждый раз обрывает сказку в самом интересном месте. Каждый раз с утренней зарей визирь, ее отец, приходит с саваном под мышкой, и каждый раз заинтересованный царь Шахрияр откладывает казнь. Мало кто замечает философский смысл этого противопоставления: смерть бессильна перед искусством. И она действительно бессильна, потому что гениальные творения прошлого бессмертны. Вместе с тем композиция «Тысячи и одной ночи» не очень сложна.

Шахрияр по ночам выслушивает сказки Шахразады и ласкает свою возлюбленную, а днем вершит правый суд.

Ничего похожего вы не найдете в произведениях Гауфа. Его истории не рассказываются на любовном ложе. Он предпочитает самые опасные и рискованные обстоятельства, которые сами по себе сказочны и намеренно усложнены. Авторы многочисленных исследований о народных, волшебных, авантюрных, бытовых сказках стремятся к сопоставлению мотивов. Но мне кажется, что плодотворнее не отыскивать общность мотивов, а противопоставлять их. Именно этот метод помог мне в работе над анализом скандинавских сказок: противопоставление исландских — датским, датских — шведским или норвежским помогло мне представить обширную панораму сказочного фольклора северной Европы (собрание сочинений, т. 8, стр. 423).

Примеров намеренно усложненной композиции, характерной для Гауфа, много, но достаточно только одного. Он отчетливо покажет эту неслучайную случайность.

В маленькую харчевню, находящуюся в глухом Шпессартском лесу, ночь и непогода загоняют золотых дел мастера, оружейника, извозчика и студента. Харчевню содержит семья, связанная с преступным миром. Чувствуя опасность, путники решают не спать до утра, а где герои Гауфа не спят, там автор заставляет их рассказывать друг другу сказки. Так возникает «Сказание о гильдене с изображением оленя». Его рассказывает оружейный мастер. Так как до утра еще далеко, вслед за этим сказанием мастер передает слово студенту. И читателю предлагается сказка «Холодное сердце», занимающая основное место в цикле «Харчевня в Шпессарте». Приезд графини с камеристкой и дворней прерывает студента. Ему, как и другим героям, конечно, не приходит в голову, что этот приезд и сама графиня существенно меняют ситуацию (и представляют собой мотив новой истории, которая не рассказывается героями, а происходит с ними). Все собравшиеся узнают, что разбойники намерены захватить графиню, чтобы получить за нее выкуп в двадцать тысяч гильденов, и что семья, содержащая харчевню, в сговоре с ними. Казалось бы, тут не до сказок! Опасность так велика, что надо не болтать, а подготовиться к обороне. Ничуть не бывало! Когда еще появятся разбойники! Чтобы не терять времени даром, собравшиеся решают познакомиться еще с одной историей, которую рассказывает егеря графини. Вот в этом месте «Альманаха сказок» Вильгельма Гауфа читатель певольно вспоминает «Тысячу и одну ночь». «Приключе-

ния Сауда» — традиционная волшебная сказка в духе этого грандиозного образца арабского фольклора.

Из Германии действие переносится в Багдад, во времена Гаруна аль-Рашида. Сказка длинна, но ночь еще длиннее. И хотя разбойников можно ожидать каждую минуту, путники, повинувшись прихотливому автору, выслушивают «Стиффольскую пещеру», которую рассказывает красивый шестнадцатилетний золотых дел мастер. Я не случайно упомянул о его красоте и молодости. Кто же еще, кроме него, может переодеться в женское платье и заменить графиню, когда наконец появятся разбойники? (Нельзя сказать, что этот прием блещет новизной. Он тысячи раз появлялся до Гауфа в литературе и драматургии всех времен и народов. Но это не останавливает автора.) Разбойники принимают юношу за графиню. Более чем ясно, что обстоятельства времени и места бесконечно далеки от возможности продолжать сказку «Холодное сердце». Как бы не так! Как раз для того, чтобы забыть об опасности, отвлечься, уйти возможно дальше от грозящей смерти, золотых дел мастер предлагает своим спутникам вернуться к подробному и обстоятельному заключению истории «Холодное сердце»: «...благо времени у нас хватит».

Не буду продолжать разбор этой все усложняющейся композиции. Пора заняться вопросом о теоретической основе повествовательной манеры Вильгельма Гауфа, изложение которой является неожиданным результатом авторских усилий. В его сказках нет лирико-философской интонации Андерсена. От него далека изящная простота гениальных сказок Перро. Русская народная сказка поэтична. Она связана с былинной. Отсутствие психологической глубины само по себе характерно для всех видов этого жанра. Но от сказок Гауфа, я бы сказал, было бы несправедливо требовать любой глубины, в том числе психологической. Ведь он подчас обходится даже без имени героя, ограничиваясь только сообщением о его профессии. Было бы грубой ошибкой предполагать, что эта особенность подсказана вдохновением. Нет. Такова теоретическая концепция автора. Гауф искусно вставляет в один из сказочных циклов («Александрейский шейх») рассуждение, имеющее общий характер.

«— Я никогда не задумывался... над тем, в чем, собственно, кроется очарование этих историй,— это говорит безымянный юноша.— Ум человеческий еще легче и подвижней воды, принимающей любую форму и постепенно проникающей в самые плотные предметы,— отвечает ему пожилой собеседник.— Он легок и волен, как воздух, и, как воздух, делается тем легче и чище, чем выше от земли он парит. Поэтому в каждом человеке живет стремление вознестись над повседневностью и легче и вольнее витать в горних сферах, хотя бы во сне... Внимая рассказам раба, вымыслу, придуманному другим, вы сами творили вместе с ним... сказка становится для вас явью, или, если угодно, явь становится сказкой...»

Но Гауф не останавливается в этом соображении. Для того, чтобы яснее представить его, он сопоставляет сказку с другим жанром — новеллой.

«Я думаю, надо делать известное различие между сказкой и теми рассказами, которые обычно зовутся новеллами... Они мирно свершаются на земле, происходят в обыденной жизни, и чудесна в них только запутанная судьба героя, который богатает или беднеет, складывается удачно или неудачно не при помощи волшебства, заклятия или проделок фей, как это

бывает в сказках, а благодаря самому себе или странному сплетению обстоятельств». И он приводит в пример те рассказы Шахразады, которые далеки от волшебства, заклатья или проделок фей. «...самое важное и привлекательное в них — то искусство, с каким передала речь и поступки каждого, сообразно его характеру».

Я и сам пробовал свои силы в жанре сказки, но мне казалось, чем теснее они будут связаны друг с другом, тем с большим интересом познакомится с ними читатель («Ночной Сторож, или Семь занимательных историй», рассказанных в городе Немухине в тысяча девятьсот неизвестном году»). Я стремился поселить своих героев в одном городе и определить отношение их друг к другу.

Как же объяснить, что ничем не связанные, происходящие в разное время и в разных странах творения Гауфа заняли такое заметное место в сказочной литературе мира? Я долго искал ответ на этот вопрос, обдумывая реальность знака равенства между сказкой и новеллой (в отличие от теоретических посылок!), которой добивается Гауф в своих замечательных книгах. Я перечитал знаменитую статью Горького, который больше всего ценил в сказках «изумительную способность нашей мысли заглядывать далеко вперед факта», познакомился со многими книгами, посвященными сказочному жанру, и не могу с полной уверенностью сказать, что мне удалось решить эту загадку. Но мне кажется, что я приблизился к ее решению. Мне кажется, что и сказки, и новеллы Гауфа, независимо от особенностей обоих жанров, существуют в некотором волшебном пространстве, которое само по себе не требует ни географических, ни топографических признаков. Это атмосфера чуда. Эта обыкновенность необыкновенного получила продолжение в истории мировой сказки. И самый убедительный пример подобного феномена принадлежит нашему блестящему драматургу и сказочнику Евгению Шварцу. В этом отношении он шагнул даже дальше Андерсена. С поразительной свободой он заставил в своих произведениях удивительное и обыденное шагать рядом и даже время от времени меняться местами. Недаром одна из его пьес так и называется «Обыкновенное чудо». В прологе к этой пьесе Шварц писал: «Юноша и девушка влюбляются друг в друга — что обыкновенно. Ссорятся — что тоже не редкость. Едва не умирают от любви. И, наконец, сила их чувства доходит до такой высоты, что начинает творить настоящие чудеса,— что и удивительно, и обыкновенно». Добрый волшебник превращает поправившегося ему молодого медведя в юношу, однако с условием, что юноша снова станет медведем, если его поцелует принцесса: принцесса целует юношу, но он не превращается в медведя, потому что волшебство любви — одно из самых сильных волшебств на земле. Сливаясь с чудом, обыденная жизнь оказывается сильнее его.

II

В жизни Гауфа, так же как в его сказках, обычное и необычное, простое и сложное соединяются в неожиданно остром скрещении. В ней не было никаких исключительных событий, но стремительность его существования и его полнота сами по себе были событием. Ни бурных стра-

стей, ни борьбы с современниками, ни поисков смысла жизни, подчас характерных для истинного таланта. Он прожил всего 25 лет (1802—1827), но не потерял даром ни часа. Он был стройный, красивый, с темно-синими глазами на бледном лице, веселый, остроумный, общительный, скромный, добрый.

В годы моего детства мы, ученики псковской гимназии, с завистью слушали рассказы о буршах — студентах дерптского университета (Дерпт или Юрьев, ныне Тарту, недалеко от Пскова). Они дрались на дуэлях, они держали рискованные пари, они по ночам меняли вывески магазинов — огромный деревянный крендель, висевший над булочной, водружали над аптекой, и наоборот, над булочной вешали символ медицины — чашу с обвившейся вокруг нее змеей. Они гордились шрамами на лице и руках — это было свидетельство мужества и любовных приключений.

Вильгельм Гауф был руководителем буршей в Тюбингене. Все любили его за красноречие и остроумие. Ни одно из студенческих развлечений не обходилось без его участия: дальние экскурсии, загородные прогулки, катание на сапках, танцевальные вечера, дружеские застолья, ночные серенады. Неистощимый выдумщик, он затевает проказы, которые никому не приходят в голову, кроме него. Члены его компании называли себя «факелоносцами» и носили красные штаны. Это дало повод Гауфу однажды ночью выкрасить красной краской ноги каменной статуи св. Георгия, водруженной на высокой скале над Тюбингеном. Вспоминая свою тогдашнюю жизнь, он говорит о ней в новелле «Фантасмагории в бременском винном погребке»: «...ты и возвышенная, благородная, ты и грубая, варварская, и милая, и беспорядочная, и мелодичная, и отталкивающая, и все же такая приятная и живительная!» Правда, увлечение этой жизнью длилось недолго. Это была ранняя юность, а развитие его как творческой личности проходило со стремительной быстротой. Неожиданно, но в первом своем опубликованном произведении «Извлечения из мемуаров Сатаны» он подсмеивается над буршами, затем которых не имеют ничего общего с политической жизнью Германии, хотя они часами болтают в пивной о народности и свободе.

Эта измена самому себе характерна для Гауфа. Он — во всем и всегда воплощенный поиск.

Человек не знает, как сложится его жизнь, на каком повороте она оборвется, но Вильгельм Гауф жил так, как будто он знал, что умрет двадцати пяти лет. Он написал не только сказки, лучшие из которых заняли видное место в мировой литературе. Его перу принадлежат также любовные стихотворения, баллады, популярные солдатские песни. В 1825 году одно за другим выходят три его крупных произведения: «Извлечения из мемуаров Сатаны», роман «Человек с луны» и альманах, представляющий собою собрание сказок. Он соединяет с работой увлекательное путешествие: через немецкие города Франкфурт-на-Майне, Майнц и др. он направляется в Париж, затем Брюссель, Антверпен и через север Германии — в Кассель, Бремен, Гамбург, Берлин, Лейпциг и Дрезден — всюду отдают должное его литературному таланту. Чем бы он ни занимался, где бы он ни побывал, куда бы ни поехал, при всех обстоятельствах жизни его литературная биография развивается с возрастающим успехом. Он женится, но это не помеха для начала редактирования журнала. Он пишет, пишет и пишет...

В 1826 году он печатает вторую часть «Мемуаров Сатаны», исторический роман «Лихтенштейн», новый «Альманах сказок на 1827 год», повеллы «Отелло» и «Нищенка с Моста Искусств». Последний год в его жизни отмечен новыми доказательствами его вдохновенного труда: он печатает еще один «Альманах сказок» и знаменитое эссе «Фаптасмагории в бременском винном погребе», своеобразное философское и мемуарно-лирическое произведение. В двадцать пять лет он уже пишет мемуары! Наконец появляются его последние повеллы «Певница», «Еврей Зюсс», «Последние рыцари Мариенбурга» и «Портрет императора». Работоспособность его удивительна. Он не считает серьезной работой множество статей и рецензий в газетах и еженедельниках. Он планирует произведения, к сожалению, оставшиеся только в черновиках. Среди его планов роман из эпохи освободительных войн против Наполеона и оперное либретто. Современный исследователь творчества Гауфа¹ справедливо подводит итоги этой молниеносной работы: «Сейчас даже трудно представить себе, что все произведения Гауфа были созданы меньше чем за три года. И созданы очень молодым человеком, не успевшим приобрести ни жизненного опыта, ни мастерства. Но при всех легко различимых недостатках они — создания по-своему новаторские, в них угадываются идеи и формы новой эпохи».

Историко-литературная мысль остается холодной, когда ее бесстрастный голос рассказывает о жизни художника. Б. М. Эйхенбаум, кончая книгу о Лермонтове, был прав, заметив, что ранняя гибель Лермонтова не имеет научного значения. Но не надо забывать о чувстве. Самый бесстрастный ученый не может остаться равнодушным, размышляя о ранней смерти гениального человека. Он невольно представляет себе, каких вершин могло бы достигнуть его творчество.

Томас Чаттертон, с необыкновенным талантом подделавший оды и баллады XV века и сумевший включить в круг английской литературы старинную поэзию, покончил с собой, когда ему было семнадцать лет. Невольно подумаешь, что внеисторическое понятие «судьба» каким-то образом присутствует в трагической участи гениального человека. Прав ли был Некрасов в знаменитом стихотворении, навеянном известием о смерти Писарева: «Хорошо умереть молодым!»? По отношению к людям, деятельность которых могла бы обогатить человечество, это ложная мысль.

Гауф писал свои сказки для детей — сперва рассказывал, а потом писал. Как все знаменитые произведения, написанные для детей, его сказки входят в круг взрослого чтения. Он никогда не опускается до упрощений, последовательно ведет читателя вперед и выше, как бы заставляя его стремиться туда, где он — читатель еще не был.

В. К а в е р и н

¹ А. Б. Ботникова. Предисловие к сборнику: Гауф В. Избранное. М., Радуга, 1986 — на нем. яз.

СКАЗКА ПОД ВИДОМ АЛЬМАНАХА

В далекой прекрасной стране, о которой гласит предание, будто в ее вечнозеленых садах никогда не заходит солнце, царствовала, с незапамятных времен и до наших дней, королева Фантазия. Щедрой рукой наделяла она с давних пор своих подданных всяческими благами и была любима и почитаема всеми, кто ее знал. Но королева обладала слишком любвеобильным сердцем, чтобы довольствоваться благодеяниями у себя в стране; она сама, в царственной красе своей вечной молодости и прелести, слетела на землю, ибо она слышала, что там обитают люди, которые проводят жизнь в суровой печали, среди забот и трудов. Им принесла она прекраснейшие дары из своего царства, и с тех пор, как прекрасная королева прошла по земным долам, люди стали радостней за работой, беззаботней в своей печали.

Своих детей, не менее прекрасных и приветливых, чем сама царственная мать, она тоже послала на землю дарить счастье людям. Однажды Сказка, старшая из дочерей королевы, возвратилась с земли. Мать заметила, что Сказка грустна, мало того, ей даже показалось, будто у той заплаканы глаза.

— Что с тобой, душенька Сказка,— обратилась к ней королева,— отчего со времени путешествия на землю ты так печальна и грустна? Доверься своей матери, скажи, что с тобой?

— Ах, милая мама! — отвечала Сказка.— Конечно, я не стала бы так долго молчать, если бы не знала, что эта печаль — также и твоя.

— Пужды нет, говори, дочь моя,— сказала прекрасная королева,— горе — это тяжесть, которая не под силу одному и с которой легко справиться вдвоем.

— Ну так слушай же,— отвечала Сказка,— ты знаешь, как охотно я провожу время среди людей, с какой радостью присаживаюсь я у хижинки бедняка, чтобы после работы поболтать с ним часок; люди обычно очень радостно приветствовали меня, когда я приходила, и, весело улыбаясь, глядели мне вслед, когда я шла дальше; но в последний раз все было по-иному!

— Бедная Сказка! — сказала королева и погладила ее по

мокрой от слез щеке.— Но, может быть, тебе так только показалось?

— Верь мне, я не заблуждаюсь,— возразила Сказка,— они меня разлюбили. Повсюду, куда я прихожу, меня встречают холодные взгляды; нигде мне не радуются; даже дети, которые меня ведь всегда любили, смеются надо мной и, с серьезным не по летам видом, отворачиваются от меня.

Королева склонила голову на руку и умолкла в задумчивости.

— Но чем же объяснить, Сказка,— спросила королева,— что люди там, на земле, так изменились?

— Видишь ли, они расставили повсюду мудрых сторожей, которые зорко следят за всем, что появляется из твоего царства, о королева Фантазия! И если тот, кто приходит, им не по душе, они поднимают громкий крик и убивают его или так порочат его перед людьми, которые верят им на слово, что у тех не остается уже ни любви, ни искорки доверия. Ах! Хорошо моим братьям, снам; не обращая никакого внимания на тех мудрецов, весело и легко слетают они на землю к спящим людям и навевают им все, что радует сердце и веселит взор.

— Твои братья — ветрогоны,— сказала королева,— и тебе, любимица моя, нечего им завидовать. А сторожей тех я знаю хорошо; люди вовсе не так уже неправы, поставив их; не один бойкий проходимец делал вид, будто прямым путем явился из моего царства, а на самом деле он разве что заглянул к нам с какой-нибудь горы.

— Но почему же они наказывают за это меня, твою настоящую дочь? — плакала Сказка.— Ах, если бы ты знала, как они со мной поступили! Они обозвали меня старой девой и пригрозили в следующий раз совсем не впустить меня.

— Как! Не впустить мою дочь? — воскликнула королева, и гнев залил краской ее щеки.— Однако мне ясно, откуда это исходит: нас оклеветала злая тетка!

— Мода? Неужели? — воскликнула Сказка.— Она ведь всегда такая приветливая!

— Я ее, лицемерку, хорошо знаю! — отвечала королева.— Но сделай ей назло еще одну попытку, дочь моя; кто творит добро, тому не пристало унывать.

— Ах, мама! А если они меня просто прогонят или так опорочат, что люди на меня и глядеть не станут, а то еще с презрением забросят и забудут в углу?

— Если взрослые, оболыщенные Модой, пренебрегут тобой, обратись к детям,— вот поистине мои любимцы; твои братья, сны, приносят им от меня самые светлые видения; да и сама я часто слетала к ним, ласкала и целовала их, затевала с ними веселые игры; они хорошо меня знают, хотя имя мое им не знакомо, но я часто замечала, как по ночам они улыбаются моим звездам, а утром, когда сияющие барашки тянутся по небу, они от радости хлопают в ладоши. И, подрастая, они все еще любят меня; я по-

могаю милым девушкам плести пестрые венки, а резвые юноши задумываются, когда я подсаживаюсь к ним на высокой вершине скалы, воздвигаю из туманного мира далеких синих гор высокие замки и блистательные дворцы и создаю из пурпурных вечерних облаков отряды отважных всадников и причудливые шествия пилигримов.

— О милые детки! — растроганно воскликнула Сказка. — Будь по-твоему, попытаюсь обратиться к ним.

— Да, дорогая моя дочка, — сказала королева, — пойди к ним; только я тебя как следует приодену, чтобы ты понравилась малюткам и чтобы взрослые тебя не прогнали; знаешь, я наряжу тебя альманахом.

— Альманахом, мама? Ах! Мне стыдно в таком виде щеголять перед людьми.

Королева кивнула, и служанки принесли изящный яркий наряд альманаха, затканый прекрасными узорами. Прислужницы заплели в косы чудные волосы девочки; они подвязали ей к ногам золотые сандалии, а затем набросили на нее прекрасное одеяние. Скромная Сказка не смела поднять глаза, но мать оглядела ее с удовлетворением и заключила в объятия.

— Ступай, — сказала она дочке, — благословляю тебя. А если они станут глумиться и насмехаться над тобой, вернись ко мне; может быть, позднейшие поколения, более близкие к природе, снова обратятся сердцем к тебе.

Так говорила королева Фантазия.

И Сказка спустилась на землю. Сердце колотилось у нее, когда она подходила к месту, где распоряжались мудрые стражи; она низко склонила голову, плотнее запахнулась в свой прекрасный наряд и робкими шагами приблизилась к воротам.

— Стой! — крикнул хриплый грубый голос. — Стража, сюда! Явился новый альманах!

Услышав это, Сказка задрожала; навстречу ей, потрясая остро отточенными перьями, ринулась толпа пожилых мужчин мрачного вида. Один из них подошел к Сказке и схватил ее за подбородок.

— Голову кверху, господин альманах! — закричал он. — Мы по глазам прочтем, чего ты стоишь.

Покраснев, подняла Сказка голову кверху и раскрыла темные глаза.

— Сказка! — закричали стражи и громко расхохотались. — Сказка! А мы-то думали, невесть какое чудо явилось. Откуда на тебе этот костюм?

— Его надела на меня мать, — отвечала Сказка.

— Вот как? Она хочет протащить тебя к нам контрабандой? Нет, шалишь, убирайся отсюда! — закричали стражи и подняли острые перья.

— Я хочу только к детям, — умоляюще произнесла Сказка, — ведь к ним вы можете меня пустить?

— И без того довольно сброды шатается по земле, — восклик-

нул один из стражей,— и вбивает нашим детям в голову разный вздор.

— Посмотрим, что она знает на этот раз,— сказал другой.

— Верно! — воскликнули все.— Расскажи-ка, что ты знаешь, но поторопись, мы не станем терять на тебя время.

Сказка вытянула руку и принялась указательным пальцем чертить в воздухе какие-то знаки. И перед зрителями замелькали пестрые картины: караваны, прекрасные кони, разряженные всадники; бесчисленные шатры в песках пустыни; птицы и рыбы в бурных морях; тихие леса и многолюдные площади и улицы; битвы и мирные кочевья,— все они пестрой вереницей, в живых образах, проносились мимо. Сказка с таким усердием вызывала к жизни легкие видения, что и не заметила, как стражи, охраняющие ворота, уснули один за другим. Но когда она собралась чертить новые знаки, к ней подошел какой-то приветливый человек и схватил ее за руку.

— Взгляни-ка, милая Сказка,— сказал он, указывая на спящих,— им твои пестрые картинки не нужны; проскользни скорей в ворота; они не узнают, что ты на земле, и ты мирно и незаметно пойдешь, куда пожелаешь. Если хочешь, я поведу тебя к своим детям; у меня в доме я дам тебе тихое и уютное местечко, там ты можешь поселиться и жить спокойно. Если мои дети будут прилежно учиться, они после занятий станут приходить к тебе со своими сверстниками и слушать тебя. Хочешь?

— О, как охотно последую я за тобой к твоим деткам, как я буду стараться доставить им порой веселый часок!

Добрый человек ласково кивнул ей и помог перешагнуть через ноги спящих стражей. Улыбаясь, оглянулась Сказка и быстро скользнула в ворота.

КАРАВАН

Однажды по пустыне шел большой караван. На беспредельной равнине, где видишь только небо да песок, издали уже слышались колокольчики верблюдов и серебристые бубенцы лошадей; густое облако пыли, предшествовавшее ему, возвещало о его приближении, а когда порыв ветра рассеивал облако, блеск оружия и пестрота одежд слепили глаза.

Так предстал караван всаднику, приблизившемуся к нему сбоку. Под всадником был прекрасный вороной конь, которому попоной служила тигровая шкура, а лую сбрую унизывали серебряные колокольчики, а над головой развевался прекрасный султан. Сам всадник был статен, и наряд его отвечал великолепию коня: чело ему обвивал белый тюрбан, богато затканый золотом; кафтан и широкие шаровары были пунцового цвета; у пояса висела кривая сабля с богатой рукояткой. Тюрбан, надвинутый низко на лоб, блеск черных глаз из-под густых бровей, длинная борода, спускавшаяся из-под горбатого носа,— все это придавало ему мрачный и грозный вид. Когда всадник очутился шагах в пятидесяти от начала каравана, он пришпорил коня и вмиг подскочил к переднему ряду. Так диковинно было видеть посреди пустыни одинокого всадника, что стража каравана, испугавшись нападения, выставила ему навстречу копьа.

— Что с вами? — вскричал всадник в ответ на столь воинственную встречу. — Неужто, по-вашему, один человек вздумает напасть на ваш караван?

Пристыженная стража отвела копьа, а ее пачальник подъехал к незнакомцу и спросил, чего он желает.

— Кто хозяин каравана? — спросил всадник.

— У него не один хозяин, — отвечал тот, — здесь несколько купцов возвращаются на родину из Мекки, а мы сопровождаем их через пустыню, потому что в этих краях всякий сброд частенько тревожит путешественников.

— Тогда проводите меня к купцам, — потребовал незнакомец.

— Сейчас это невозможно, — возразил глава стражи, — нам нужно без задержки продолжать путь, а купцы отстали от нас по меньшей мере на четверть часа пути; если же вам угодно про-

ехать со мной до привала на полуденный отдых, то я исполню ваше желание.

Незнакомец ничего не ответил; он достал длинную трубку, которая была у него привязана к седлу, и принялся курить, глубоко затягиваясь, а сам продолжал ехать подле предводителя каравана. Тот не знал, как ему быть с незнакомцем; он не решался напрямик спросить его имя, а сколь ни искусно пытался он завязать разговор, незнакомец на его замечания, вроде: «Недурной вы курите табак», или: «У вашего вороного славный ход», — отвечал кратким: «Да, да!» Наконец они достигли места, назначенного для полуденного отдыха. Предводитель расставил стражу из своих людей, а сам вместе с незнакомцем стал поджидать караван. Тридцать верблюдов с тяжелой поклажей, в сопровождении вооруженных погонщиков, прошли мимо них. Далее на красивых конях следовали пятеро купцов, которым принадлежал караван. То были по большей части люди преклонного возраста, суровые и степенные на вид, один лишь казался много моложе остальных, а также живее и веселее. Множество верблюдов и вьючных лошадей замыкали шествие.

Тотчас же были разбиты шатры, а верблюды и лошади поставлены возле них.

Посредине помещался большой шатер из голубого шелка. Туда повел начальник стражи незнакомца. Когда они откинули занавес у входа, то увидели пятерых купцов, сидевших на затканых золотом подушках; черные рабы подавали им кушанья и напитки.

— Кого это вы к нам привели? — крикнул молодой купец предводителю. Но не успел тот ответить, как заговорил незнакомец:

— Меня зовут Селим Барух, я родом из Багдада; на пути в Мекку я был захвачен шайкой разбойников и три дня тому назад тайком бежал из плена. По милости великого пророка я издали услышал звон колокольчиков вашего каравана и явился к вам. Дозвольте мне путешествовать вместе с вами. Ваше покровительство не будет оказано недостойному, а когда вы приедете в Багдад, я щедро вознагражу вашу доброту, ибо я племянник великого визиря.

Ответил ему старший из купцов:

— Селим Барух, — сказал он, — мы с радостью берем тебя под свою защиту и охотно поможем тебе, но сперва садись, ешь и пей с нами.

Селим Барух сел подле купцов и стал есть и пить с ними. После трапезы рабы убрали посуду и принесли длинные трубки и турецкий шербет. Купцы долго сидели молча, выпускали голубоватые облачка дыма и следили, как те свиваются, расходятся и, наконец, улетучиваются. В конце концов молодой купец прервал молчание:

— Вот так мы сидим уже три дня, — сказал он, — и на коне и за столом, не пытаюсь никак скоротать время. Меня порядком

одолевают скуку, ибо я привык после трапезы смотреть на танцовщиков либо слушать музыку и пение. Друзья мои, не придумаете ли вы, чем бы нам скоротать время?

Четверо старших купцов продолжали курить, не на шутку, по-видимому, задумавшись, незнакомец же заговорил:

— Позвольте мне сделать предложение. Хорошо, если бы на каждом привале один из нас что-нибудь рассказывал остальным. Это уж, конечно, помогло бы нам скоротать время.

— Селим Барух, твоя правда,— сказал Ахмет, старший из купцов,— нам следует принять это предложение.

— Я рад, что мое предложение пришлось вам по вкусу! — произнес Селим.— И дабы показать вам, что требование мое бескорыстно, я возьму почин на себя.

Пятеро купцов с воодушевлением придвинулись ближе, а незнакомца усадили посредине. Рабы опять наполнили чаши, наново набили своим господам трубки и принесли горящих углей, чтобы зажечь их. Селим освежил горло добрым глотком шербета, расправил длинную бороду и произнес:

— Итак, слушайте рассказ о калифе-аисте.

РАССКАЗ О КАЛИФЕ-АИСТЕ

I

Багдадский калиф Хасид благодушествовал однажды под вечер у себя на диване; он слегка вздремнул, ибо день выдался жаркий, и теперь, после дремы, казался весьма в духе. Он курил длинную трубку розового дерева, время от времени отпивал глоток кофе, который наливал ему раб, и всякий раз, смакуя напиток, с довольным видом поглаживал бороду. Словом, ясно было, что калиф настроен превосходно. Именно в этот час он бывал сговорчивее, мягче и милостивее всего; потому-то его великий визирь Мансор являлся к нему ежедневно об эту пору. Тут он тоже пришел, но был, против своего обыкновения, очень озабочен. Калиф на минуту вынул трубку изо рта и произнес:

— Отчего у тебя такой озабоченный вид, великий визирь?

Великий визирь сложил руки крестом на груди, поклонился своему господину и ответил:

— Господин мой! Озабоченный ли у меня вид, я не знаю, но внизу перед дворцом стоит разносчик с такими прекрасными вещами, что меня досада берет, отчего у меня нет лишних денег.

Калиф, которому давно хотелось чем-нибудь порадовать своего великого визиря, послал черного раба вниз за разносчиком. Вскоре раб вернулся с разносчиком. То был толстый человек, очень смуглый лицом и одетый в лохмотья. При нем был ларь, вмещавший всевозможные товары — жемчуга и кольца, богато оправленные пистолеты, чаши и гребни. Калиф со своим визирем

пересмотрели все, и калиф купил в конце концов для себя и для Мансора красивые пистолеты, а для жепы визиря — гребень. Когда разносчик собрался уже заширать ларь, калиф заметил в нем еще ящичек и спросил, нет ли и там товаров. Разносчик выдвинул ящик и вынул из него табакерку с черноватым порошком и бумажку со странными письмецами, которых не могли разобрать ни калиф, ни Мансор.

— Я получил как-то эти предметы от одного купца, который нашел их на улице в Мекке, — сказал разносчик, — я не знаю, что в них содержится; вам я уступлю их за самую низкую цену, мне-то ведь они ни к чему.

Калиф, который охотно собирал для своей библиотеки старинные манускрипты, хоть и не умел читать их, купил рукопись и коробочку и отпустил разносчика.

Однако калифу очень хотелось узнать, что сказано в рукописи, и он спросил визиря, не знает ли тот, кто бы мог разобрать ее.

— Милостивый господин и повелитель, — ответил визирь, — при большой мечети проживает человек, которого зовут Премудрый Селим, он знает все языки, вели позвать его, быть может, он поймет эти таинственные начертания.

Премудрый Селим вскоре был приведен.

— Селим, — обратился к нему калиф. — Селим, говорят, ты большой мудрец; взгляни-ка в эту рукопись, разберешь ты ее или нет; если разберешь, то получишь от меня новую праздничную одежду, а не разберешь, то получишь дюжину пощечин и две дюжины ударов по пяткам за то, что зря зовешься Премудрым.

Селим поклонился и сказал:

— Да будет воля твоя, о господин мой!

Долго разглядывал он рукопись и вдруг вскричал:

— Пусть меня повесят, если это не по-латыни, о господин мой!

— Скажи же, что там написано, — приказал калиф, — раз это по-латыни.

Селим принялся переводить: «Человек, нашедший это, да возблагодарит Аллаха за его милость! Кто понюхает порошок из этой коробки и при этом произнесет «мутабор», тот может превратиться в любого зверя, а также будет понимать язык зверей. Когда же он захочет снова принять человеческий облик, пусть поклонится трижды на восток и произнесет то же слово; однако, будучи превращенным, остерегись смеяться, иначе волшебное слово совершенно исчезнет у тебя из памяти, и ты останешься зверем».

Когда Премудрый Селим кончил читать, восторгу калифа не было пределов. Он заставил мудреца поклясться, что тот никому не выдаст тайны, подарил ему красивую одежду и отпустил его.

Затем калиф обратился к своему визирю:

— Вот уж поистине удачная покупка, Мансор! До чего весело будет стать зверем! Завтра с утра приходи ко мне; мы вместе отправимся в поле, понюхаем малую толику из моей коробочки и послушаем, что говорится в воздухе, в лесу и в поле!

На следующее утро, не успев калиф Хасид позавтракать и одеться, как уже, исполняя приказ, явился великий визирь, чтобы сопутствовать ему на прогулке.

Калиф заткнул за пояс табакерку с волшебным порошком и, приказав свите не сопровождать его, вдвоем с великим визирем пустился в путь. Они пошли сперва по обширным садам калифа, но тщетно искали они там живых существ, чтобы испробовать свой фокус. Тогда великий визирь предложил пройти к пруду, где ему частенько случалось видеть множество птиц, а именно аистов, привлекавших его внимание величавостью повадок и неустанной трескотней.

Калиф согласился на предложение своего визиря и вместе с ним отправился к пруду. Придя туда, они увидели аиста, который степенно шагал назад и вперед, отыскивая лягушек и что-то треща себе под нос. Одновременно они увидели высоко в небе второго аиста, летевшего к тому же месту.

— Готов бороду свою прозакладывать, милостивейший господин мой, — сказал великий визирь, — что эти две длинноножки поведут сейчас между собой преинтересный разговор. Что, если бы нам обратиться в аистов?

— Умно придумано, — отвечал калиф. — Но сперва надо еще раз припомнить, как опять стать людьми. Правильно, — три раза поклониться на восток и произнести «мутабор», тогда я снова буду калифом, а ты визирем. Но только боже упаси нас рассмеяться, не то мы погибли!

Пока калиф говорил, второй аист пронесся у них над головами и медленно спустился на землю. Быстро достал калиф из-за пояса табакерку, взял из нее добрую понюшку и протянул ее великому визирю, который нюхнул тоже, и оба вскричали: «Мутабор!»

И сейчас же поги у них съезжились и стали тонкими и красными; красивые туфли калифа и его спутника стали неуклюжими аистинными лапами, руки стали крыльями, шея вытянулась и стала в локоть длиной, борода исчезла, а тело покрылось мягкими перьями.

— Недурной у вас клюв, господин великий визирь, — произнес, едва оправившись от изумления, калиф. — Кляпсус бородой пророка, пичего подобного я в жизни не видывал.

— Покорнейше благодарю, — отвечал великий визирь, кланяясь, — но осмелюсь заметить, что вашему величеству еще более к лицу быть аистом, чем калифом. Однако не угодно ли вам пойти послушать наших сотоварищей и узнать, на самом ли деле мы разумеем по-аистиному?

Тем временем второй аист успел спуститься на землю; он почистил себе клювом ноги, пригладил перья и направился к первому аисту. Оба повоявленных аиста поспешили поближе и, к изумлению своему, услышали следующий разговор:

— Доброе утро, госпожа Долгоног,— чуть свет уже на лугу?

— Благодарствую, душечка Трещотка! Я промыслила себе кой-чего на завтрак; не угодно ли четвертушку ящерики или лягушачий филейчик?

— Чувствительно благодарна, по нынче у меня нет ни малейшего аппетита. Я совсем по другому делу явилась на луг. У отца сегодня гости, мне придется танцевать перед ними, вот я и хочу немного поупражняться на досуге.

И юная аистиха зашагала по лугу, выкидывая удивительнейшие коленца. Калиф и Мансор изумленно глядели ей вслед, но когда она остановилась в картинной позе на одной ноге, грациозно помахивая крыльями, они не могли сдержаться, из их клювов вырвался неудержимый хохот, от которого они нескоро отдышались. Калиф первый овладел собой.

— Такой потехи ни за какие деньги не купишь! — вскричал он.— Жаль, что глупые твари испугались нашего смеха, а не то бы они, наверное, еще и запели!

Но тут великому визирю пришло на ум, что смеяться во время превращения не дозволено. Он поделился своими страхами с калифом.

— Клянусь Меккой и Мединой, плохая была б потеха, если бы мне пришлось остаться аистом. Припомни-ка это дурацкое слово, у меня оно что-то не получается.

— Нам надлежит трижды поклониться на восток и при этом произнести: му-му-му...

Они повернулись на восток и принялись кланяться, чуть не касаясь клювами земли, но, увы! — волшебное слово выскользнуло у них из памяти, и сколько ни клянялся калиф, сколько его визирь ни выкликал при этом с тоской «му-му-му», слово исчезло, и бедняга Хасид вместе со своим визирем как были, так и остались аистами.

III

Печально плелись заколдованные калиф и визирь по полям, не зная, как помочь своей беде. Аистиное обличье сбросить они не могли, в город вернуться, чтобы назвать себя, тоже не могли: кто бы поверил аисту, что он калиф? А если бы кто-нибудь и поверил, разве жители Багдада пожелали бы себе в калифы аиста?

Так они бродили много дней, скудно питаясь злаками, которые им не легко было жевать длинными клювами. Ящерицы же и лягушки не внушали им аппетита; они боялись испортить себе пищеварение подобными лакомствами. Единственной их отрадой в бедственном положении была способность летать, и они частенько летали над крышами Багдада, желая увидеть, что там происходит.

В первые дни они замечали на улицах великую тревогу и печаль; но приблизительно на четвертый день после своего превращения сидели они на дворце калифа, как вдруг увидали внизу

на улице пышное шествие; звучали трубы и барабаны; на разукрашенном коне сидел человек в затканном золотом пурпурном кафтани, окруженный блестящей свитой; пол-Багдада бежало ему вослед, и все кричали: «Слава Мицре, повелителю Багдада!»

Аисты на крыше дворца переглянулись между собой, и калиф Хасид произнес:

— Догадываешься ты теперь, отчего я заколдован? Этот самый Мицра — сын моего заклятого врага, могущественного волшебника Кашнура, который в недобрый час поклялся жестоко отомстить мне. Но надежда не покидает меня. Следуй за мной, верный товарищ моих бед, мы отправимся к гробу пророка; быть может, волшебство рассеется в святых местах.

Они поднялись с крыши дворца и полетели в сторону Медины. Но лететь было трудно, у обоих аистов не хватало споровки.

— Господин мой,— простонал часа через два великий визирь,— с вашего разрешения, мочи моей больше нет, вы летите слишком быстро! И вечер уже спускается, нам следует подыскать себе прибежище на ночь.

Хасид внял мольбе своего слуги; внизу в долине он как раз заметил руины, которые, по-видимому, могли дать им приют, и они полетели туда. Развалины, куда они спустились на ночлег, очевидно, были некогда замком. Прекрасные колонны высились над горами камня; многочисленные покои, достаточно сохранившиеся, свидетельствовали о былом великолепии здания. Хасид со своим спутником бродили по галереям в поисках сухого местечка; внезапно аист Мансор остановился.

— Господин мой и повелитель,— пролепетал он чуть слышно,— хотя великому визирю, а тем паче аисту, нелепо бояться привидений, однако меня берет жуть, ибо тут рядом что-то явно и внятно вздыхает и стонает.

Теперь остановился и калиф и тоже отчетливо услышал тихий стон, скорее человеческий, нежели звериный.

Полный надежды, он устремился в ту сторону, откуда доносились стоны, но визирь ухватился клювом за его крыло и слезно молил не бросаться навстречу новым, неизвестным опасностям. Но тщетно! У калифа и под оперением аиста билось отважное сердце, он вырвался, пожертвовав несколькими перышками, и бросился в один из темных переходов. Вскоре он очутился перед дверью, которая, казалось, была лишь притворена и откуда доносились стоны с легкими подвываниями. Он толкнул дверь клювом и в растерянности застыл на пороге. В полуразрушенном покое, куда падал скудный свет из решетчатого оконца, он увидел сидящую на полу ночную сову. Обильные слезы катились у нее из больших круглых глаз, а из кривого клюва вырывались хриплые стенания. Но, увидав калифа и его визиря, который успел тем временем тоже пробраться сюда, сова подняла радостный крик. Грациозно смахнув с глаз слезу коричневым, в крапинку, крылом, она, к изумлению калифа и его визиря, вскричала по-человечьи на чистом арабском языке:

— Добро пожаловать, господа аисты! Вы для меня добрый знак, что близко мое спасение, ибо через аистов ко мне придет большое счастье, как было мне некогда предсказано!

Когда калиф опомнился от изумления, он склонил свою длинную шею, поставил тощие ноги в грациозную позицию и произнес:

— Ночная сова! Судя по твоим словам, мы обрели в тебе товарку по несчастью. Но увы! Ты тщетно надеешься, что мы песем тебе спасение, и сама убедишься в нашей беспомощности, когда услышишь нашу историю.

Ночная сова попросила рассказать ей все, и калиф принялся за рассказ, который уже нам известен.

IV

Когда калиф изложил сове свою историю, сова поблагодарила его и сказала:

— Послушай также мою историю и узнай, что я не менее несчастна, чем ты. Мой отец — владыка Индии; я его единственная, злосчастная дочь, зовусь Лузой. Тот самый волшебник Кашпур, что заколдовал вас, поверг в беду и меня. Он явился однажды к моему отцу сватать меня для своего сына Мицры. Но отец мой, человек вспыльчивый, велел спустить его с лестницы. Злодей изловчился пробраться ко мне в другом облиии, и, когда я у себя в саду пожелала как-то утолить жажду прохладительным напитком, он, переодевшись рабом, поднес мне питье, которое превратило меня в это гадкое чудовище. Когда я от испуга лишилась чувств, он перенес меня сюда и страшным голосом крикнул мне в ухо: «Оставайся тут уродом, презираемым даже зверями, до конца твоих дней или до тех пор, пока кто-нибудь по доброй воле пожелает сделать тебя своей супругой даже в этом отвратительном облике. Такова моя месть тебе и твоему высокомерному отцу».

С тех пор протекли долгие месяцы. Одинок и печально живу я отшельницей в этих развалинах, отринутая всем миром, мерзкая даже зверям; красоты природы недоступны мне, ибо я слепа днем, и лишь когда бледный свет месяца озаряет эти развалины, целена спадает у меня с глаз.

Сова кончила и опять отерла крылом глаза, ибо повесть ее страданий исторгла у нее новые слезы.

Во время рассказа принцессы калиф погрузился в глубокое раздумье.

— Либо я ничего не смыслю,— произнес он,— либо между нашими несчастьями имеется тайная зависимость; но где мне найти ключ к этой загадке?

Сова отвечала ему:

— О господин мой, у меня тоже такое предчувствие, ибо когда-то, в ранней юности, одна мудрая женщина предсказала

мне, что большое счастье придет ко мне через аиста, и мне кажется, я знаю способ, как нам спастись.

Калиф был очень удивлен и спросил, каков же этот способ.

— Волшебник, принесший несчастье нам обоим, каждый месяц является сюда. Неподалеку от этой комнаты есть зала. Там он обычно пирует с большой компанией. Я не раз уже подслушивала их. Они рассказывают друг другу свои гнусные деяния; быть может, на этот раз он произнесет то слово, что вы забыли.

— О бесценная принцесса,— вскричал калиф,— поведай же, когда он является и где та зала.

Сова помолчала минутку и затем произнесла:

— Не прогневайтесь на меня, но лишь при одном условии могу я исполнить ваше желание.

— Говори же! Говори! — вскричал Хасид.— Приказывай, я готов на все.

— Дело в том, что и мне бы тоже хотелось освободиться, но это возможно лишь, если один из вас возьмет меня в жены.

Аисты были, по-видимому, несколько смущены таким предложением, и калиф кивнул своему слуге, чтобы тот вышел с ним из комнаты.

— Великий визирь,— произнес калиф за дверью,— дельце не из приятных, но вы бы все-таки могли согласиться.

— Ах, так? — возразил тот.— Чтобы жена, когда я вернусь домой, выцарапала мне глаза? К тому же я старик, а вы человек молодой и холостой,— скорей уж вам подобает жениться на молодой и прекрасной принцессе.

— То-то и есть,— вздохнул калиф, печально опустив крылья,— откуда ты взял, что она молода и прекрасна? Это называется — сделка вслепую!

Они долго еще уговаривали друг друга, но под конец, когда калиф увидел, что его визирь скорее готов остаться аистом, чем жениться на сове, он решился сам выполнить условие. Сова была весьма обрадована. Она открыла им, что явились они в самое подходящее время, по всей вероятности, именно в эту ночь состоится сборище волшебников.

Она, вместе с аистами, покинула комнату, чтобы провести их к той зале; они долго шли темной галереей, пока навстречу им из полуразрушенной стены не блеснул свет. Когда они приблизились туда, сова наказала им не шуметь. Через отверстие в стене, подле которого они стояли, им была видна вся обширная зала. Она была украшена колоннами и великолепно убрана. Множество цветных ламп заменяло дневной свет. Посреди залы находилась большой круглый стол, уставленный изысканными яствами. Вокруг всего стола тянулся диван, на котором сидело восемь человек. В одном из них аисты узнали того самого разносчика, что продал им волшебный порошок. Сосед по столу попросил его рассказать последние его похождения. И он, наряду с другими, рассказал также историю калифа и его визиря.

— Что же за слово ты им задал? — спросил один из волшебников.

— Очень трудное латинское слово — *мутабор*.

V

Услышав это через щель в стене, аисты прямо обезумели от радости. Они помчались к выходу из руин так быстро, как только несли их длинные ноги, и сова едва поспевала за ними. Выбравшись наружу, калиф прочувствованно произнес, обращаясь к сове:

— Спасительница моей жизни и жизни моего друга, в знак вечной признательности за то, что ты сделала для нас, позволь мне быть твоим супругом!

Вслед за тем он повернулся на восток, и трижды склонили оба аиста длинные шеи навстречу солнцу, как раз встававшему из-за горной гряды.

— Мутабор! — вскричали они, мигом обернулись людьми, и, преисполненные великой радости от вновь дарованной жизни, господин и слуга, плача и смеясь, бросились в объятия друг другу. Но каково было их изумление, когда они оглянулись. Прекрасная дама, пышно разодетая, стояла перед ними. Улыбаясь, протянула она руку калифу.

— Разве вы не узнаете свою ночную сову? — спросила она.

То в самом деле была она; калиф, восхищенный ее красотой и грацией, вскричал, что он стал аистом на свое счастье.

Все трое тут же отправились в Багдад. Калиф обнаружил у себя за поясом не только коробочку с волшебным порошком, но и кошелек с деньгами. В ближайшем селении приобрел он все, что требовалось им для путешествия, и, таким образом, они вскоре прибыли к воротам Багдада. Там прибытие калифа вызвало великое удивление. Его объявили умершим, и поэтому народ был весьма обрадован, вновь обретя своего возлюбленного повелителя.

Тем живее возгорелся народный гнев против обманщика Мицры. Толпы народа бросились во дворец и захватили старого волшебника вместе с сыном. Старика калиф отправил в ту самую горницу разрушенного замка, где обитала принцесса, будучи совой, и велел его там повесить. Сыну же, ничего не смыслившему в колдовском искусстве отца, калиф предложил на выбор — либо смерть, либо понюшку. Когда тот избрал последнее, великий визирь поднес ему коробочку. Он нюхнул хорошенько и, по волшебному слову калифа, превратился в аиста. Калиф приказал запирать его в железную клетку и поставить у себя в саду.

Долго и радостно жил калиф Хасид; самые для него веселые часы были те, когда к нему под вечер приходил великий визирь; они частенько вспоминали свои приключения в бытность аистами, а когда калифу случалось очень развеселиться, он снисходил до того, что изображал великого визиря в образе аиста. Степенно, не сгибая ног, шагал он по комнате, трещал что-то, размахивал

руками, точно крыльями, и показывал, как тот тщетно кланялся на восток и выкликал «му-му». Госпожу калифшу и ее деток это представление всегда немало развлекало; но если калиф чересчур долго трещал, и кланялся, и кричал «му-му», визирь, улыбаясь, грозил ему рассказать госпоже калифше, о чем шел спор за дверью принцессы почной совы.

Когда Селим Барух закончил свой рассказ, купцы выразили полное удовлетворение.

— В самом деле, день прошел совсем для нас незаметно! — сказал один из них, откидывая полотнище шатра.— Вечерний ветер навевает прохладу, мы успеем пройти еще порядочный кусок пути.

Спутники его согласились с ним; шатры были сложены, и караван, выстроившись в том же порядке, в каком пришел сюда, тронулся в путь.

Они ехали чуть не всю ночь напролет, потому что днем их одолевала зной, ночь же была свежа и сияла звездами. Наконец они достигли удобного для привала места, разбили шатры и улеглись на покой. О незнакомце купцы заботились так, словно он был им желаннейшим гостем. Один одолжил ему подушки, другой покрывала, третий дал рабов,— словом, он был устроен не хуже, чем у себя дома. Когда они поднялись, наступило уже самое жаркое время дня, и они единодушно порешили дожидаться здесь вечера. После совместной трапезы они снова сдвинулись теснее, и молодой купец, обращаясь к самому старшему, сказал:

— Селим Барух помог нам вчера приятно скоротать день; что, если бы и вы, Ахмет, рассказали нам либо какую-нибудь историю из своей долгой жизни, которая наверняка насчитывает немало приключений, либо просто забавную сказку?

В ответ на это обращение Ахмет некоторое время молчал, словно выбирая, на чем остановиться, и наконец, заговорил:

— Дорогие друзья! Во время этого нашего путешествия вы показали себя верными товарищами, да и Селим тоже заслужил мое доверие; посему я поведаю вам одно событие из моей жизни, о котором я обычно говорю неохотно и не со всяким: это будет рассказ о корабле привидений.

РАССКАЗ О КОРАБЛЕ ПРИВИДИЙ

Мой отец держал в Бальсоре маленькую лавочку, не будучи ни бедным, ни богатым, он принадлежал к тем людям, которые неохотно идут на риск, из страха потерять то малое, что имеют. Он воспитал меня в простоте и прямоте и добился того, что я с юных лет мог стать ему помощником. Как раз когда мне исполнилось восемнадцать лет, он решился на первую крупную торговую

сделку, но вскоре умер, вероятно, от тревоги, что доверил морю тысячу золотых. Спустя несколько недель пришла весть о гибели корабля, на который отец мой погрузил свои товары, и мне осталось только порадоваться, что отца нет в живых. Но моей юношеской отваги эта беда не сломила. Обратив в деньги все имущество, оставшееся после отца, я в сопровождении верного слуги, который, по старой привязанности, хотел до конца разделить мою судьбу, пустился в путь искать счастье на чужбине.

С попутным ветром отплыли мы из Бальсорской гавани. Корабль, на котором я приобрел себе место, направлялся в Индию. Около двух недель мы плыли по спокойному морю, как вдруг капитан сообщил нам о приближающейся буре. Вид у него был озабоченный, в этой местности он явно недостаточно хорошо знал фарватер, чтобы спокойно идти навстречу буре. Он приказал убрать все паруса, и мы медленно поплыли по течению. Наступила ночь, ясная и холодная, и капитан подумал было, что ошибся, предсказывая бурю. Вдруг, совсем близко от нас, пронесся корабль, которого мы раньше не видели. С его палубы к нам долетели крики дикого веселья, которые меня в этот страшный час перед бурей изрядно удивили. Но капитан, стоявший подле меня, смертельно побледнел. «Мой корабль погиб! — воскликнул он. — То плывет сама смерть!» Не успел я попросить у него объяснения этого странного возгласа, как к нам с воем и криком бросились матросы. «Видели вы его? — кричали они. — Теперь нам крышка». Капитан же велел читать душеспасительные изречения из Корана и сам взялся за руль. Но тщетно! Откуда ни возьмись, налетела буря, и не прошло даже часа, как корабль наш затрещал и застыл на месте. Тотчас же на воду были спущены лодки, и едва успели все до единого матроса спастись, как на наших глазах корабль затонул, и я совершенно нищим очутился в открытом море. Но бедствия этим не кончились. Буря бушевала все сильнее, и управлять лодкой оказалось невозможным. Я крепко обнял своего старого слугу, и мы поклялись держаться друг за друга до последней минуты. Наконец забрезжил рассвет; с первым проблеском зари ветер подхватил нашу лодку и опрокинул ее. Так я больше и не видал никого из экипажа корабля. От падения я лишился чувств; я пришел в себя в объятиях моего верного старого слуги, который спасся на опрокинутой лодке и втащил меня за собой. Буря утихла. Нашего корабля не было и в помине, но мы увидели неподалеку другой корабль, к которому нас несло волнами. Когда мы подплыли ближе, я узнал в нем тот самый корабль, который ночью промчался мимо нас и привел в такой ужас капитана. При виде этого корабля меня охватил неизъяснимый трепет; предсказание капитана, столь ужасно оправдавшееся, безлюдие на корабле, откуда при нашем приближении, несмотря на все оклики, никто не отзывался, внушали мне страх. Но то была единственная возможность спастись, и мы возблагодарили пророка, который послал нам столь чудесное избавление. С носа корабля свисал длинный канат. Работая изо всех сил ногами и ру-

ками, подплыли мы к нему, чтобы за него ухватиться. Наконец нам это удалось. Я возвысил голос до крика, но на корабле по-прежнему царил тишина. Тогда мы стали взбираться вверх по канату,— я, как младший, впереди. Но, о, ужас! Что за зрелище представилось моим взорам, когда я взошел на палубу! Весь пол был залит кровью, двадцать или тридцать трупов в турецких одеждах лежали распростертые на полу; у грот-мачты стоял богатый одетый человек с ятаганом в руке, но лицо у него было бледное и искаженное; воткнутому в лоб большим гвоздем он был приколочен к мачте и тоже мертв. Испуг сковал мне ноги, я не смел вздохнуть. Наконец наверх взобрался и мой спутник. И его поверг в ужас вид палубы, где не было ничего живого,— всюду одни лишь страшные трупы. Затем, обратившись в своем смятении с молитвой к пророку, мы решились идти дальше. После каждого шага мы оборачивались, не покажется ли что-нибудь новое, еще более страшное, но все оставалось по-прежнему: куда ни глянь, вокруг ничего живого, только мы да океан. Даже говорить громко мы не смели из страха, что пригвожденный к мачте мертвый капитан обратит к нам взгляд своих неподвижных глаз либо один из убитых повернет голову в нашу сторону. Наконец мы добрались до лестницы, ведшей в трюм. Мы невольно остановились и взглянули друг на друга: ни один из нас не решался высказать свои мысли вслух.

«О господин! — заговорил наконец мой верный слуга.— Здесь случилось нечто ужасное. Но если даже там внизу полно убийц, я скорее готов сдаться на их милость, чем оставаться дольше тут с мертвецами». Так же думал и я. Мы собрались с духом и, трепеща от ожидания, стали спускаться по лестнице. Но и внизу была мертвая тишина, только гулко отдавался звук наших шагов. Мы остановились перед дверью в каюты. Я приложил ухо к двери и прислушался, но все было тихо. Я отворил дверь. В каюте царил беспорядок. Повсюду впережку валялись одежда, оружие и другие предметы. Все было расшвырено как попало. По-видимому, экипаж или по меньшей мере капитан недавно бразничал здесь, потому что даже со стола не было убрано. Мы пошли дальше из каюты в каюту, из одного помещения в другое,— всюду мы находили обильные запасы шелка, жемчуга, сахара и прочего. Я не помнил себя от радости при виде такого богатства, ибо раз на корабле никого не было, я полагал, что могу все считать своим. Однако Ибрагим напомнил мне, что мы, по всей вероятности, находимся еще очень далеко от земли и что одним нам, без посторонней помощи, до нее не добраться.

Мы подкрепились яствами и напитками, которые нашлись здесь в изобилии, и вернулись на палубу. Но тут нас снова мороз пробрал по коже при жутком зрелище трупов. Мы решили избавиться от них, выбросив их за борт, но какой ужас охватил нас, когда мы убедились, что ни одного из них сдвинуть с места нельзя! Они были точно прикованы к полу, и, чтобы их удалить, пришлось бы выломать доски из палубы, но для этого у нас не было

инструментов. И капитана тоже не удалось оторвать от его мачты; даже вынуть у него из застывшей руки ятаган мы не могли.

День мы провели в печальных размышлениях о нашей доле, а когда стала приближаться ночь, я позволил старику Ибрагиму лечь спать, сам же решил оставаться на палубе, высматривая, не появится ли помощь. Но когда взошел месяц и я по звездам высчитал, что время приближается к одиннадцати, меня стал одолевать сон, и я помимо своей воли свалился за бочку, стоявшую на палубе. Но то было скорей забытье, нежели сон, потому что я отчетливо слышал, как билось море о борта корабля, а паруса скрипели и свистели под ветром. Вдруг мне послышались на палубе мужские голоса и шаги. Я хотел приподняться и выглянуть, но незримая сила сковала мне члены,— даже глаза я не мог приоткрыть. А голоса становились все отчетливей; мне чудилась веселая возня матросов на палубе, сквозь шум я различал чей-то громкий повелительный голос, кроме того, я отчетливо слышал, как подтягивались канаты и крепились паруса. Но мало-помалу сознание мое помутилось, я впал в глубокий сон, сквозь который мне мерещился лязг оружия; проснулся я, только когда солнце стояло уже высоко в небе и жгло мне лицо. С удивлением озирался я по сторонам; буря, мертвецы и все, что я слышал этой ночью, представилось мне сном; но когда я взгляделся, все было по-вчерашнему. Неподвижно лежали мертвецы, неподвижно стоял пригвожденный к мачте капитан. Я посмеялся над своим сном и встал, чтобы отыскать моего старика.

Он сидел в каюте, погруженный в размышления. «О господин,— воскликнул он, когда я вошел туда,— я предпочел бы лежать на самом дне моря, чем провести еще одну ночь на этом бесовском корабле!» Я спросил его о причине такого отчаяния, и он ответил мне: «Проспав несколько часов, я проснулся и услышал над головой какую-то беготню. Сперва я подумал было, что это вы, но нет,— там топталось не меньше двадцати человек, и, кроме того, ко мне доносились оклики и крики. Наконец тяжелые шаги раздались и на лестнице. Тут в голове у меня все смешалось; лишь минутами сознание возвращалось ко мне, и я видел, как тот самый человек, что пригвожден наверху к мачте, сидел здесь за столом, пел и пил вино, а тот, в пунцовом кафтане, что лежит на палубе неподалеку от него, сидел рядом и пил вместе с ним». Так рассказывал мой старый слуга.

Вы легко поймете, друзья, каково было у меня на душе,— обмана чувств тут быть не могло, ведь и я отчетливо слышал возню мертвецов. Плыть на корабле в такой компании казалось мне ужасным. А Ибрагим мой снова погрузился в глубокие думы. «Вспомнил!» — наконец вскричал он. Ему пришло на ум заклинание, которому научил его дед, человек бывалый и много путешествовавший, и которое помогало против колдовства и наваждений; кроме того, мой старый слуга уверил меня, что, усердно читая молитвы из Корана, мы одолеем на следующую ночь тот неестественный сон, который охватывал нас. Предложение старика при-

шлось мне по душе. С тревогой ждали мы приближения ночи. Подле каюты капитана был чуланчик; там мы решили спрятаться. Мы просверлили в дверях несколько дыр, достаточно больших, чтобы видеть сквозь них всю каюту; затем мы крепко-накрепко заперли дверь изнутри, и Ибрагим написал на всех четырех углах имя пророка. Так мы стали дожидаться ужасов ночи. И опять около одиннадцати часов меня неудержимо стало клонить ко сну. Мой слуга посоветовал мне прочесть несколько молитв из Корана, что мне действительно помогло. Вдруг наверху проснулась жизнь; канаты заскрипели, на палубе раздалась шага, и до нас явственно долетели голоса. Некоторое время мы просидели в напряженном ожидании, как вдруг услышали, что кто-то спускается по лестнице в каюту. Тут старик начал произносить заклятие против привидений и колдовства, которому научил его дед:

Летаете ль вы па просторе,
Скрываетесь ли под землей,
Таитесь ли в недрах вы моря,
Кружит ли вас вихрь огневой,—
Аллах ваш творец и властитель,
Всех духов один повелитель.

Должен сознаться, что я не очень верил в это заклинание, и когда дверь раскрылась, волосы у меня встали дыбом. В каюту вошел тот высокий статный человек, которого я видел пригвожденным к мачте. Гвоздь и теперь торчал у него посреди лба, но ятаган он вложил в ножны; за ним вошел еще один, одетый менее богато, и его я видел лежащим наверху. Первый был, бесспорно, капитан, бледное лицо его обрамляла длинная черная борода; дико вращая глазами, оглядывал он каюту. Я хорошо рассмотрел его, когда он проходил мимо; он же, по-видимому, не обращал никакого внимания на дверь, за которой мы скрывались. Он и его спутник уселись за стол посреди каюты и заговорили на незнакомом нам языке громким, почти доходящим до крика голосом. Голоса их становились все громче и яростней, пока наконец капитан не ударил кулаком по столу так, что стены задрожали. С диким хохотом вскочил его собеседник и кивнул капитану, чтобы тот следовал за ним. Капитан поднялся тоже, выхватил ятаган из ножен, и оба покинули каюту. Мы вздохнули свободней, когда они ушли; но страхам нашим долго еще не суждено было кончиться. На палубе становилось все шумней и шумней. Оттуда доносилась беготня, слышались крики, смех и вой. В конце концов шум перешел в адский грохот, казалось, словно палуба со всеми парусами обрушивается на нас; раздался звон оружия, крик — и внезапно опять наступила мертвая тишина. Когда спустя несколько часов мы решились подняться наверх, то все было по-прежнему: мертвецы лежали, как и раньше, неподвижные и одеревенелые.

Так провели мы на корабле несколько дней: корабль подвигался в направлении к востоку, где, по моему расчету, должна была находиться земля, но если за день он и проходил порядочное расстояние, то ночью, видимо, возвращался вспять, ибо при вос-

ходе солнца мы оказывались всегда на прежнем месте. Объяснить себе это мы могли только одним: что мертвецы по ночам плыли на всех парусах обратно. Чтобы это предотвратить, мы до наступления ночи подвязали паруса и применили уже испытанное однажды средство — мы написали на пергаментном свитке имя пророка, прибавили к этому дедовское заклинание и обернули свитком связанные паруса. С трепетом ждали мы у себя в каюте, что будет дальше. Призраки в эту ночь неистовствовали еще сильнее, но, глядь! На следующее утро паруса были подвязаны так же, как мы их оставили. Теперь, в течение дня, мы стали распускать столько парусов, сколько требовалось, чтобы корабль не спеша двигался вперед, и таким образом за пять дней прошли порядочное расстояние.

Наконец утром шестого дня мы увидели невдалеке землю и возблагодарили Аллаха и его пророка за наше чудесное спасение. Весь этот день и следующую ночь мы плыли вдоль берега, а на седьмое утро обнаружили невдалеке город. С большим трудом нам удалось бросить якорь, который тотчас же укрепился; затем мы спустили на воду стоящую на палубе лодку, налегли на весла и поплыли к городу. Спустя полчаса мы вошли в реку, впадавшую в море, и поднялись на берег. У городских ворот мы осведомились, как называется город, и узнали, что город этот индийский; находится он поблизости от той местности, куда я первоначально собрался плыть. Мы отправились в караван-сарай и подкрепились после своего необычайного путешествия. Там же я поспешил разузнать, как мне найти мудрого и ученого человека, и при этом дал понять хозяину, что нужен мне такой человек, который сведущ в колдовстве. Он привел меня в отдаленную улицу, к невзрачному домику, постучался, а когда меня впустили, наказал мне спросить Мулея.

В доме меня встретил седобородый старичок, с длинным носом, и спросил, чего я желаю. Я сказал, что ищу мудрого Мулея, и он мне ответил, что он и есть Мулей. Тут я спросил у него совета, как мне поступить с мертвецами и каким способом убрать их с палубы.

Он ответил мне, что матросы, верно, осуждены плавать по морю за какое-нибудь злодеяние. Он полагает, что чары рассеются, как только мертвецов перенесут на землю; но снять их можно лишь вместе с досками, на которых они лежат. Корабль же со всеми его богатствами принадлежит мне перед богом и законом, ибо я его как бы нашел; но все это я должен хранить в глубокой тайне; и если я ему сделаю маленький подарочек от своих излишков, то он вместе со своими рабами поможет мне вынести мертвецов. Я обещал щедро наградить его, и мы отправились в путь, взяв с собой пятерых рабов, снабженных пилами и топорами. По дороге колдун Мулей не мог надивиться, как удачно мы придумали перевить паруса изречениями из Корана. Он сказал, что это для нас было единственным средством спасения.

Солнце стояло еще высоко, когда мы добрались до корабля.

Мы все дружно припрялись за работу, не прошло и часа, как четверо мертвецов лежали уже в челноке. Рабам было приказано перевезти их на землю и там похоронить. Вернувшись, они рассказали, что мертвецы избавили их от трудов погребения, ибо, будучи положены на землю, они тотчас же обратились в прах. Мы продолжали вынимать доски и к вечеру перевезли на землю всех мертвецов. Наконец на борту остался лишь тот, что был пригвожден к мачте. Тщетно старались мы вытащить гвоздь из дерева. Никакой силой не удалось выдвинуть его хотя бы на волосок. Я не знал, как быть, нельзя же было срубить мачту, чтобы перенести капитана на землю. Но из этой беды меня тоже выручил Мулей. Он спешно отправил одного из рабов на берег, приказав ему привезти горшок с землей. Когда горшок был принесен, колдун пошептал над ним какие-то таинственные слова и высыпал землю на голову мертвеца. Тот немедленно открыл глаза, глубоко вздохнул, и рана от гвоздя у него на лбу стала кровоточить. Теперь мы без труда вынули гвоздь, и раненый упал на руки одного из рабов.

— Кто привел меня сюда? — спросил он, очнувшись. Мулей указал на меня, и я подошел к нему поближе. — Благодарю тебя, неведомый чужестранец, ты спас меня от долгих мучений. Уже пятьдесят лет мое тело плавает по этим волнам, а дух мой был осужден возвращаться в него каждую ночь. Но теперь головы моей коснулась земля, я получил отпущение и могу удалиться к праотцам.

Я просил его рассказать нам, в чем причина его мытарств, и он заговорил:

— Пятьдесят лет тому назад я был влиятельным, именитым человеком и жил в Алжире; страсть к наживе побудила меня снарядить корабль и заняться пиратством. Я промышлял этим ремеслом уже некоторое время, когда в Занте на корабль ко мне сел один дервиш, которому хотелось проехать бесплатно. Мы с товарищами были люди грубые и ни во что не ставили святость дервиша; я даже позволял себе насмеяться над ним. Однажды он, в благочестивом рвении, осудил мой греховный образ жизни; ночью, во время выпивки с моим штурманом, я вспомнил его слова и вскипел от гнева. Разъяренный тем, что какой-то дервиш осмелился сказать мне слова, которых я не потерпел бы даже от султана, я бросился на палубу и вонзил ему в грудь кинжал. Умирая, он проклял меня и мой экипаж, сказав, что нам не дано ни жить, ни умереть, пока мы не коснемся головой земли. Дервиш умер, мы бросили его в море и посмеялись над его угрозами. Но слова его сбылись в ту же самую ночь. Часть моего экипажа возмутилась против меня. Произошла яростная схватка; мои приверженцы были побеждены, и мятежники пригвоздили меня к мачте. Но и они погибли от полученных ран, и скоро весь мой корабль представлял собой большую могилу. У меня тоже помутилось в глазах, дыхание остановилось, я думал, что умираю. Но то было лишь оцепенение, сковавшее меня. На следующую ночь, в тот самый час, когда мы бросили дервиша в море, все мы пробуд-

дились. Жизнь вернулась, но говорить и делать мы могли лишь то, что говорили и делали в роковую ночь. Так мы плаваем уже целых пятьдесят лет — не можем ни жить, ни умереть, ибо как нам было достичь земли? С безумной радостью распускали мы все паруса каждый раз, как начиналась буря, надеясь разбиться об утесы и найти усталой голове покой на дне моря. Но это нам не удавалось. Теперь же наконец я умру. Еще раз благодарю тебя, мой неведомый спаситель! Если сокровища могут тебя вознаградить, возьми мой корабль в знак моей признательности.

Сказав это, капитан поник головой и испустил дух. Тотчас и он превратился в прах, как его спутники. Мы собрали прах в ящичек и закопали его в землю; в городе я нашел рабочих, которые починили мой корабль. С большой прибылью выменяв те товары, что имелось у меня на борту, на другие, я нанял матросов, щедро одарил моего друга Мулея и направился к себе на родину. Однако плыл я не прямым путем, а приставал к разным островам и странам, продавая свои товары. Пророк благословил мое начинание. Спустя девять месяцев я прибыл в Бальсору, удвоив наследство, полученное от умершего капитана. Мои сограждане немало удивились моим богатствам и моей удаче и полагали, что я, наверное, нашел алмазную пещеру знаменитого морехода Синдбада. Я не стал разубеждать их; но с тех пор все бальсорские юноши, едва достигнув восемнадцати лет, пускались в страстия, чтобы, подобно мне, найти свое счастье. А я жил спокойно и мирно и каждые пять лет совершал путешествие в Мекку, дабы возблагодарить в святых местах господ за его милости и умолить его, чтобы он принял к себе в рай капитана и его товарищей.

На следующий день караван беспрепятственно продолжал свой путь, и, когда все хорошенько отдохнули на привале, чужеземец Селим обратился к Мулею, младшему из купцов, с такой речью:

— Хоть вы годами и моложе нас всех, но вы всегда веселы и паверное храните в памяти не одну забавную историю. Угостите нас ею, дабы мы освежились после дневного зноя.

— Я охотно потешил бы вас каким-нибудь рассказом, однако молодости приличествует быть скромной во всем; и посему я не хочу опережать своих старших спутников. Цалевкос всегда так мрачен и замкнут,— почему бы ему не рассказать нам, что омрачило его жизнь? Если у него есть горе, может статься, мы придем ему на помощь, ибо мы всегда готовы служить брату, будь он даже чужой веры.

Тот, к кому обращалась эта речь, был греческий купец, человек средних лет, красивый и здоровый, но очень сумрачный. Хоть он и был неверным (немусульманином), однако сумел внушить спутникам доверие и уважение к себе. Между прочим, у него была только одна рука; некоторые из его спутников подозревали, что именно это несчастье настраивает его на мрачный лад.

На участливый вопрос Мулея Цалевкос отвечал:

— Ваше участие очень лестно для меня; горя у меня нет, по крайней мере, такого, в котором вы, при самых благих намерениях, могли бы помочь мне. Однако, раз Мулей как будто ставит мне в упрек мой мрачный вид, я расскажу вам нечто, могущее объяснить, почему я кажусь мрачнее других людей. Вы видите, что я потерял левую руку: я лишен ее не от рождения, а заплатился ею в самые тягостные дни моей жизни. Моя ли в том вина, и прав ли я, что стал с тех пор мрачнее, чем подобает моему положению, вы рассудите сами, когда услышите рассказ об отрубленной руке.

РАССКАЗ ОБ ОТРУБЛЕННОЙ РУКЕ

Родился я в Константинополе. Отец мой был драгоманом при Порте и попутно вел довольно прибыльную торговлю ароматическими маслами и шелками. Он дал мне хорошее воспитание, отчасти сам обучая меня, отчасти поручив мое образование одному из наших священнослужителей. Вначале он прочил меня в свои преемники по торговле, но когда я стал проявлять недюжинные способности, он, по совету друзей, решил сделать из меня врача, — ибо врач, когда он менее невежествен, чем обычные шарлатаны, легко преуспевает в Константинополе. У нас в доме бывало много франков, и один из них уговорил отца послать меня к нему на родину, в город Париж, где этому ремеслу обучают лучше всего и притом даром; сам он, возвращаясь домой, брался бесплатно отвезти меня туда. Мой отец, тоже путешествовавший в молодости, изъявил согласие, и франк сказал мне, чтобы я был готов в путь через три месяца. Я не помнил себя от радости, что увижу чужие края, и не мог дождаться минуты, когда мы погрузимся на корабль. Наконец франк закончил свои дела и собрался в дорогу. Вечером, накануне отъезда, отец повел меня к себе в спальню; там я увидел прекрасную одежду и оружие, разложенные на столе. Но еще более привлекала мой взор большая куча червонцев, — я никогда до той поры не видал их в таком множестве.

Отец обнял меня и сказал:

— Взгляни, сын мой, какую я приготовил тебе в дорогу одежду. И оружие тоже предназначается тебе. Это самое оружие твой дед надел на меня, когда я отправлялся на чужбину. Я знаю, ты умеешь владеть им; но никогда не пускай его в ход иначе как для защиты, — по тогда бей всюю. Состояние мое невелико; взгляни — я поделил его на три части; одна принадлежит тебе, вторая пойдет мне на обеспечение в случае нужды, третья же будет для меня священна, — пусть она хранится про черный день тебе. — Так говорил мне старик отец, и слезы стояли у него в глазах — быть может, он предчувствовал, что мы не увидимся более.

Путешествие сошло благополучно; вскоре мы прибыли в

страну франков, а через шесть дней пути очутились в большом городе Париже. Здесь мой франкский друг нанял мне комнату и посоветовал бережно расходовать мой капитал, составлявший в общем две тысячи талеров. Я прожил в том городе три года и учился всему, что надлежит знать искусному врачу, однако я бы солгал, сказав, что пребывание там было мне приятно, ибо тамошние нравы не пришлись мне по вкусу, а настоящих друзей я приобрел немного, но это были весьма достойные молодые люди.

Тоска по родине под конец совсем одолела меня, за все время я ничего не слыхал о своем отце и потому поспешил воспользоваться благоприятным случаем, чтобы возвратиться домой.

Дело в том, что из страны франков в Оттоманскую Порту отправлялось посольство. Я поступил в качестве хирурга в свиту посла и счастливо добрался до Стамбула. Но отеческий дом мой был заперт; соседи очень удивились, увидав меня, и сказали мне, что отец мой умер два месяца тому назад. Тот священник, что обучал меня в мои юные годы, принес мне ключ; одинокий и осиротелый, поселился я в пустынном доме. Все оказалось на тех же местах, как было при отце,— только денег, которые обещал оставить мне отец, я не нашел. Я спросил о них священника, и тот с поклоном ответил: «Отец ваш скончался святым человеком, завещав свое состояние церкви». Это было и осталось для меня непостижимым, но что мог я поделать? Свидетелей против священника я выставить не мог, и мне приходилось только радоваться, что он не забрал заодно также и дом и товары моего отца. Это было первое несчастье, поразившее меня. Но вслед за тем посыпался удар за ударом. Как врач я не мог завоевать известность, потому что стыдился быть шарлатаном и не имел поддержки отца, который ввел бы меня в самые знатные и богатые дома, закрытые теперь для горемыки Цалевкоса. И товары отца тоже не находили сбыта, ибо покупатели рассеялись после его смерти, а новые скоро не приобретаются. Однажды я горько призадумался над своей участью, и тут мне пришло в голову, что в стране франков я нередко видел моих соотечественников, которые бродили из края в край, предлагая свои товары на городских базарах; я припомнил, что покупали у них как у иноземцев охотно и что при такой торговле нетрудно нажить огромные барыши. Мое решение было тотчас принято. Я продал отеческий дом, часть вырученных денег отдал на хранение надежному другу, а на остальные закупил редкостные в стране франков товары, как-то: шали, шелковые ткани, притирания и масла; приобрел себе место на корабле и пустился во второе плавание к стране франков. Едва дарданелльские укрепления остались позади, как счастье, по-видимому, вновь улыбнулось мне. Путь наш был краток и благополучен. Я пошел бродить по большим и малым городам франков и всюду находил покладастых покупателей. Друг мой все время слал мне из Стамбула новые товары, и я день ото дня становился богаче. Скопив наконец достаточно, чтобы отважиться на более крупное предприятие, я отправился со своими товарами в Италию. Тут я должен при-

зваться, что добывал деньги еще другим путем, а именно своим врачебным искусством. Едва я приезжал в какой-нибудь город, как оповещал объявлениями, что прибыл греческий врач, исцеливший множество больных; и, надо сказать, мой бальзам и мои снадобыя принесли мне немало цехинов. Так я в конце концов добрался до итальянского города Флоренции. Я решил подольше пожить в этом городе, отчасти потому, что он пришелся мне по вкусу, отчасти же потому, что мне хотелось отдохнуть от утомительных странствий.

Я нанял себе лавку в квартале Санта Кроче и в трактире, неподалеку оттуда, две хороших комнаты с балконом. Немедленно же я разослал людей с объявлениями, оповещающими обо мне как о купце и целителе. Не успел я открыть свою лавку, как покупатели хлынули толпой, и хоть цены у меня были довольно высокие, но торговал я лучше других, потому что держал себя обходительно и приветливо с покупателями. Так я счастливо прожил уже четыре дня во Флоренции, как однажды вечером, собираясь запирать лавку и, по своему обыкновению, проверяя запасы притираний в банках, я обнаружил в одной из них записку, которую сам я туда не клал. Я развернул записку и нашел там приглашение явиться в ту ночь ровно в двенадцать часов на мост, называемый *Ponte Vecchio*¹. Я долго размышлял, кто бы это мог звать меня туда, но ведь я не знал ни души во Флоренции и потому подумал, что меня, наверное, хотят повести тайком к больному, как это уже бывало не раз. Итак, я решил отправиться туда, захватив из предосторожности саблю, которую некогда подарил мне отец.

Когда время приблизилось к полуночи, я собрался в путь и вскоре очутился на *Ponte Vecchio*. Мост был совсем пустынен, но я решил ждать того, кто меня звал.

Ночь стояла холодная, луна сияла ярко, и я глядел на воды Арно, уносящие вдаль отражение лунного света. На городских колокольнях пробило двенадцать; я оглянулся и увидел перед собой высокого человека, наглухо закутанного в красный плащ, краем которого он прикрывал себе лицо.

Сперва я очень испугался оттого, что он так внезапно очутился подле меня, но тотчас овладел собой и заговорил:

— Коли это вы позвали меня сюда, так скажите, что вам угодно?

Человек в красном повернулся и медленно произнес:

— Следуй за мной!

Тут уж мне показалось немного страшновато идти куда-то вдвоем с незнакомцем; я остановился и сказал:

— Подождите, сударь, извольте мне сперва сказать, куда надо идти; соблаговолите также открыть мне свое лицо, дабы я знал, что вы не замышляете против меня плохого.

Но красный человек не внял моим словам.

¹ Старый мост (*ит.*).

— Как тебе угодно, Цалевкос, не хочешь идти, оставайся! — ответил он и пошел дальше.

Тут я вспылил:

— Я не из тех, что позволяют любому дураку водить себя за нос; выходит, что я напрасно торчал здесь холодной ночью?

В три прыжка нагнал я его, схватил за плащ и, крича еще громче, взялся другой рукой за саблю; но плащ остался у меня в руке, а незнакомец исчез за ближайшим углом. Гнев мой малопомалу остыл, — ведь плащ остался у меня, и с его помощью я, уж конечно, найду ключ к этой необычайной загадке. Я накинул плащ на себя и отправился домой. Едва я отошел шагов на сто, как кто-то проскользнул вплотную мимо меня и прошептал на франкском языке:

— Берегитесь, граф, нынче ночью ничего нельзя предпринять.

Но не успел я оглянуться, как неизвестный был уже далеко, и я увидел лишь тень, мелькавшую вдоль домов. Я сразу понял, что обращение относилось не ко мне, а к плащу, но разъяснить оно мне ничего не могло. На следующее утро я принялся размышлять, как быть. Сперва я собирался объявить о находке плаща, но тогда незнакомец мог бы прислать за ним третье лицо, и я не получил бы желаемой разгадки. Обдумывая дело, я внимательно разглядывал плащ.

Он был из тяжелого генуэзского бархата пурпурного цвета, оторочен каракулем и богато заткан золотом. Великолепие плаща павело меня на мысль, которую я решил тотчас же привести в исполнение. Я отнес его к себе в лавку и выставил на продажу, но пазначил за него такую высокую цену, какую никто, я был уверен, не согласится дать. Моим намерением было внимательно приглядываться ко всякому, кто пожелает купить его, ибо фигуру незнакомца, хоть и мимолетно, но явственно представшую передо мной без плаща, я бы узнал из тысячи. Охотников приобрести плащ такой необычайной красоты нашлось немало, но никто и отдаленно не походил на незнакомца и никто не хотел платить за него огромную цену в двести цехинов. Удивило меня также, что все, кого я спрашивал, есть ли еще такой плащ во Флоренции, отвечали отрицательно и уверяли, будто никогда не видали столь искусной и изящной работы.

Начинало смеркаться, когда наконец в лавку вошел молодой человек, не раз бывавший у меня и уже предлагавший в тот день большую цену за плащ; он швырнул на стол кошелек с цехинами и вскричал:

— Клянусь богом! Цалевкос, я готов разориться, только бы купить у тебя плащ. — И тут же принялся отсчитывать монеты. Я был в сильном замешательстве; я выставил плащ лишь для того, чтобы привлечь к нему взоры незнакомца, а тут вдруг явился молодой глупец, который согласен выложить за него назначенную мной несуразную цену. Что мне было делать? Я согласился, ибо, с другой стороны, меня радовала мысль получить столь блестя-

щее возмещение за ночное беспокойство. Юноша накинул плащ и ушел; но с порога вернулся вновь и бросил мне бумажку, которая была приколотая к плащу, сказав:

— Смотри, Цалевкос, здесь прицеплено что-то, должно быть, не имеющее отношения к плащу.

Я равнодушно взял записку, но что я увидел! На ней стояло: «Нынче ночью в тот же самый час принеси плащ на Ponte Vecchio; четыреста цехинов ждут тебя». Я стоял как громом пораженный. Итак, я сам упустил свое счастье и совершенно не достиг своей цели; не долго думая, я сгреб те двести цехинов, догнал юношу, купившего плащ, и обратился к нему:

— Заберите свои цехины, дружище, а мне оставьте плащ, я никак не могу отдать его.

Тот сперва принял все за шутку, но, увидав, что я не шучу, рассердился, обозвал меня дураком, и дело в конце концов дошло до драки. Однако мне посчастливилось вырвать у него в потасовке плащ, и я собрался уже пуститься наутек, когда юноша принялся звать полицию и потащил меня в суд. Судья был очень удивлен такого рода жалобой и присудил плащ моему противнику. Тогда я стал предлагать юноше двадцать, пятьдесят, восемьдесят и, наконец, сто цехинов, сверх его двухсот, только бы он отдал мне плащ. Чего я не мог добиться просьбами, того достиг деньгами. Он забрал мои кровные цехины, я же торжествующе удалился с плащом, прослав сумасшедшим на всю Флоренцию. Но людская молва не трогала меня, ведь я-то лучше знал, что выгода на моей стороне.

Нетерпеливо ждал я ночи. В то же время, что и вчера, отправился я с плащом под мышкой на Ponte Vecchio. С последним ударом часов из мрака вынырнула фигура и направилась ко мне.

То был бесспорно вчерашний незнакомец.

— Плащ при тебе? — спросил он меня.

— Да, сударь, — отвечал я, — но он обошелся мне в сто цехинов наличными.

— Знаю, — заметил тот. — Получай, тут четыреста.

Мы подошли вместе к широкому парапету моста, и он отсчитал мне монеты; их было четыреста; блеск их радовал мое сердце, — увы! — не подозревавшее, что то будет его последняя радость. Я спрятал деньги в карман и собрался внимательно разглядеть щедрого незнакомца, но он был в маске, из-за которой на меня грозно сверкали темные глаза.

— Благодарю вас за вашу доброту, сударь, — обратился я к нему, — что вам теперь угодно от меня? Однако скажу заранее: на дурное дело я не пойду.

— Напрасная тревога, — возразил он, накидывая себе на плечи плащ. — Мне нужна ваша помощь как врача, но только не для живого, а для мертвеца.

— Как это возможно? — вскричал я в изумлении.

— Я прибыл с сестрой из дальних стран, — начал он, кивком приказав мне следовать за ним, — тут мы жили у одного из дру-

зей нашей семьи. Моя сестра вчера скоростижно скончалась, и родные хотят завтра похоронить ее. Но, по нашему старому семейному обычаю, всем нам надлежит покоиться в фамильном склепе; многие, умершие в чужих краях, все же были набальзамированы и перевезены туда. Родне я согласен оставить ее тело, но отцу я хочу привезти хоть голову его дочери, чтобы он в последний раз взглянул на нее.

Обычай отрезать головы близким родственникам, правда, покоробил меня, но я не осмелился возражать из страха обидеть незнакомца. Поэтому я сказал только, что хорошо умею бальзамировать мертвецов, и попросил его проводить меня к покойнице. Однако я не удержался от вопроса — почему все это происходит ночью и облечено такой тайной? Он отвечал мне, что родных его намерение приводит в ужас и днем они стали бы препятствовать ему, но когда голова уже будет отнята, им поневоле придется смириться; он бы мог прямо принести мне голову, но вполне понятное чувство не позволяет ему самому отрезать ее.

Тем временем мы подошли к большому великолепному дому. Спутник мой указал мне на него как на цель нашей ночной прогулки. Мы миновали главный портал дома, вошли в маленькую дверцу, которую незнакомец тщательно затворил за собой, и поднялись в темноте по узкой винтовой лестнице. Она вела в скудно освещенную галерею, через которую мы достигли комнаты, где горела одна лампа под потолком.

В этом покое стояла кровать, на которой лежал труп. Незнакомец отвернулся, видимо скрывая слезы. Он указал мне на кровать, велел быстро и хорошо исполнить порученное мне дело и вышел из комнаты.

Я достал свои инструменты, которые в качестве врача всегда имел при себе, и приблизился к кровати. Видно было только лицо трупа, но оно показалось мне таким прекрасным, что меня невольно охватила глубокая жалость. Волосы ниспадали длинными прядями, щеки были бледны, глаза сомкнуты. Сперва я сделал надрез по коже, как принято у врачей при ампутации какого-нибудь члена; затем взял самый свой острый нож и одним взмахом перерезал горло. Но, о, ужас! — покойница открыла глаза и вновь с глубоким вздохом сомкнула их, словно лишь сейчас испутив дух. И одновременно из раны на меня брызнула струя горячей крови. Мне стало ясно, что бедняжку умертвил я, ибо в том, что она мертва, сомневаться не приходилось: от такой раны спасения быть не может. Несколько минут простоял я неподвижно, трепеща от содеянного. Значит, красный человек обманул меня? Или же сестра была в летаргическом сне? Последнее показалось мне вероятнее. Но я не решился бы сказать брату, что менее глубокий разрез мог разбудить ее, не убив, и потому решил совсем отнять голову от туловища; но умирающая застонала еще раз, судорожно вытянулась и умерла; тут страх одолел меня, и я в смятении кинулся вои из комнаты. Снаружи в галерее было темно: лампа погасла, спутник мой исчез, и мне пришлось на ощупь

продвигаться вдоль стены, чтобы добраться до винтовой лестницы. В конце концов я набрел на нее и, скользя, спотыкаясь, спустился по ней. Внизу тоже не оказалось ни души. Дверца была лишь притворена, и я вздохнул с облегчением, очутившись на улице, ибо там, в доме, мне было совсем невмоготу. Подгоняемый страхом, бросился я к себе на квартиру и зарылся в постель, стремясь забыться после совершенного мной страшного дела. Но сон не приходил, и лишь утро принудило меня собраться с мыслями. Я предполагал, что человек, толкнувший меня на такое страшное злодеяние, меня не выдаст. Я решился не мешкая отправиться к себе в лавку и заняться своим делом, приняв по возможности беспечный вид. Но увы! — новое обстоятельство, которое я обнаружил лишь сейчас, усугубило мою тревогу. Я не находил ни своей шапки, ни пояса, ни ножей и не мог припомнить, оставил ли я их в комнате убитой или растерял во время бегства. К несчастью, первая догадка была более правдоподобна, и, значит, меня легко могли уличить в убийстве.

В обычное время я открыл лавку. Сосед, как и каждое утро, не замедлил явиться ко мне, ибо он был человек общительный.

— Ну, что вы скажете, — начал он, — какое ужасное событие приключилось нынче ночью! — Я сделал вид, будто ничего не знаю. — Неужели вы не слышали того, о чем толкует весь город? Не слышали, что прекраснейший цветок Флоренции, Бианка, дочь губернатора, убита нынче ночью? Ах! Вчера еще я видел, как она, веселая, проезжала по улицам вместе с женихом, ведь на сегодня назначена их свадьба.

Каждое слово соседа, как острый нож, вонзалось мне в сердце, и пытка повторялась непрерывно, ибо каждый покупатель пересказывал мне эту историю, уснащая ее подробностями, которые были одна ужаснее другой; но до того ужаса, который видел я сам, никто додуматься не мог. Среди дня ко мне в лавку вошел судейский чиновник и попросил меня удалить покупателей.

— Синьор Цалевкос, — произнес он, доставая потерянные мною вещи, — эти вещи принадлежат вам?

Я собрался было отказать от них, но, увидав в полуотворенную дверь своего хозяина и нескольких знакомых, которые могли бы свидетельствовать против меня, решил не отягощать своей вины еще и ложью и признал предъявленные мне вещи. Судейский чиновник предложил мне следовать за ним и привел меня в большое здание, оказавшееся тюрьмой. Там он до поры до времени оставил меня в отдельном помещении.

Поразмыслив в одиночестве, я понял весь ужас своего положения. Мысль, что я убийца, — хоть и против воли, — не давала мне покоя; не мог я также утаить от себя, что блеск золота отуманил мне разум, иначе я так слепо не поддался бы обману.

Через два часа после ареста за мной пришли. Меня повели куда-то вниз по бесконечным лестницам, пока мы не очутились в большой зале. Там, вокруг длинного, покрытого черным столом, сидело двенадцать человек, преимущественно стариков. Вдоль

стен залы шли скамьи, сплошь занятые именитыми флорентийцами; вверху, на галереях теснились обыватели. Когда я подошел к черному столу, из-за него поднялся человек с мрачным и скорбным лицом — то был губернатор. Он обратился к собранию со словами, что ему как отцу нельзя быть судьей в этом деле и потому он на сей раз уступает свое место старейшему из сенаторов. Старейший из сенаторов был старец, по меньшей мере девяностолетнего возраста; он стоял совсем согбенный, остатки седых волос ниспадали ему на виски, но глаза еще пылали огнем и голос был тверд и уверен. Он начал с вопроса, признаюсь ли я в убийстве. Я попросил его выслушать меня; откровенно и внятно изложил я все, что сделал, и все, что знал. Я заметил, что во время моего рассказа губернатор то бледнел, то краснел; а когда я кончил, он вскочил в бешенстве.

— Как, негодяй! — крикнул он мне. — Ты еще хочешь свалить на другого злодеяние, совершенное тобою из корысти?

Сенатор поставил ему на вид его вмешательство, ибо он добровольно отказался от своих прав, да, кроме того, ничем пока не доказано, что злодейство совершено мной из корысти, ведь, по его собственному показанию, у покойницы ничего украдено не было. Мало того, он заявил губернатору, что ему следует дать отчет о прежней жизни своей дочери. Ибо лишь таким путем можно вывести заключение, говорю ли я правду или нет. Вслед за тем он прекратил на сегодня разбор дела, дабы, сказал он, поискать разгадки в бумагах покойной, которые вручит ему губернатор. Меня снова отвели в тюрьму, где я провел печальный день, мечтая о том лишь, чтобы как-нибудь отыскались нити, связующие покойницу с человеком в красном плаще. Преисполненный надежд, переступил я на другой день порог залы суда. На столе лежало много писем; старик сенатор спросил меня, моя ли то рука. Я взглянул на них и узнал почерк тех двух записок, которые получил я. Я заявил об этом сенаторам, но слова мои не встретили доверия; мне возразили, что как та, так и другая бесспорно писаны мною, ибо подпись повсюду начинается с Ц, первой буквы моего имени. Письма же содержали угрозы и предостережения против брака, в который покойница намеревалась вступить. По-видимому, губернатор успел дать какие-то неблагоприятные сведения обо мне, ибо в этот день со мной обращались подозрительнее и строже. Дабы оправдаться, я сослался на бумаги, которые должны быть у меня в комнате. Мне ответили, что там уже искали, но ничего не нашли. Так, к концу этого судебного заседания всякая надежда покинула меня, и, когда на третий день я снова был приведен в залу, мне прочитали приговор, в котором меня, как уличенного в преднамеренном убийстве, приговаривали к смертной казни. Такова, значит, моя доля; вдали от родины, разлученный со всем, что мне дорого на земле, я осужден был безвинно, во цвете лет, кончить жизнь под топором!

Вечером этого ужасного дня, решившего мою участь, я сидел в своей одинокой темнице; надежды мои угасли, — все помыслы

сосредоточились на смерти; как вдруг дверь моей тюрьмы растворилась и вошел какой-то человек. Долго и молча вглядывался он в меня.

— Вот как привелось мне увидеть тебя вновь, Цалевкос! — заговорил он наконец.

Я не узнал его в тусклом свете лампы, но, при звуке его голоса, воспоминания воскресли во мне; то был Валетти, один из немногих друзей, приобретенных мною во времена моего учения в городе Париже. Он сказал, что случайно приехал во Флоренцию, где проживает его отец, человек почтенный; услышав мою историю, он явился в последний раз повидаться со мной и от меня самого узнать, каким образом я дошел до столь тяжкого преступления. Я рассказал ему всю историю. Он был явно поражен и заклинал открыть ему, моему единственному другу, все без утайки, — чтобы не уйти из этого мира с ложью на совести. Я поклялся ему всем святым, что говорю правду и что на мне лежит одна вина: ослепленный блеском золота, я не усмотрел неправдоподобности в рассказе незнакомца.

— Итак, ты прежде не знал Бианки? — спросил он меня.

Я заверил его, что ни разу в жизни не видал ее. Тогда Валетти рассказал мне, что тут кроется глубочайшая тайна и что губернатор очень торопился с моим осуждением; а по городу теперь ходит молва, будто я давно знал Бианку и убил ее из мести, потому что она выходит замуж за другого. Я заметил в ответ, что все это весьма подходит к человеку в красном, но я не в силах доказать его причастность к преступлению. Валетти в слезах обнял меня и пообещал сделать все, чтобы по крайней мере спасти мне жизнь. Я не слишком надеялся, однако знал, что Валетти человек разумный и сведущий в законах и что он все сделает для моего спасения. Два долгих дня прошло в неизвестности, наконец явился Валетти.

— Я приношу утешение, хотя и нерадостное. Тебе будет дарована жизнь и свобода, но ты лишишься одной руки.

Прочувствованно поблагодарил я друга за спасение жизни. Он сообщил, что губернатор никак не желал разрешить пересмотр дела, но под конец, боясь показаться несправедливым, пошел на уступку, согласившись, если в летописях Флоренции найдется подобный случай, наложить на меня такую же кару, какая была наложена тогда. Мой друг со своим отцом дни и ночи рылись в старых книгах и наконец нашли случай, совершенно сходный с моим. Приговор там гласил: надлежит у него отрубить левую руку, отобрать в казну имущество, его же самого подвергнуть вечному изгнанию. Такова теперь и моя кара, и мне нужно приготовиться к предстоящим тяжким минутам. Я не стану рисовать вам те тяжкие минуты, когда мне пришлось посреди площади положить руку на плаху и когда собственная кровь фонтаном обдала меня!

Валетти взял меня к себе, пока я не поправился, а затем щедро снабдил меня деньгами на дорогу, ибо все, что я скопил

своими трудами, стало добычей суда. Я отправился из Флоренции в Сицилию и оттуда, первым попавшимся кораблем, в Константинополь. Все надежды у меня были на тот капитал, что я оставил на хранение другу; кроме того, я просил его приютить меня; но как я изумился, когда друг спросил, отчего я не хочу поселиться в своем доме. Он рассказал мне, что какой-то неизвестный человек приобрел на мое имя дом в греческом квартале, а соседям объявил, что вскоре явлюсь я сам. Я тотчас отправился туда вместе с другом и был радостно встречен всеми знакомыми. Один пожилой купец вручил мне письмо, которое оставил человек, совершивший за меня покупку дома.

Я прочел: «Цалевкос! Две руки готовы трудиться без усталости, дабы ты не ощущал потери одной. Дом, который ты видишь, и все его содержимое принадлежит тебе, а каждый год ты будешь получать столько, сколько нужно, чтобы считаться человеком богатым. Прости тому, кто несчастней тебя!» Я догадывался, кем оставлено это письмо, а купец на мой вопрос ответил, что человек тот оказался ему чужеземцем и одет был в красный плащ. После этого рассказа я принужден был признать, что незнакомец мой не вполне лишен душевного благородства. Я оказался владельцем дома, устроенного наилучшим образом, а кроме того, еще и лавки с такими прекрасными товарами, каких у меня никогда не бывало. С тех пор протекло десять лет; больше по привычке, чем из нужды, разъезжаю я по торговым делам, но в той стране, где мне пришлось столько претерпеть, я больше не был ни разу. С тех пор я каждый год получал по тысяче золотых, но хоть меня и радует благородство того злополучного человека, однако ему не окупить скорбь моей души, где вечно жив душераздирающий образ убитой Бианки.

Цалевкос, греческий купец, окончил свой рассказ. С глубоким участием слушали его все остальные; особенно взволнован, казалось, был чужестранец: он неоднократно глубоко вздыхал, и Мулею раз даже почудилось, будто на глазах у него слезы. Долго толковали они об этой истории.

— Вы, надо думать, ненавидите незнакомца, что так подло лишил вас благороднейшей части тела и чуть было не лишил самой жизни? — спросил гость.

— Прежде, в самом деле, случались минуты, когда я в сердце своем винил его перед господом за то, что он навлек на меня такое горе и напоил ядом мою жизнь, — отвечал грек, — но я нашел утешение в вере отцов, которая повелевает мне возлюбить врага; да и он, конечно, несчастнее меня.

— Вы благороднейший человек! — вскричал гость, с чувством пожимая руку Цалевкоса.

Но тут начальник стражи прервал их беседу. С озабоченным видом вошел он в шатер и доложил, что надо быть начеку, ибо в этих местах чаще всего совершаются нападения на караваны, а его стража как будто заметила вдали отряд всадников.

Купцов сильно встревожило это известие, но чужестранец Селим подвинулся их тревоге, заметив, что при такой охране нечего бояться кучки арабских разбойников.

— О да, господин мой! — отвечал ему начальник стражи. — Будь это простой сброд, можно бы без страха расположиться на покой, но с некоторых пор снова появился грозный Орбазан, а при нем надо держать ухо востро.

Гость спросил, кто такой Орбазан, и Ахмет, старший из купцов, ответил ему:

— В народе рассказывают много чудес об этом человеке. Одни полагают, что он одарен сверхъестественной силой, ибо нередко он один поражает сразу пять-шесть человек; другие считают его смельчаком-франком, которого несчастья занесли в здешние края, — кто бы, однако, он ни был, ясно одно — он нечестивец, злодей и разбойник.

— Это вы не можете сказать, — возразил ему Леза, один из купцов. — Хоть он и разбойник, но тем не менее благородный человек, что испытал на себе мой брат и чему я мог бы привести вам доказательства. Все свое племя он держит в подчинении, и пока он кочует по пустыне, никакое другое племя не смеет показаться в этих местах. Да он и не грабит, как другие, а только взимает с караванов дань, и кто беспрекословно выплачивает ее, тот может без помехи совершать свой путь, ибо Орбазан — повелитель пустыни.

Так беседовали между собой путешественники, сидя в шатре; тем временем среди стражи, охранявшей место стоянки, поднялась сильная тревога. Порядочная кучка вооруженных всадников показалась на полчасовом расстоянии; они явно направлялись напрямик к стоянке. Один из стражников явился в шатер сообщить, что нападение готовится в самом деле. Купцы принялись совещаться, как быть — выступать ли навстречу или ждать нападения. Ахмет и двое других купцов постарше предпочитали второе, но пылкий Мулей, а также Цалевкос настаивали на первом и обратились к гостю с просьбой поддержать их. Но тот спокойно достал из-за пояса синий платочек с красными звездами, привязал его к копыю и велел одному из рабов водрузить его над шатром; он ручается головой, сказал он, что всадники, увидав этот знак, спокойно проедут мимо. Мулей не верил в успех, но раб все же водрузил копые над шатром. Между тем все успели вооружиться и с волнением смотрели навстречу всадникам. Но те, по-видимому, заметив знак, круто изменили направление, обогнули место стоянки и поскакали в другую сторону.

Изумленные путешественники несколько минут молча переводили взгляд со всадников на своего гостя. Тот же, как ни в чем не бывало, стоял перед шатром и смотрел вдаль. Наконец Мулей прервал молчание.

— Кто же ты, могущественный незнакомец, чьему знаку покорны дикие кочевники пустыни? — вскричал он.

— Вы переоцениваете мое могущество, — возразил Селим Ба-

рух.— Я захватил этот знак, убегая из плена. Что он означает, я не знаю и сам; одно мне известно, что он служит могущественной защитой тому, кто путешествует с ним.

Купцы благодарили гостя, называя его своим спасителем. И в самом деле, число всадников было так велико, что караван вряд ли мог бы обороняться против них.

Успокоенные, отправились все на покой, когда же солнце начало склоняться, а вечерний ветерок подул над песчаной равниной, караван снялся и пустился в дальнейший путь.

На следующий день он расположился примерно лишь на расстоянии дня пути от конца пустыни. Когда путешественники вновь собрались в большом шатре, купец Леза повел такую речь:

— Я сказал вам вчера, что страшный Орбазан — благородный человек; позвольте мне нынче подтвердить вам это рассказом о приключениях моего брата. Отец мой был кади в Акаре. Нас у него — трое детей. Я — старший, а брат и сестра много моложе меня. Когда мне минуло двадцать лет, один из братьев отца призвал меня к себе. Он назначил меня наследником своего имущества с тем, чтобы я находился при нем до его смерти. Однако он достиг преклонного возраста, так что я лишь два года тому назад возвратился на родину, ничего не зная о том, какая ужасная судьба постигла между тем моих близких и какой благодетельный оборот дал ей Аллах.

СПАСЕНИЕ ФАТЬМЫ

Мой брат Мустафа и сестра Фатма были почти в одном возрасте,— брат был старше всего года на два. Они горячо любили друг друга и дружно старались облегчить нашему немощному отцу бремя его лет. В день шестнадцатилетия Фатмы брат устроил празднество. Он созвал всех ее подруг, приготовил для них в отцовском саду самое изысканное угощение, а когда наступил вечер, предложил им покататься по морю на лодке, которую он нанял и по-праздничному разукрасил. Фатма и ее подруги с радостью согласились; вечер выдался прекрасный, а вид с моря на город, особенно ночью, был поистине великолепен. Но девушкам так понравилось кататься в лодке, что они уговаривали брата выплыть подальше в море; Мустафа согласился, но нехотя, потому что, за несколько дней до того, поблизости был замечен корсар. Неподалеку от города в море выступает мыс; девушкам вздумалось добраться до него, чтобы оттуда смотреть, как солнце погружается в море. Когда они огибали мыс, то увидели на недалеком расстоянии лодку с вооруженными людьми. Предчувствуя недоброе, брат мой приказал гребцам повернуть обратно и грести к берегу. В самом деле, его опасения подтвердились; вторая лодка, на которой было больше гребцов, нагнала лодку моего брата, опередила ее и дальше все время норовила держаться между берегом и нашей

лодкой. Девушки, поняв грозившую им опасность, вскочили с мест, подняли крик и плач; Мустафа тщетно старался их успокоить, тщетно убеждал сидеть смирно, ибо из-за их беготни лодке угрожает опасность опрокинуться; но слова его были напрасны; в конце концов, когда вторая лодка приблизилась вплотную, они все сбились к одному краю лодки, и она опрокинулась. Между тем с берега уже давно наблюдали за маневрами незнакомой лодки, а так как в последнее время надвинулась угроза корсарского налета, то незнакомая лодка пробудила подозрение; несколько лодок отплыли на помощь нашей. Они едва успели спасти утопающих. В сумятице неприятельская лодка исчезла, а на тех лодках, которые подобрали тонувших, не знали, всех ли удалось спасти, и лишь когда лодки приблизились друг к другу, на беду, обнаружилось, что недостает моей сестры и одной из ее подруг; одновременно на одной из лодок заметили человека, которого никто не знал. Угрозы Мустафы вынудили его сознаться, что он — с неприятельского корабля, который стоит на якоре в двух милях на восток от города, и что его спутники, поспешно спасаясь бегством, бросили его, пока он помогал вылавливать девушек; еще он рассказал, что видел, как двух из них втащили на судно.

Скорбь моего престарелого отца не имела пределов, да и Мустафа был совсем убит; и не только потому, что исчезла его любимая сестра и что он считал себя виновником ее несчастья; та самая подруга Фатьмы, которая разделила ее горькую участь, была обещана родителями ему в жены, и он только не осмелился еще сознаться в этом нашему отцу, ибо ее родители были люди бедные и притом низкого происхождения. Мой же отец был человек строгий; когда скорбь его немного улеглась, он призвал к себе Мустафу и сказал ему:

— Твоя глупость отняла у меня утешение моей старости и радость очей моих. Я проклинаю тебя и твое потомство, ступай навеки прочь с глаз моих, и только когда ты вернешь мне Фатьму, отцовское проклятие будет снято с главы твоей.

Этого мой бедный брат не ожидал; он уже и сам решил отыскать сестру и ее подругу и хотел только испросить благословения отца, и вот теперь ему приходится пускаться в путь с бременем отцовского проклятия. Но если прежняя беда сломила его, то избыток горя, которого он не заслужил, укрепил его дух.

Он пошел к пленному морскому разбойнику, расспросил его, куда держал путь корабль пиратов, и узнал, что они ведут обширную торговлю невольниками и обычно для этой цели выбирают Бальсору.

Когда он вернулся домой, чтобы собраться в путь, гнев отца как будто несколько улегся, ибо он прислал ему на дорогу кошелек с золотыми. Мустафа же, в слезах, простился с родителями Зо-райды, так звали его похищенную невесту, и пустился в путь к Бальсоре.

Он не мог ехать морем, ибо из нашего городка ни один корабль не шел в Бальсору. Поэтому ему пришлось совершать за

день большие переходы, чтобы прибыть в Бальсору вслед за пиратами; но конь у него был хороший, поклажи никакой, и потому он рассчитывал добраться туда к концу шестого дня. Однако вечером четвертого дня, когда он в одиночестве совершал свой путь, на него напали три всадника. Заметив, что они хорошо вооружены и сильны и посягают больше на его коня и кошелек, чем на жизнь, он крикнул им, что сдается. Они слезли с лошадей, связали ему ноги под брюхом его коня, окружили его и поскакали рысью, не говоря ни слова, причем один из них держал его коня за поводья.

Мустафа предался глубокому отчаянию, проклятие отца, видно, уже начинало сбываться, и где ему, несчастному, было надеяться спасти свою сестру и Зораиду, когда сам он, лишенный всяких средств, мог отдать для их освобождения только свою жалкую жизнь! Мустафа и его безмолвные спутники, проехав около часа, свернули в тесную боковую долину. Полянка, куда они попали, была окаймлена высокими деревьями; мягкая темно-зеленая трава, быстро бегущий посредине ручей, — все мапило к отдыху. И в самом деле, Мустафа увидел, что там разбито около двадцати шатров; к кольям шатров были привязаны верблюды и великошешные кози; из одного шатра неслись веселые звуки цитры и двух прекрасных мужских голосов. Мой брат подумал, что люди, выбравшие такое приветливое местечко для привала, не могут замышлять против него недоброе, и без страха последовал зову своих проводников, которые, распутав связывавшие его веревки, велели ему слезть с лошади. Его повели в шатер, который был больше других и внутри убран красиво, почти изысканно. Превосходные, шитые золотом подушки, узорные ковры, позолоченные курильницы где-либо в ином месте служили бы признаком богатства и благополучия, здесь же они свидетельствовали о дерзких грабежах.

На одной из подушек сидел маленький старичок; лицо у него было безобразное, очень смуглое и лобнящееся, а печать злобного коварства вокруг глаз и рта придавала ему отталкивающий вид. Хотя этот человек и старался приосаниться, однако Мустафа скоро смекнул, что не для него шатер убран так богато, а разговоры спутников только подтвердили это предположение.

— Где атаман? — спросили они у старика.

— Он выехал поохотиться, — ответил тот, — а меня посадил на свое место.

— Это он неладно придумал, — возразил один из разбойников, — нужно скорей решить, убить ли этого пса или взять с него выкуп, а это атаман знает лучше, чем ты.

Карлик поднялся с полным сознанием своего достоинства и, желая отомстить за обиду, вытянулся, сколько мог, чтобы кончиками пальцев достать ухо противника; видя, что усилия его напрасны, он начал браниться, другие тоже не остались в долгу, — так что от их криков дрожал весь шатер.

Но тут внезапно дверь шатра открылась, и вошел высокий стройный мужчина, молодой и прекрасный, как персидский принц; его одежда и оружие, кроме богато отделанного кинжала и бле-

стящей сабли, были скромны и просты, а строгий взгляд и осанка внушали уважение, не вызывая при этом страха.

— Кто осмеливается заводить ссоры в моем шатре? — воскликнул он, обращаясь к испуганным спорщикам. Некоторое время царило глубокое молчание, наконец один из тех, что привели Мустафу, рассказал, какова причина ссоры. Лицо атамана, как они его называли, вспыхнуло от гнева.

— Когда это я сажал тебя на мое место, Гассап? — закричал он грозным голосом, обращаясь к карлику. Тот совсем съехал от страха, так что стал еще меньше, чем прежде, и шмыгнул к двери, ведущей из шатра. Увесистым пинком атаман подогнал его, и он кубарем вылетел из шатра.

Когда карлик исчез, трое людей, приведших Мустафу, подвели его к хозяину шатра, который успел между тем улечься на подушки.

— Вот тот, кого ты нам повелел поймать.

Атаман долго смотрел на пленника и наконец заговорил:

— Зулиэйкский паша, собственная совесть подскажет тебе, почему ты стоишь перед Орбазаном! — Услышав это, брат мой упал на колени, вскричав:

— О господин! Ты, по-видимому, впал в заблуждение, я несчастный горемыка, а не паша, которого ты ищешь! — Все присутствующие были удивлены подобной речью. А хозяин шатра сказал:

— К чему отпираться, я сейчас призову сюда людей, которые хорошо тебя знают. — И он приказал привести Зулейму. В шатер ввели старуху, которая на вопрос, признает ли она в моем брате зулиэйкского пашу, отвечала:

— Конечно! Клянусь гробницей пророка, что это и есть не кто иной, как паша.

— Видишь, презренный человек, как твоя хитрость пошла прахом? — гневно начал атаман. — Я не стану марать свой кинжал в крови такой мрази, как ты: я привяжу тебя к хвосту коня завтра, когда взойдет солнце, и буду скакать с тобой по лесам, пока солнце не скроется за холмами Зулиэйки!

Тут бедный мой брат совсем пал духом.

— Значит, проклятие жестокого отца обрекает меня на позорную смерть! — со слезами воскликнул он. — Теперь погибла и ты, возлюбленная сестра, и ты, Зораида, тоже!

— Притворство тебе не поможет, — сказал один из разбойников, связывая ему за спиной руки, — проваливай из шатра, а то атаман закусил уже губы и поглядывает на свой кинжал. Выходи скорее, если хочешь прожить еще хоть ночь.

Только разбойники собрались увести моего брата из шатра, как столкнулись с тремя другими, которые гнали перед собой пленника. Они вошли с ним в шатер.

— Мы привели пашу, как ты приказал, — сказали они и потащили пленника к ложу атамана. В то время как пленника тащили, мой брат успел его разглядеть и заметить сходство этого

человека с собою, — только тот был смуглее лицом и борода у него была темнее.

Атаман, по-видимому, очень удивился появлению второго пленника.

— Кто же из вас настоящий? — спросил он, переводя взгляд с моего брата на того.

— Если ты подразумеваешь пашу из Зулиэйки, — горделиво отвечал пленник, — так это я!

Атаман долго смотрел на него строгим и мрачным взглядом, затем молча подал знак увести его. После этого он приблизился к моему брату, разрезал своим кинжалом связывавшие его путы и жестом пригласил его сесть рядом с собой на подушки.

— Я сожалею, чужеземец, что принял тебя за то чудовище, — сказал он, — но припиши неисповедимой воле неба случай, отдавший тебя в руки моих братьев именно в час, назначенный для гибели того нечестивца!

Тут мой брат попросил оказать ему единственную милость и позволить немедленно продолжать путь, ибо всякая отсрочка может стать для него пагубной. Атаман осведомился, что за спешное у него дело, и, когда Мустафа все рассказал, убедил брата провести эту ночь тут в шатре, ибо и Мустафа, и его конь нуждаются в отдыхе; а завтра он сам покажет ему дорогу, по которой в полтора дня можно доскакать до Бальсоры. Брат мой согласился и мирно проспал до утра в шатре радушного разбойника.

Проснувшись, он увидел, что, кроме него, в шатре никого нет, но перед завесой шатра он услышал голоса, которые, по-видимому, принадлежали хозяину шатра и темполицему человеку. Он прислушался и, к своему ужасу, уловил, что карлик настойчиво уговаривает атамана убить чужеземца, ибо, если отпустить его на волю, он выдаст их всех.

Мустафа понял, что карлик питает к нему злобу как к виновнику вчерашней взбучки; атаман, видимо, размышлял несколько мгновений.

— Нет, — ответил он, — он мой гость, а гостеприимство свято для меня, да и, на мой взгляд, он не из тех, что способны выдать.

Сказав это, он откинул занавеску и вошел.

— Мир тебе, Мустафа, — произнес он, — подкрепимся сперва утренним напитком, а затем собирайся в путь.

Он протянул моему брату чашу с шербетом; выпив, они взнуздали коней, и надо сказать, что Мустафа вскочил на коня с более легким сердцем, чем приехал сюда. Вскоре шатры остались позади, и они свернули на широкую тропу, ведущую к лесу. Атаман рассказал моему брату, что паша, когда они захватили его на охоте, обещал не преследовать их в своей стране; но несколько недель тому назад он поймал одного из самых храбрых их товарищей и, после жесточайших пыток, велел его повесить. Они долго выслеживали его, и вот сегодня он будет казнен. Мустафа не осмелился возражать, радуясь, что ему самому удалось спасти свою шкуру.

При выезде из леса атаман придержал своего коня, объяснил моему брату дорогу, протянул ему на прощанье руку и сказал:

— Мустафа, ты чудесным случаем оказался гостем разбойника Орбазана; я не стану просить тебя не выдавать того, что ты видел и слышал. Ты незаслуженно испытал страх смерти, и я у тебя в долгу. Возьми на память этот кинжал; когда будешь нуждаться в помощи, пришли мне его, и я поспешу к тебе на выручку. Кошелек же этот может тебе пригодиться в пути.

Мой брат поблагодарил его за великодушие, взял кинжал, а от кошелька отказался. Но Орбазан пожал ему еще раз руку, бросил кошелек наземь и, как вихрь, умчался в лес. Когда Мустафа убедился, что его все равно не нагнать, он слез с коня, поднял кошелек и даже испугался щедрости своего гостеприимного хозяина, ибо в кошельке оказалось очень много золота. Возблагодарив Аллаха за спасение, он поручил благородного разбойника его милосердию и бодро продолжал свой путь в Бальсору.

Леза умолк и вопросительно взглянул на Ахмета, старшего из купцов.

— Ну, если это так, я охотно изменю свое мнение об Орбазане, ибо что правда, то правда: с твоим братом он поступил хорошо.

— Он поступил, как истый мусульманин! — воскликнул Мулей.— Но я надеюсь, что ты на этом своего рассказа не кончишь, ибо всем нам, надо думать, любопытно узнать, что произошло дальше с твоим братом и освободил ли он твою сестру Фатьму и прекрасную Зораиду.

— Если вам не наскучило слушать, я охотно расскажу, что было дальше,— ответил Леза,— ибо история моего брата в самом деле изобилует чудесными приключениями.

В полдень седьмого дня пути Мустафа въехал в ворота Бальсоры. Остановившись в ближайшем караван-сараяе, он спросил, когда открывается невольничий рынок, который бывает здесь ежегодно. Но, о, ужас! — в ответ он услышал, что опоздал на два дня. При этом ему еще сказали, что он много потерял, ибо в самый последний день торго привезли двух невольниц такой поразительной красоты, что они привлекли к себе взоры всех покупателей. Люди прямо дрались за них и набили такую высокую цену, какая не отпугнула только их теперешнего хозяина. Он подробно расспросил об этих невольницах, и у него не осталось сомнения, что это и были бедняжки, которых он искал. Он узнал также, что человек, купивший их обеих, живет в сорока часах езды от Бальсоры и зовется Тиули-Кос; человек это знатный, богатый, но уже пожилой, раньше он был капудан-пашой султана, а теперь удалился на покой с накопленными богатствами.

Сперва Мустафа решил немедленно вскочить на коня и поспешить вслед за Тиули-Косом, который мог опередить его не больше, чем на один день. Но когда он сообразил, что одному ему не совладать с могущественным противником, а тем паче не отбить у него добычи, то стал придумывать другой способ, на который вскоре и набрел. Сходство с зулиэйским пашой, едва не оказавшееся для него роковым, навело его на мысль проникнуть в дом Тиули-Коса под этим именем и таким путем попытаться спасти несчастных девушек. Тотчас же он нанял нескольких слуг и лошадей, на что ему чрезвычайно пригодились деньги Орбазана, приобрел для себя и для слуг великолепные одежды и пустился в путь к замку Тиули. Он добрался туда в пять дней. Замок, расположенный в прекрасной долине, был окружен стенами, почти одной вышины с самими строениями. Прибыв к замку, Мустафа окрасил волосы и бороду в черный цвет, а лицо смазал соком одного растения, что придало ему смугловатый оттенок, совсем как у того паши. Вслед за тем он послал одного из своих слуг во дворец, приказав ему просить о ночлеге от имени зулиэйского паши. Слуга вскоре вернулся, а с ним четверо богато одетых рабов, которые взяли под уздцы коня Мустафы и повели его во двор замка. Там они помогли ему самому слезть с коня, а четверо других проводили его по мраморной лестнице к Тиули.

Этот старый весельчак принял моего брата с почетом и велел потчевать его всем самым лучшим, что только умел изготовить его повар. После трапезы Мустафа постепенно навел разговор на новых невольниц, Тиули принялся расхваливать их красоту и посетовал только, что они всегда печальны, однако выразил надежду, что это скоро пройдет. Мой брат был очень доволен приемом и лег спать, исполненный радостных упований.

Он проспал не более часа, как вдруг его разбудил свет лампы, направленный прямо на него. Поднявшись, он подумал, что продолжает грезить,— перед ним стоял черномазый человечек из шатра Орбазана с лампой в руке; отвратительная улыбка кривила его широкую пасть. Мустафа ущипнул себя за руку, дернул за нос, желая убедиться, что не спит, но явление не исчезало.

— Что тебе нужно у моего ложа? — воскликнул Мустафа, оправившись от изумления.

— Не волнуйтесь так, господин,— сказал карлик,— я сразу смекнул, зачем вы сюда явились. Ваше досточтимое лицо мне хорошо запомнилось, но, право же, если бы я не собственноручно помогал вешать пашу, то, может быть, вы и меня провели бы. А теперь я здесь, чтобы задать вам один вопрос.

— Прежде всего скажи, как ты попал сюда,— заявил Мустафа, взбешенный тем, что обман его не удался.

— Сейчас расскажу,— ответил тот,— я не мог ужиться с атаманом, а потому бежал; но ведь ты, Мустафа, собственно, и был причиной нашей ссоры, а потому ты должен выдать за меня свою сестру, я же помогу вам бежать; если же ты не выдашь ее за

меня, я пойду к моему новому хозяину и расскажу ему кое-что о новом паше.

Мустафа был вне себя от страха и гнева; теперь, когда он считал, что находится на верном пути к достижению своей цели, вдруг является этот негодяй, чтобы все расстроить. У него оставалось одно средство не загубить свой план — прикончить этого уродца; одним прыжком бросился он с постели на карлика, но тот, видимо, предчувствовал такую возможность: он уронил лампу, которая погасла, а сам отскочил в темноту, во все горло зова на помощь.

Что тут было делать? От спасения девушек Мустафе пока приходилось отказаться и думать только о собственной голове; он подошел к окну, чтобы посмотреть, нельзя ли выпрыгнуть из него. Окно находилось довольно далеко от земли, а дальше была высокая стена, через которую нужно перелезть. Размышляя, стоял он у окна, как вдруг услышал множество голосов, приближающихся к его комнате, — вот они уже у самой двери, тогда он в отчаянии схватил свой кинжал и одежду и прыгнул из окна. Удар оказался сильным, но он чувствовал, что кости у него все целы, и поэтому вскочил на ноги, подбежал к стене, окружавшей двор, к удивлению своих преследователей, вскарабкался по ней и скоро очутился на воле. Он бежал, пока не достиг лесочка, где в изнеможении свалился на землю. Тут он стал раздумывать, как быть дальше. Лошадей и слуг ему пришлось бросить на произвол судьбы, зато деньги, которые были у него за поясом, оказались при нем.

Его изобретательный ум вскоре указал ему новый путь к спасению. Он пошел лесом дальше, пока не достиг деревни, где за сходную цену купил лошадь, на которой вскоре добрался до города. Там он стал спрашивать о враче, и ему указали искусного в своем деле старика лекаря. Ценой нескольких золотых монет он убедил старика дать ему такое лекарство, которое вызывало бы сон, похожий на смерть и могущий быть мгновенно прерванным с помощью другого лекарства. Получив такое средство, он купил себе длинную фальшивую бороду, черную мантию и множество разных банок и склянок, так что действительно стал похож на странствующего врача, погрузил свои пожитки на осла и поехал обратно в замок Тиули-Коса. Теперь он мог не опасаться быть узанным, ибо борода настолько изменила его, что он сам себя почти не узнавал. Приехав к Тиули, он приказал доложить о себе, как о враче Хакаманкабудибаве, и как он предполагал, так и случилось: пышное имя произвело на старого дурака огромное впечатление, так что он сразу же пригласил гостя к столу. Хакаманкабудибав предстал перед Тиули, и после того, как они проговорили около часа, старик решил подвергнуть всех своих невольниц лечению мудрого врача. Тот с трудом скрывал свою радость, что наконец снова увидит любимую сестру, и с бьющимся сердцем последовал за Тиули в сераль. Они пришли в богато убранную комнату, в которой, однако, не было никого.

— Хамбаба, или как там тебя зовут, любезный врач, — сказал Тпули-Кос, — взгляни-ка вон на то отверстие в стене; в него каж-

дая из моих рабынь будет просовывать руку, а ты по пульсу сможешь судить, здорова она или нет.

Как Мустафа ни протестовал, но увидеть невольниц ему не удалось; однако Тиули согласился сообщать о каждой, как она себя чувствует обычно. Тиули вынул из-за пояса длинную записку и начал громким голосом выкликать своих невольниц одну за другой, после чего всякий раз в отверстии появлялась рука, и лекарь щупал пульс. Уже были выкликнуты шесть невольниц и все объявлены здоровыми, когда Тиули назвал седьмой Фатьму, и маленькая белая ручка скользнула в отверстие, Мустафа схватил ее, дрожа от радости, и заявил с озабоченным видом, что эта невольница не на шутку больна. Тиули весьма встревожился и приказал своему мудрому Хакаманкабудибаве поскорее приготовить для нее лекарство. Лекарь вышел, написал на клочке бумаги: «Фатьма! Я спасу тебя, если ты отважишься принять лекарство, которое лишит тебя жизни на два дня; однако у меня есть средство снова вернуть тебе жизнь. Если ты согласишься, скажи лишь, что питье не помогло, и это будет мне знаком твоего согласия!»

Вслед за тем он вернулся в комнату, где его ожидал Тиули. Он принес безвредное питье и, щупая еще раз пульс у больной Фатьмы, засунул ей за браслет записку, питье же открыто подал через отверстие в стене. Тиули был крайне озабочен болезнью Фатьмы и отложил осмотр остальных до более благоприятного времени. Покидая вместе с Мустафой комнату, он сказал печальным голосом:

— Хадibaba, скажи откровенно, что ты думаешь о болезни Фатьмы? — Хакаманкабудibaba отвечал с глубоким вздохом:

— Ах, господин мой! Да ниспошлет тебе пророк утешение, — у нее изнурительная лихорадка, которая может ее доконать.

Тиули вспылил:

— Что ты говоришь? Поганый ты пес после этого, а не врач! Я заплатил за нее две тысячи золотых, и чтобы она издохла, как корова? Так и знай, если ты не спасешь ее, я отрублю тебе голову!

Тут мой брат понял, что сделал глупость, и поспешил обнадежить Тиули. Во время их разговора из серала пришел черный раб сказать врачу, что питье не помогло.

— Употребь все свое искусство, Хакамдабaбeльба, или как там тебя зовут, — я заплачу тебе сколько хочешь! — взвыл Тиули-Кос от страха, что может потерять такие деньги.

— Я дам ей лекарство, которое избавит ее от всяких мук, — ответил врач.

— Да, да, дай ей лекарство, — причитал старик Тиули.

Радостно поспешил Мустафа за своим сонным напитком и, отдав его черному рабу, показал, сколько принимать, а сам пошел к Тиули и объявил, что ему нужно собрать у моря кое-какие целебные травы, после чего пустился наутек из замка. Невдалеке, у моря, он сбросил свою мантию и бороду, швырнул их в воду, а сам спрятался в кустах и, дождавшись ночи, прокрался к усыпальнице при замке Тиули.

Не прошло и часа после ухода Мустафы, как Тиули принесли прискорбную весть, что его невольница Фатьма при смерти. Он послал людей к морю за врачом, но его посланцы вскоре вернулись одни и рассказали, что бедный врач упал в море и утонул; его черная мантия плавает по морю, и то тут, то там из волн показывается его великодушная борода. Когда Тиули убедился, что спасения нет, он стал проклинать себя и весь мир, рвать свою бороду и биться головой об стенку. Но гнев его был бессилён, и Фатьма испустила дух на руках у других женщин. Когда Тиули принесли весть о ее смерти, он приказал спешно изготовить гроб, ибо не терпел в доме мертвецов, и велел снести труп в усыпальницу. Носильщики отнесли гроб, поспешно сбросили на землю и убежали,— им почудилось, будто из других гробов раздаются стоны и вздохи.

Мустафа, укрывшийся за гробами и оттуда обративший в бегство носильщиков, вышел из своего убежища и зажег лампу, которую предусмотрительно захватил с собой. Затем он вынул склянку, содержащую средство для пробуждения, и приподнял крышку гроба Фатьмы. Но какой ужас обуял его, когда при свете лампы обнаружились совсем незнакомые черты. В гробу лежала не моя сестра и не Зораида, а какая-то чужая женщина. Он долго не мог оправиться от нового удара судьбы, но под конец сострадание пересилило гнев. Он открыл склянку и влил лекарство в рот незнакомки. Она вздохнула, открыла глаза и, казалось, долго не могла понять, где она. Наконец она вспомнила все происшедшее, встала из гроба и упала к ногам Мустафы.

— Как мне благодарить тебя, добрая душа,— воскликнула она,— за то, что ты освободил меня из ужасного плена!

Мустафа прервал ее изливания вопросом: как случилось, что спасена она, а не его сестра, Фатьма? Та с удивлением посмотрела на него.

— Только теперь мне понятно мое спасение, которое сперва было для меня загадкой,— ответила она,— знай же, что меня в замке Тиули называли Фатьмой и свою записку и спасительный напиток ты вручил мне.

Брат мой попросил спасенную сообщить ему что-либо о его сестре и Зораиде и узнал, что обе они находятся в замке, но, по обычаю Тиули, им даны другие имена: их теперь зовут Мирза и Нурмагаль.

Когда Фатьма, спасенная невольница, увидела, что мой брат так угнетен происшедшим недоразумением, она принялась утешать его и пообещала открыть средство, как снова попытаться спасти тех двух девушек. Ободренный ее словами, Мустафа вновь воспрянул духом; он попросил ее указать ему это средство, и она заговорила:

— Хотя я только пять месяцев в неволе у Тиули, однако с самого начала я стала думать о спасении, но одной мне оно было не под силу. Во внутреннем дворе замка ты, вероятно, заметил фонтан, вода в котором бьет из десяти труб,— этот фонтан при-

влек мое внимание. Я помню, в доме моего отца был точно такой же фонтан, и вода в него притекала по широкому водопроводу. Чтобы узнать, построен ли этот фонтан точно так же, я один раз, в присутствии Тиули, похвалила красоту фонтана и спросила, кто его строил. «Я сам построил его,— отвечал он,— и то, что ты видишь снаружи, сущие пустяки; вода подведена к нему из ручья по меньшей мере за тысячу шагов отсюда, и течет она по сводчатому водопроводу, вышиной в человеческий рост, и все это я придумал сам». После того как я это услышала, я не раз мечтала хоть на минуту обрести силу мужчины, чтобы поднять один из камней сбоку фонтана,— тогда бы я убежала на свободу. Я тебе покажу, откуда идет водопровод, через него ты можешь ночью пробраться в замок и освободить их. Но тебе нужно иметь с собой самое меньшее еще двух человек, чтобы одолеть рабов, которые ночью охраняют сераль.

Так говорила она, а брат мой, Мустафа, хотя уже дважды обманутый в своих надеждах, еще раз собрался с духом и понадеялся, с помощью Аллаха, осуществить план невольницы. Он дал ей слово позаботиться о ее возвращении на родину, если она поможет ему пробраться в замок. Но еще одна мысль тревожила его — где ему взять двух или трех верных помощников? Тут он вспомнил про кинжал Орбазана и про обещание, данное тем, прийти ему на помощь, когда он будет в ней нуждаться. Он поспешил с Фатьмой из склепа, чтобы отыскать Орбазана.

В том же городе, где он превратился в лекаря, он на последние деньги купил себе коня, а Фатьму поселил у одной бедной женщины в предместье; сам же отправился в ту долину, где впервые встретил Орбазана, и через три дня добрался туда. Скоро нашел он те же шатры и неожиданно предстал перед Орбазаном, который дружески его приветствовал. Мустафа рассказал о своих неудавшихся попытках, причем суровый Орбазан не мог в некоторых местах удержаться от смеха, особенно когда представил себе врача Хакаманкабудибабу. Но, узнав о предательстве карлика, он сильно разгневался и поклялся собственноручно повесить его, где бы тот ему ни попался. Вслед за тем он пообещал не мешкая снарядиться на помощь моему брату, при условии, что тот сперва отдохнет с дороги. Поэтому Мустафа провел еще одну ночь в шатре Орбазана; но едва забрезжила заря, как они двинулись в путь, причем Орбазана сопровождали трое его самых храбрых, хорошо вооруженных людей на лихих конях. Они скакали во всю прыть и спустя два дня прибыли в тот городок, где Мустафа оставил спасенную Фатьму. Затем они отправились вместе с ней к леску, откуда недалеко виден замок Тиули, там они расположились в ожидании ночи. Как только стемнело, Фатьма провела их к ручью, откуда начинался водопровод. Отыскав его, они оставили Фатьму и одного из слуг с лошадьми, а сами начали спускаться; но прежде чем они спустились, Фатьма еще раз повторила им все подробно, а именно, что через фонтан они проникнут во внутрен-

ний двор замка. Там, справа и слева, по углам, находятся две башни; за шестой дверью, считая от правой башни, помещаются Фатма и Зораида под охраной двух черных рабов. Захватив оружие и ломы, Мустафа, Орбазан и двое других спустились в водопровод; хотя они оказались по пояс в воде, однако это не мешало им храбро продвигаться вперед. Спустя полчаса они достигли самого фонтана и немедленно пустились в ход ломы. Стена была толстая и крепкая, но соединенным усилиям четырех человек она долго противостоять не могла, и скоро они проломили отверстие, достаточное для того, чтобы свободно пролезть в него. Орбазан пролез первым и помог остальным. Очутившись во дворе, они принялись, в поисках указанной им двери, разглядывать ту сторону замка, что была прямо перед ними. Но столкнуться, которая же это из дверей, они никак не могли, ибо, если они считали от правой башни к левой, им попадалась замурованная дверь, и они не знали, пропускала ли ее Фатма или считала тоже. Но Орбазан не стал долго колебаться. «Мой добрый меч откроет мне любую дверь!» — воскликнул он и подошел к шестой двери, остальные последовали за ним. Открыв дверь, они увидели шестерых черных рабов, спавших на полу; они собрались уже потихоньку уйти, ибо поняли, что попали не туда, куда нужно, как вдруг в углу приподнялась какая-то фигура и хорошо знакомым голосом стала звать на помощь. То был карлик из шатра Орбазана. Но не успели черные рабы опомниться, как Орбазан ринулся к карлику и, разорвав свой пояс надвое, заткнул ему рот и связал за спиной руки, потом принялся за рабов; некоторых из них Мустафа и двое других уже успели связать, — Орбазан помог справиться с остальными. Рабам приставили кинжал к груди и стали их допрашивать, где Нурмагал и Мирза, и те сознались, что они в соседнем покое. Мустафа бросился туда и увидел Фатму и Зораиду, которых разбудил шум. Они поспешно собрали свои украшения и одежды и последовали за Мустафой; оба разбойника предложили между тем Орбазану награбить всего, что попадется, но Орбазан запретил им это, присовокупив: «Пусть никто не посмеет сказать про Орбазана, будто он ночью пропикает в дома, чтобы красть золото».

Мустафа и спасенные девушки быстро скользнули в водопровод, куда за ними обещал вскоре последовать и Орбазан. Когда те скрылись в водопроводе, Орбазан и один из разбойников взяли карлика и вывели во двор; там они набросили ему на шею шелковый шнур, захваченный ими для этой цели, и повесили его на самой верхушке фонтана. Покарав таким образом предательство негодяя, они, в свою очередь, спустились в водопровод и последовали за Мустафой. Со слезами на глазах благодарили обе девушки своего великодушного избавителя Орбазана; но он торопил их бежать, полагая, что Тиули-Кос разошлет погоню во все стороны. Тропутье до глубины души, Мустафа и спасенные девушки распрощались на завтра с Орбазаном; и правда — они не забудут его никогда. А Фатма, освобожденная невольница, от-

правилась переодетой в Бальсору, чтобы оттуда морем добраться к себе на родину.

После краткого и приятного путешествия прибыли мои близкие на родину. Нашего престарелого отца едва не убила радость свидания; на следующий день после их возвращения он устроил большое празднество, в котором принимал участие весь город. Брата моего заставили рассказать перед целым собранием родственников и друзей о его приключениях, и все единогласно хвалили и его, и благородного разбойника.

Когда же мой брат закончил рассказ, встал отец и подвел к нему Зораиду.

— Итак,— произнес он торжественным голосом,— я снимаю проклятие с твоей головы! Возьми эту девушку, как награду, которую ты заслужил своим неутомимым рвением. Прими также мое родительское благословение, и пусть в нашем городе никогда не будет недостатка в людях, равных тебе по уму, усердию и братской преданности!

Караван достиг конца пустыни, и путешественники радостно приветствовали зеленые луга и густолиственные деревья, приятного лицезрения коих они были лишены столько дней. Каравансарай, который они избрали себе для ночлега, был расположен в прекрасной долине, и хотя удобств и прохлады он сулил немного, но вся компания была веселее и благодуще, чем когда-либо, ибо сознание, что опасности и трудности, которые влечет за собой путешествие через пустыню, счастливо миновали их, раскрыло все сердца и настроило умы на веселье и забавы. Младший из купцов, весельчак Мулей, протанцевал комический танец, сопровождая его песенкой, которые вызвали улыбку даже у сумрачного грека Цалевкоса. Но мало того, что Мулей развлек своих спутников танцами и песнями, напоследок он преподнес им еще историю, которую обещал раньше, и, отдохнув от пляски, начал рассказ о Маленьком Муке.

РАССКАЗ О МАЛЕНЬКОМ МУКЕ

В родном моем городе Никее жил-был человек по прозванию Маленький Мук. Хотя я был тогда совсем ребенком, однако помню его очень хорошо, в особенности потому, что однажды отец мой избил меня из-за него до полусмерти. Дело в том, что в те времена Маленький Мук был уже старичок, ростом же не больше трех-четырёх футов. Притом сложен он был весьма странно: на туловище его, маленьком и хрупком, сидела голова, размером куда объемистее, чем у других людей. Жил он совсем один в большом доме и даже стряпал себе сам, на улицу показывался всего раз в месяц, и в городе никто бы не знал, жив он или умер, если бы в обеденное время из трубы его дома не валил дым; правда, по вечерам он нередко прогуливался по крыше, а с улицы казалось,

будто по крыше катается одна его огромная голова. Мы с товарищами были злые мальчишки, готовые всякого высмеять и поддразнить, потому для нас каждый раз бывало праздником, когда Маленький Мук выходил из дому. В определенный день мы толпились перед его домом и поджидали, пока он выйдет; когда же растворялась дверь и сперва показывалась большая голова в еще большем тюрбане, а затем и все тельце, облаченное в потрепанный халатик, пышные шаровары и широкий пояс, за которым торчал длинный кинжал,— такой длинный, что неизвестно было, кинжал ли прицеплен был к Муку или Мук к кинжалу,— так вот, когда он показывался, навстречу ему раздавались веселые возгласы, мы подбрасывали в воздух шапки и откалывали вокруг него бешеный пляс. Маленький Мук в ответ спокойно кивал нам головой и медленным шагом направлялся вдоль по улице, при этом он шаркал ногами, ибо туфли на нем были такие длинные и широкие, каких я больше не видывал. Мы, мальчишки, бежали следом, крича без устали: «Маленький Мук, Маленький Мук!» Кроме того, мы сочинили забавные стишки, которые пели в его честь. Вот эти стишки:

Крошка Мук, крошка Мук,
Сам ты мал, а дом — утес;
В месяц раз ты кажешь нос.
Ты хороший карлик-крошка,
Голова крупна немножко,
Обернись-ка на наш стук
И поймай нас, крошка Мук.

Так мы развлекались частенько, и, к стыду своему, должен признаться, что я озорничал пуще всех: дергал его за халатик, а как-то раз наступил ему сзади на огромные туфли, так что он упал. Это меня рассмешило, но охоты смеяться как не бывало, когда я увидел, что Маленький Мук направляется к нашему дому. Он вошел туда и пробыл там некоторое время. Я спрятался за дверь и видел, как Мук выходил в сопровождении моего отца, который почтительно поддерживал его и у двери распрощался с ним, отвесив множество поклонов. Мне было очень не по себе, и я долго не решался выбраться из своего укромного уголка, но под конец голод, который казался мне страшнее побоев, выгнал меня наружу, и я, смиренно склонив голову, предстал перед отцом.

— Я слышал, что ты издевался над добрейшим Муком? — начал он очень строгим тоном. — Я расскажу тебе историю этого самого Мука, и ты наверняка перестанешь дразнить его, но до и после ты получишь обычную порцию. — Обычная порция — это были двадцать пять ударов, которые он всегда отсчитывал точно. Итак, он взял свой длинный чубук, отвернул янтарный мундштук и отделал меня сильнее, чем всегда.

Когда все двадцать пять были отсчитаны сполна, он приказал мне слушать внимательно и принялся рассказывать о Маленьком Муке.

Отец Маленького Мука, которого зовут по-настоящему Мук-ра, был у нас в Нижее человеком почтенным, хоть и бедным. Он жил почти так же замкнуто, как нынче его сын. Сына этого он недолюбливал, стыдясь его малого роста, и не дал ему никакого образования. На шестнадцатом году Маленький Мук был все еще резвым ребенком, и отец, человек положительный, вечно корил его за то, что он давно вышел из младенческого возраста, а между тем глуп и дурашлив, как дитя.

Однажды старик упал, сильно расшибся и умер, оставив Маленького Мука в нищете и невежестве. Жестокосердая родня, которой покойный задолжал больше, чем мог заплатить, выгнала бедняжку из дому, посоветовав ему идти искать счастья по свету. Маленький Мук отвечал, что он уже собрался в путь, и попросил только отдать ему одежду отца, что и было исполнено. Но одежда его отца, человека плотного и рослого, не пришлась ему впору. Однако Мук, не долго думая, подрезал, что было длинно, и нарядился в отцовское платье. Но он, как видно, забыл, что следует урезать и в ширину, и вот откуда получился его необычайный наряд, в котором он щеголяет и поныне; большой тюрбан, широкий пояс, пышные шаровары, синий халат,— все это — наследство отца, которое он носит с тех самых пор. Заткнув за пояс дамаский кинжал отца и взяв посошок, он пустился в путь.

Бодро шагал он целый день,— ведь отправился-то он искать счастья; заметив блестящий на солнце черепок, он, должно быть, подбирал его, в надежде, что тот превратится в алмаз; завидев вдали купол мечети, сияющий, точно зарево, увидев озеро, сверкающее, словно зеркало, он радостно спешил туда, ибо думал, что попал в волшебную страну. Но увы! Те миражи исчезали вблизи, а усталость и голодное бурчание в животе тотчас напоминали ему, что он все еще в стране смертных. Так шел он два дня, терзаясь голодом и горем, и уже отчаивался найти счастье; злаки служили ему единственной пищей, голая земля — постелью. На утро третьего дня он увидал с холма большой город. Ярко сиял полумесяц на его кровлях, пестрые флаги реяли над домами и словно манили к себе Маленького Мука. Он замер в изумлении, оглядывая город и всю местность. «Да, там крошка Мук найдет свое счастье! — сказал он про себя и даже подпрыгнул, невзирая на усталость.— Там или нигде». Он собрался с силами и зашагал к городу. Но хотя расстояние казалось совсем небольшим, добрался он туда лишь к полудню, ибо маленькие ножки его отказывались служить, и ему не раз приходилось присаживаться в тени пальмы и отдыхать. Наконец он очутился у городских ворот. Он одернул на себе халатик, красивей повязал тюрбан, расправил пояс еще шире и еще больше вкось засунул за него кинжал, затем смахнул пыль с туфель, взялся за посошок и храбро миновал ворота.

Он прошел уже несколько улиц, но нигде не растворилась дверь, ниоткуда не крикнули, как он ожидал: «Маленький Мук, войди сюда, поешь, попей и отдохни».

Только он загляделся с тоской на один большой красивый

дом, как там растворилось окно, из него выглянула старушонка и закричала нараспев:

Сюда, сюда.
Поспела всем еда,
Стол давно уже накрыт,
Кто придет, тот будет сыт,
Соседи, все сюда,
Поспела вам еда!

Двери дома раскрылись, и Мук увидел, как туда вбежало множество собак и кошек. Он стоял, не зная, принять ли ему тоже приглашение, но затем собрался с духом и вошел в дом. Впереди шли две кошечки, и он решил следовать за ними, потому что они, наверное, лучше его знали дорогу на кухню.

Когда Мук поднялся по лестнице, ему навстречу попала та старушка, что выглядывала в окно. Она сердито посмотрела на него и спросила, чего ему нужно.

— Ты ведь всех звала к себе поесть, — отвечал Маленький Мук, — а я очень голоден, вот я и решил тоже прийти.

Старуха расхохоталась и сказала:

— Откуда ты взялся, чудак? Весь город знает, что я готовлю только для своих милых кошечек, а иногда приглашаю им для компании соседских животных, как ты сам видел.

Маленький Мук рассказал старушке, как туго ему пришлось после смерти отца, и попросил ее позволить ему разок пообедать с ее кошками. Старуха, смягчившись от его чистосердечного рассказа, разрешила ему побыть у нее и обильно накормила и напоила его. Когда он насытился и подкрепился, старуха внимательно оглядела его и затем молвила:

— Маленький Мук, оставайся у меня в услужении, работать тебе придется мало, а жить будешь хорошо.

Маленькому Муку пришлось по вкусу кошачья похлебка, а потому он согласился и стал слугой госпожи Агавци. Работа у него была петрудная, но страшная. Госпожа Агавци держала двух котов и четырех кошек, — Маленькому Муку приходилось каждое утро расчесывать и умащать им шерсть драгоценными притираниями; когда старуха уходила из дому, он ублажал кошек во время еды, подставлял им мисочки, а на ночь укладывал их на шелковые подушки и покрывал бархатными одеялами. Кроме того, в доме водилось несколько собачек, за которыми ему тоже велено было ходить, правда с ними не так нянчились, как с кошками, которые были для госпожи Агавци все равно что родные дети. Здесь Мук вел такую же замкнутую жизнь, как и в отцовском доме, потому что, кроме старухи, по целым дням видел одних кошек да собак.

Некоторое время Муку жилось отлично: у него всегда было вдоволь еды и не много работы, и старуха, казалось, была довольна им; но мало-помалу кошки разбаловались: когда старуха уходила, они, как бешеные, металась по комнатам, опрокидывали все и били дорожную посуду, попадавшуюся им на пути. Но, за-

слышав шаги старухи по лестнице, они забивались к себе в постельки и, как ни в чем не бывало, виляли ей навстречу хвостами. Находя свои комнаты в беспорядке, старуха злилась и сваливала все на Мука; и как он ни оправдывался, она больше верила невинному виду своих кошечек, чем речам слуги.

Маленький Мук был очень опечален, что здесь ему не удалось найти свое счастье, и задумал бросить службу у госпожи Агавци. Но помня, по первому своему путешествию, как трудно приходится без денег, он решил каким-нибудь способом добыть свое жалованье, которое хозяйка ему все обещала, по ни разу не заплатила. В доме госпожи Агавци имелась комната, которая всегда была под замком и куда он ни разу не заглядывал, но часто он слышал, как старуха возится там, и дорого бы дал, чтобы узнать, что она там хранит. Когда он задумался, как добыть денег на дорогу, ему пришло в голову, что в той комнате хранятся сокровища старухи; но дверь всегда была на запоре, и ему никак не удавалось добраться до сокровищ.

Как-то утром, когда госпожа Агавци вышла из дому, одна из собачонок, для которой старуха была сушей мачехой и которая привязалась к Муку за ласковое обращение, дернула его за складку шаровар, как будто показывая ему, чтобы он следовал за ней. Мук, охотно игравший с собаками, пошел за ней следом, и — что вы думаете? — собачонка привела его в спальню госпожи Агавци, прямо к дверце, которой он до сих пор не замечал. Дверь была полуоткрыта. Собачка вошла туда. Мук следом, — и какова же была его радость, когда он увидел, что находится в комнате, куда стремился так давно! Он стал шарить в поисках денег, но ничего не нашел. Вся комната была полна старой одежды и сосудов причудливой формы. Один из этих сосудов особенно привлек его внимание: он был из граненого хрусталя с прекрасным рисунком. Мук взял его и принялся вертеть во все стороны; но — о, ужас! — он не заметил, что там была крышка, которая держалась очень слабо: крышка упала и разбилась вдребезги.

Маленький Мук оцепенел от страха, — теперь его судьба решалась сама собой, теперь ему приходилось бежать, иначе старуха забьет его до смерти. Он мигом решил, но на прощание поглядел еще раз, не пригодится ли что-нибудь из добра госпожи Агавци ему в дорогу; тут на глаза ему попала пара огромных туфель; правда, они не были красивы, но его старые уже не выдержали бы путешествия, а, кроме того, эти привлекали его своей величиной; ведь когда он их наденет, все увидят, что он уже давно вышел из пеленок. Итак, он поспешно скинул свои шлепанцы и влез в новые; ему показалось, что палочка с красиво вырезанной львиной головой зря пропадает в углу, он захватил и ее и поспешил вон из комнаты. Быстро сбегал он к себе в каморку, накинул халатик, нахлобучил отцовский тюрбан, заткнул за пояс кинжал и со всех ног бросился прочь из дому и из города. Он убегал все дальше от города, боясь гнева старухи, пока совсем не изнемог. Так быстро он не ходил никогда в жизни, мало того, он как будто

не мог остановиться, словно какая-то незримая сила гнала его. Наконец он заметил, что с туфлями дело обстоит нечисто: они мчались все вперед и увлекали за собой его. Он всячески пытался остановиться, но тщетно. Тогда он в отчаянии закричал самому себе, как кричат лошадям: «Тпру, стой, тпру!» И туфли остановились, а Мук без сил свалился наземь.

Он был в восторге от туфель; значит, он все-таки приобрел за свою службу нечто, с чем ему легче будет искать по свету счастья. Несмотря на радость, он уснул от утомления, ибо тельце Маленького Мука, которому приходилось носить такую тяжелую голову, было не из выносливых. Во сне ему явилась собачка, которая помогла ему добыть туфли в доме госпожи Агавци, и повела такую речь: «Милый Мук, ты еще не научился обращаться с туфлями; знай, что, надев их и трижды перевернувшись на каблук, ты полетишь куда пожелаешь, а палочка поможет тебе находить клады, ибо там, где зарыто золото, она будет стучать оземь трижды, где серебро — дважды». Вот что увидел во сне Маленький Мук; проснувшись, он припомнил чудесный сон и решил сделать опыт. Он надел туфли, поднял одну ногу и принялся вертеться на каблук; но кто пробовал проделать подобный фокус три раза подряд в непомерно больших туфлях, тот не удивится, что Маленькому Муку это удалось не сразу, особенно если принять в расчет, что тяжелая голова перевешивала его то на одну, то на другую сторону.

Бедняжка несколько раз больно стучался носом об землю, но мужественно продолжал попытки, пока наконец не добился своего. Колесом завертелся он на каблук, пожелал очутиться в ближайшем большом городе, и глядь — туфли поднялись на воздух, вихрем помчались сквозь облака, и не успел Маленький Мук прийти в себя, как оказался на большой базарной площади, где было разбито множество палаток и сновало бесчисленное количество людей. Он побродил в толпе, но потом решил, что благоразумнее направиться в одну из уединенных улиц, ибо на базаре ему то и дело кто-нибудь наступал на туфли, так что он едва не падал, либо он сам толкал кого-нибудь своим торчащим кинжалом и еле увертывался от побоев.

Маленький Мук призадумался всерьез, как бы ему заработать немножко денег; у него была, правда, палочка, указывающая клады, но как сразу найти место, где зарыто золото или серебро? На худой конец, он мог бы показываться за деньги, но тут гордость мешала ему. И вдруг он вспомнил о проворстве своих ног. «Быть может, туфли мои помогут мне прокормиться», — подумал он и порешил наняться в скороходы. Но ведь такая служба, наверное, лучше всего оплачивается у короля, а потому он отправился разыскивать дворец. У ворот дворца стояла стража, которая спросила его, чего ему здесь надобно. Когда он ответил, что ищет службы, его послали к надсмотрщику над рабами. Он изложил тому свою просьбу устроить его королевским гонцом. Надсмотрщик смерил его взглядом с головы до пят и произнес: «Как это

ты задумал стать королевским скороходом, когда ножонки у тебя не больше пяди? Убирайся поживее, мне недосуг балагурить с каждым дураком». Но Маленький Мук принял клятву, что он не шутит и готов поспорить с любым скороходом. Надсмотрщик нашел, что такое предложение позабавит хоть кого; он велел Муку приготовиться до вечера к состязанию, отвел его на кухню и распорядился, чтобы его как следует накормили и напоили; сам же отправился к королю и рассказал ему о маленьком человечке и его бахвальстве. Король был по природе весельчак, поэтому ему очень понравилось, что надсмотрщик для потехи оставил Маленького Мука; он приказал так устроить все на большом лугу за королевским замком, чтобы двору удобно было следить за бегом, а о карлике велел иметь особое попечение. Своим принцам и принцессам король рассказал, какое развлечение ждет их вечером; те же рассказали об этом своим слугам, и когда наступил вечер, нетерпеливое ожидание стало всеобщим, — все, кого носили ноги, устремились на луг, где были устроены помосты, откуда двор мог следить за бегом хвастливого карлика.

Когда король с сыновьями и дочерьми расположился на помосте, Маленький Мук выступил на середину луга и отвесил знатному обществу грациознейший поклон. Веселые возгласы встретили малыша, — такого уродца никто еще не видывал. Тельце с огромной головой, халатик и пышные шаровары, длинный кинжал за широким поясом, маленькие ножонки в большущих туфлях — право же, при виде такой комичной фигурки нельзя было сдерживать смех. Но хохот не смутил Маленького Мука. Он приосанился, опершись на палочку, и ждал противника. По настоянию самого Мука, надсмотрщик над рабами выбрал лучшего скорохода; тот выступил тоже, подошел к малышу, и оба стали ждать знака. Тогда принцесса Амарца, как было условлено, махнула покрывалом, и точно две стрелы, пущенные в одну цель, помчались бегуны по лугу.

Поначалу противник Мука был заметно впереди, но малыш устремился за ним на своих туфлях-самоходах, нагнал его, опередил и давно уже достиг цели, когда тот подбегал, еле переводя дух. Зрители застыли на миг от изумления и неожиданности, но когда король первый захлопал в ладоши, толпа разразилась восторженными кликами: «Да здравствует Маленький Мук, победитель в состязании!»

Маленького Мука подвели к помосту, он бросился в ноги королю со словами:

— Великий государь, я показал тебе сейчас лишь скромный образчик своего искусства; соблаговоли повелеть, чтобы меня приняли в число твоих гонцов. — На это король возразил ему:

— Нет, ты будешь состоять гонцом лично при моей особе, милый Мук, жалованья ты будешь получать сто золотых в год, и есть ты будешь за одним столом с первыми моими слугами.

Тут Мук решил, что нашел наконец долгожданное счастье, обрадовался и возликовал в душе. Король оказывал ему особую

милость, посылая через него самые срочные тайные поручения, которые он исполнял с величайшей старательностью и непостижимой быстротой.

Но прочие слуги короля не питали к нему расположения; они не могли перенести того, что ничтожный карлик, только и умевший, что быстро бегать, занял первое место в милостях государя. Они затевали против него всяческие козни, дабы погубить его, но все было бессильно против неограниченного доверия, которое питал король к своему тайному обер-лейб-курьеру (ибо таких чинов он достиг в короткий срок).

Мук, от которого не укрылись все эти хитросплетения, помышлял не о мести, — он был слишком добр для того, — нет, он думал о средствах заслужить благодарность и любовь своих врагов. Тут он вспомнил о своей палочке, о которой удача заставила его позабыть. Если ему удастся найти клад, решил он, вся эта челядь сразу станет благосклоннее к нему. Ему не раз приходилось слышать, что отец нынешнего короля зарыл многие из своих сокровищ, когда на страну его напал враг; по слухам, он умер, не успев открыть свою тайну сыну. Отныне Мук всегда брал с собой палочку в надежде, что ему случится пройти теми местами, где зарыты деньги покойного короля. Как-то вечером он случайно забрел в отдаленную часть дворцового парка, где редко бывал до того, и вдруг почувствовал, что палочка дрогнула у него в руке и трижды стукнула оземь. Он сразу смекнул, что это значит. Он вытащил из-за пояса кинжал, сделал зарубки на ближних деревьях и поспешил назад во дворец; там он добыл себе лопату и подождал ночи, чтобы приступить к делу.

Добраться до клада оказалось труднее, чем он думал. Руки у него были слабые, а лопата большая и тяжелая; за два часа он вырыл яму не более двух футов в глубину. Наконец он наткнулся на что-то твердое, зазвеневшее, как железо. Он стал рыть еще усерднее и вскоре докопался до большой железной крышки; он влез в яму посмотреть, что было под крышкой, и в самом деле обнаружил горшок, полный золотых монет. Но у него не хватило силенка поднять горшок, и потому он набрал в шаровары и за пояс сколько мог донести монет, наполнил также халатик и, тщательно прикрыв оставшееся, взвалил халатик себе на спину. Но не будь на нем его тужель, он ни за что бы не сдвинулся с места, — так оттягивало ему плечи золото. Однако ему все же удалось незаметно пробраться к себе в комнату и спрятать золото под подушками дивана.

Оказавшись владельцем таких богатств, Маленький Мук решил, что отныне все пойдет по-новому и что теперь многие его враги из числа придворных станут его рьяными защитниками и покровителями. Из этого одного ясно, что добряк Мук не получил тщательного воспитания, иначе бы он не мог вообразить, будто деньгами приобретаются истинные друзья. Ах! Отчего он тогда не надел своих тужель и не улетучился, прихватив халатик, наполненный золотом!

Золото, которое Мук раздавал теперь пригоршнями, не замедлило пробудить зависть остальных придворных. Главный повар, Аули, сказал: «Он фальшивомонетчик»; надсмотрщик над рабами, Ахмет, сказал: «Он выклянчил золото у короля»; казначей Архаз же, злейший его враг, сам время от времени запускавший руку в королевскую казну, сказал напрямик: «Он его украл». Они столковались, как вернее повести дело, и вот однажды кравчий Корхуз предстал пред королевские очи с печальным и унылым видом. Он всячески старался показать свою печаль: под конец король в самом деле осяедался им, что с ним.

— Увы! — отвечал он. — Я опечален тем, что утратил милость своего повелителя.

— Что ты ерунду городишь, голубчик Корхуз, — возразил ему король, — с каких пор солнце моей милости отвратилось от тебя?

Кравчий отвечал, что обер-лейб-курьера он осыпает золотом, а своим верным и бедным слугам не дает ничего.

Короля очень удивило такое известие; он выслушал рассказ о щедротах Маленького Мука; попутно заговорщики без труда внушили ему подозрение, что Мук каким-то образом похитил деньги из королевской сокровищницы. Особенно приятен был такой оборот дела казначею, который вообще не любил отчитываться. Тогда король приказал следить за каждым шагом Маленького Мука и постараться захватить его с поличным. И когда в ночь после этого злополучного дня Маленький Мук, чрезмерной щедростью истощивший свои запасы, взял лопату и прокрался в дворцовый парк, чтобы добыть новые средства из своего тайного хранилища, за ним, на расстоянии, следовала стража под начальством главного повара Аули и казначея Архаза, и в ту минуту, когда он собирался переложить золото из горшка в халатик, они набросились на него, связали и повели к королю. Король был уже не в духе, оттого что его разбудили; он весьма немилостиво принял своего злосчастного тайного обер-лейб-курьера и тотчас приступил к расследованию. Горшок был окончательно вырыт из земли и вместе с лопатой и халатиком, пабытым золотом, принесен к ногам короля. Казначей показал, что он с помощью стражи накрыл Мука как раз, когда тот зарывал в землю горшок с золотом. Тогда король обратился с вопросом к обвиняемому, правда ли это и откуда у него взялось золото, которое он зарывал.

Маленький Мук, в полном сознании своей невинности, показал, что горшок он нашел в саду и что он откапывал его, а не закапывал.

Все присутствующие встретили такое оправдание смехом; король же, крайне разгневанный мнимой лживостью карлика, закричал:

— Ты еще смеешь, негодяй, так глупо и подло обманывать своего короля после того, как ты же обокрал его? Казначей Архаз! Я повелеваю тебе сказать, признаешь ли ты это количество золота равным тому, какого недостает в моей казне?

И казначей отвечал, что для него сомнений нет; в королевской казне с некоторых пор недостает даже еще больше, и он готов присягнуть, что именно это и есть краденое золото.

Тогда король повелел заковать Маленького Мука в цепи и отвести в башню, а золото отдал казначею, чтобы тот отнес его назад в казну. Радуюсь счастливому исходу дела, отправился казначей восвояси и там принялся пересчитывать блестящие монеты; но злодей скрыл, что на дне горшка лежала записка, гласившая: «Враг заполонил мою страну, а посему я укрываю сюда часть своих сокровищ. Кто найдет их и не вручит без промедления моему сыну, на голову того да падет проклятие его государя. Король Сади».

У себя в темнице Маленький Мук предавался грустным размышлениям; он знал, что хищение королевского имущества карается смертью, и все-таки не хотел открыть королю тайну волшебной палочки, ибо справедливо опасался, что у него отберут и ее, и туфли в придачу. Туфли, к несчастью, тоже не могли выручить его, ведь он был цепями прикован к стене, и как ни бился, а все ему не удавалось повернуться на каблуке. Но после того как ему на другой день объявили смертный приговор, он решил, что все же лучше жить без волшебной палочки, чем умереть с ней: он попросил, чтобы король выслушал его с глазу на глаз, и открыл ему свою тайну. Сперва король не поверил его признанию, но Маленький Мук посулил проделать опыт, если король обещает сохранить ему жизнь. Король дал ему в том слово и велел без ведома Мука зарыть в землю немного золота, а затем приказал ему взять палочку и искать. Тот мигом нашел золото, ибо палочка явственно трижды стукнула о землю. Тут король смекнул, что казначей обманул его, и, по обычаю восточных стран, послал тому шелковый шнурок, дабы он сам удавился. А Маленькому Муку король объявил:

— Правда, я обещал сохранить тебе жизнь, но мне сдается, что ты знаешь не только тайну палочки; а посему ты останешься в вечном заточении, если не откроешь секрета своей быстроходности.

С Маленького Мука было довольно и одной ночи в башне, а потому он признался, что все его искусство скрыто в туфлях, но утаил от короля, как с ними обращаться. Король сам влез в туфли, желая проделать опыт, и точно полоумный заметался по саду; временами он пытался передохнуть, но не знал, как остановить туфли, а Маленький Мук из злорадства не помог ему, пока тот не добегался до обморока.

Король, придя в себя, рвал и метал на Маленького Мука, из-за которого ему пришлось бегать до бесчувствия.

— Я дал слово даровать тебе жизнь и свободу, но если в течение двух суток ты не будешь за пределами моей страны, я велю тебя вздернуть.— А туфли и палочку он велел отнести к себе в сокровищницу.

Беднее прежнего побрел Маленький Мук прочь, кляня свою

глупость, внушившую ему, будто он может стать персоной при дворе. Страна, из которой его изгоняли, к счастью, была певелика, и уже спустя восемь часов он очутился на ее рубеже, хотя идти без привычных его туфель было несладко.

Очутившись за пределами той страны, он свернул с большой дороги, чтобы углубиться в лесную глушь и жить в полном одиночестве, ибо люди опостытели ему. В чаще леса набрел он на местечко, которое показалось ему пригодным для намеченной им цели. Светлый ручей, осененный большими смоковницами, и мягкая мурава манили его к себе; тут опустился он на землю, решив не принимать пищи и ждать смерти. Печальные думы о смерти усыпили его; а когда он проснулся, мучимый голодом, то рассудил, что голодная смерть — дело опасное, и принялся искать, не найдется ли чего-нибудь поесть.

Чудесные спелые фиги висели на дереве, под которым он уснул; он взобрался наверх, сорвал несколько штук, полакомился ими и отправился к ручью утолить жажду. Но каков был его ужас, когда он увидел в воде собственное отражение, украшенное длинными ушами и мясистым длинным носом! В смнении схватился он руками за уши, и в самом деле — они оказались длиной с пол-локтя.

— Я заслужил ослиные уши, — вскричал он, — за то, что, как осел, растоптал свое счастье!

Он принялся бродить по лесу, а когда снова проголодался, ему еще раз пришлось прибегнуть к фигам, ибо больше ничего съедобного на деревьях не нашлось. Поглощая вторую порцию фиг, он надумал запрятать уши под тюрбан, чтобы не казаться таким смешным, и вдруг почувствовал, что уши у него уменьшились. Мигом бросился он к ручью, чтобы убедиться в этом, и в самом деле — уши стали прежними, исчез и безобразный, длинный нос. Тут он сообразил, как это произошло: от плодов первой смоковницы у него выросли длинные уши и уродливый нос, поев плодов второй, он избавился от напасти; с радостью понял он, что милосердная судьба снова дает ему в руки средство стать счастливым. Сорвав с каждого из деревьев столько плодов, сколько мог донести, он отправился в ту страну, которую недавно покинул. В первом же городишке он переоделся в другое платье, так что стал неузнаваем, а затем отправился дальше к тому городу, где жил король, и вскоре прибыл туда.

Время года было такое, когда спелые плоды еще довольно редки, и потому Маленький Мук уселся у ворот дворца, помня по прежним временам, что главный повар является сюда закупать редкостные лакомства для королевского стола. Не успел Мук расположиться, как увидел, что главный повар идет через двор к воротам. Он оглядел товары разносчиков, собравшихся у ворот дворца, и вдруг взгляд его упал на корзиночку Мука.

— Ого! Лакомое блюдо, — сказал он, — его величеству оно, уж конечно, придется по вкусу: сколько хочешь за всю корзинку?

Маленький Мук назначил невысокую цену, и торг состоялся.

Главный повар отдал корзинку одному из рабов и пошел дальше, а Маленький Мук поспешил улизнуть, боясь, как бы его не поймали и не показали за продажу плодов, если беда постигнет уши и носы королевского двора.

Во время трапезы король был в превосходном расположении духа и не раз припимался хвалить главного повара за вкусный стол и за усердие, с которым тот всегда старается раздобыть изысканные яства, а главный повар, помня, какой лакомый кусочек имеется у него в запасе, ухмылялся умильно и лишь кратко изрекал: «Конец делу венец», или «Это цветочки, а ягодки впереди», — так что принцессы сгорали от любопытства, чем он их еще попотчует. Когда же были поданы великолепные, соблазнительные фиги, у всех присутствующих вырвалось восторженное: «Ах!»

— Какие спелые! Какие аппетитные! — вскричал король. — Ты прямо молодчина, главный повар, ты заслужил нашу высочайшую милость.

Сказав это, король, весьма бережливый в отношении подобных лакомств, собственноручно оделил фигами присутствующих. Принци и принцессы получили по две штуки, придворные дамы, визири и аги по одной, остальные король придвинул к себе и стал их уплетать с величайшим удовольствием.

— Господи, какой у тебя страшный вид, папа! — вскричала вдруг принцесса Амарца.

Все обратили к королю удивленные взоры; по обеим сторонам головы у него торчали огромные уши, длинный нос свешивался до самого подбородка; тогда присутствующие стали с изумлением и ужасом оглядывать друг друга — у всех головы оказались, в большей или меньшей степени, украшенными тем же странным убором.

Легко вообразить себе смятение двора! Тотчас были разосланы гонцы за всеми врачами города; те явились толпой, прописали пилюли и микстуры, но уши и носы остались, какими были. Одному из принцев сделали операцию, но уши отросли снова.

Вся история достигла убежища, куда укрылся Мук; он понял, что настала пора действовать. На вырученные от продажи фиг деньги он заранее запасся одеждой, в которой мог выдать себя за ученого; длинная борода из козьей шерсти дополняла маскарад. Захватив мешочек с фигами, он направился во дворец, назвался чужеземным лекарем и предложил свою помощь. Вначале к нему отпеслись весьма педоверчиво, но когда Маленький Мук накормил фигой одного из принцев и тем возвратил его ушам и носу прежние размеры, все паперебой устремились за исцелением к чужеземному лекарю. Но король молча взял его за руку и повел к себе в опочивальню; там он отпер дверцу, ведущую в сокровищницу, и кивком позвал Мука.

— Вот все мои сокровища, — произнес король, — ты получишь все, чего бы ни пожелал, если избавишь меня от этой позорной напасти.

Сладше всякой музыки прозвучали эти слова в ушах Маленького Мука; он еще с порога увидал свои туфли, а рядом с ними лежала и палочка. Он принялся бродить по комнате, словно дивясь на сокровища короля, но когда дошел до своих туфель, то поспешно скользнул в них, схватил палочку, сорвал с себя накладную бороду и предстал перед изумленным королем в образе старого знакомого, бедного изгнанника Мука.

— Вероломный король,— заговорил он,— ты платишь неблагодарностью за верную службу, да будет тебе заслуженной карой уродство, которым ты поражен. Я оставляю тебе длинные уши, дабы они изо дня в день напоминали тебе о Маленьком Муке.

Сказав так, он стремительно перевернулся на каблучке, пожелал очутиться где-нибудь подальше, и не успел король позвать на помощь, как Маленький Мук исчез. С тех пор Маленький Мук живет здесь в полном достатке, но совсем одиноко, ибо он презирает людей. Житейский опыт сделал его мудрецом, который, невзирая на несколько странную наружность, больше заслуживает уважения, нежели насмешки.

Вот что рассказал мне отец. Я выразил искреннее сожаление о том, что был груб со славным человечком, после чего получил от отца вторую половину назначенного мне наказания. Я, в свою очередь, поведал товарищам о чудесных приключениях Карлика, и мы все так полюбили его, что никто и не думал больше насмеяться над ним. Даже наоборот, мы оказывали ему всяческое почтение до самой его смерти и кланялись ему так же низко, как муфтию или кади.

Путешественники решили остаться на дель в этом караван-сараяе, чтобы и люди и животные запаслись силами на дальнейший путь.

Вчерашняя веселость сохранилась и сегодня, и они не уставали предаваться всяческому забавам. Но после трапезы они обратились к пятому из купцов, Али Сиза, требуя, чтобы он, по примеру других, исполнил свою обязанность и рассказал какую-нибудь историю. Он возразил, что жизнь его бедна интересными событиями и ему нечего почерпнуть из нее, а посему он и расскажет им нечто иное, а именно сказку о мнимом принце.

СКАЗКА О МНИМОМ ПРИНЦЕ

Жил однажды на свете скромный портновский подмастерье по имени Лабакан, и учился он своему ремеслу у опытного мастера в Александрии. Никто не смел сказать, что Лабакан искусно владеет иглой, наоборот, он умел выполнять очень тонкую работу, и несправедливо было бы назвать его лентяем, по какой-то был в нем изъян: то он часами шил не отрываясь, так что игла

накалялась у него в руке и начинала дымиться нитка, а работа получалась лучше, чем у кого угодно. А в другой раз, и, к сожалению, это случалось чаще, он сидел в задумчивости, устремив неподвижный взор вдаль, и вид у него был такой странный, что его хозяин и прочие подмастерья говорили, глядя на него, не иначе как: «Лабакан опять напустил на себя знатный вид!»

По пятницам же, когда люди спокойно возвращались после молитвы домой к своим делам, Лабакан в красивом наряде, который он приобрел ценой больших трудов и лишений, выходил из мечети и медленно гордой поступью прогуливался по площадям и улицам города. Когда же при встрече кто-либо из его приятелей говорил ему: «Мир тебе!», или: «Как поживаешь, друг Лабакан?» — он милостиво махал рукой или в крайнем случае важно кивал головой. Если тогда хозяин шутя говорил ему: «В тебе, Лабакан, погиб принц», — он радовался и отвечал: «Вы тоже это заметили?», или: «Я сам давно так думаю!»

Так скромный портновский подмастерье Лабакан вел себя долгое время, но хозяин терпел его дурость, ибо, в общем, он был человек хороший и работник искусный. Но вот однажды Селим, брат султана, который проезжал как раз через Александрию, прислал портному свою праздничную одежду для какой-то переделки, и хозяин дал ее Лабакану, ибо тот обычно выполнял самую тонкую работу. Когда вечером хозяин и подмастерья разошлись отдохнуть от дневных трудов, какая-то непреодолимая сила привела Лабакана обратно в мастерскую, где висела одежда государева брата. Долго стоял он в раздумье перед ней, любуясь то блеском вышивки, то переливами бархата и шелка. Он не мог преодолеть в себе искушение ее примерить, и глядя — она была словно по нему сшита. «Ну, чем я не принц? — вопрошал он себя, шагая взад и вперед по комнате. — Разве сам хозяин не говорил, что я рожден быть принцем?» Вместе с одеждой к подмастерью как будто пристали и царственные повадки; он не на шутку вообразил себя самым подлинным принцем и, в качестве такового, решил отправиться в дальние края, покинув то место, где люди, по глупости своей, не могли отгадать под скромной оболочкой его прирожденное достоинство. Великолепная одежда словно была ниспослана ему доброй феей, поэтому он не пожалел пренебречь столь ценным подарком, собрал всю свою убогую наличность и вышел под покровом темной ночи из ворот Александрии.

Повсюду на своем пути новый принц возбуждал всеобщее удивление, ибо великолепная одежда и строгая, величавая осанка совершенно не подходили для пешехода. Когда его об этом спрашивали, он обычно принимал таинственный вид, отвечая, что у него на то имеются особые причины. Однако, убедившись, что пешеходное странствование делает его смешным, он купил по дешевке старую клячу, которая вполне его устраивала своим невозмутимым спокойствием и кротостью, никогда не вынуждая казаться искусным наездником и тем попадать в неловкое положение, ибо в этом деле он не был силен.

Однажды, когда он шаг за шагом тащился на своем Мурфе, — так называл он старую клячу, — к нему присоединился какой-то всадник и попросил разрешения продолжать путешествие вместе, — ведь дорога в беседе всегда кажется короче. Всадник, веселый юноша, был красив собой и приятен в обхождении. Он завязал с Лабаканом разговор о том о сем, и вскоре выяснилось, что он, как и портной, пустился в путь без определенной цели. Он сказал, что зовут его Омаром и что он племянник несчастного каирского паша Эльфи-бея и путешествует, дабы выполнить приказание, данное ему дядей на смертном одре. Лабакан рассказал о своих обстоятельствах не столь чистосердечно, дав только понять, что происхождения он высокого и путешествует ради собственного удовольствия.

Молодые люди пришли друг другу по вкусу и продолжали путь вместе. На второй день их совместного странствия Лабакан спросил у своего спутника, какое приказание надлежит ему выполнить, и, к своему удивлению, услышал следующее: Эльфи-бей, каирский паша, воспитывал Омара с самого его раннего детства, и тот совсем не знал своих родителей. Но вот когда на Эльфи-бея напал неприятель и он, после трех неудачных битв, смертельно раненный, вынужден был бежать, он открыл своему питомцу, что тот вовсе не его племянник, а сын могущественного государя, который, из страха перед предсказаниями своих звездочетов, удалил от себя юного принца, дав клятву, что увидит его только в день, когда ему исполнится двадцать два года.

Эльфи-бей не называл имени его отца, а только строго наказал ему: в четвертый день будущего месяца рамадана, в день, когда ему исполнится двадцать два года, явиться к знаменитой колонне Эль-Зеруйя, в четырех днях езды на восток от Александрии; там он увидит людей, которым вручит данный ему Эльфи-беем кинжал, сказав: «Я тот, кого вы ищете». Если они ответят: «Хвала пророку, сохранившему тебя», то он должен следовать за ними и они приведут его к отцу.

Портновский подмастерье Лабакан был очень удивлен этим рассказом; отныне он стал смотреть на принца Омара завистливыми глазами, досадуя на то, что судьба даровала Омару еще и звание государева сына, хотя он уже считался племянником могущественного паша, меж тем как его, обладавшего всем, что отличает принца, она, словно в насмешку, наделила убогим происхождением и заурядным жизненным путем. Он сравнивал себя с принцем и скрепя сердце признавал, что у того весьма располагающая паружность, прекрасные живые глаза, смело очерченный нос, мягкое, приветливое обхождение — словом, все внешние достоинства, способные подкупить каждого. Но, даже находя у своего спутника так много достоинств, он все же считал, что такая личность, как он, Лабакан, может показаться царственному отцу еще желаннее, чем настоящий принц.

Подобные размышления преследовали Лабакана целый день, с ними он и уснул на очередном привале; когда же он утром про-

будился и взгляд его упал на спящего подле него Омара, которому ничто не мешало спокойно спать и грезить об уготованном ему счастье, у него зародилась мысль хитростью или силой добиться того, в чем ему отказала неблагосклонная судьба; кинжал, этот отличительный признак возвращающегося на родину принца, был заткнут за пояс спящего. Лабакан потихоньку вытащил его, чтобы вонзить в грудь владельца. Но мысль об убийстве возмутила миролюбивую душу подмастерья; он удовольствовался тем, что завладел кинжалом, оседлал себе более резвую лошадь принца, и когда Омар, проснувшись, увидел, что у него отняты все надежды, вероломный спутник успел опередить его уже на много миль.

Ограбление принца свершилось как раз в первый день священного месяца рамадана, так что Лабакану оставалось еще четыре дня, чтобы в назначенный срок явиться к колонне Эль-Зеруйя, хорошо ему известной. Хотя до местности, где находилась колонна, было теперь никак не более двух дней пути, он все-таки поспешил туда, ибо все время боялся, что настоящий принц его нагонит.

К концу второго дня Лабакан издала различил колонну Эль-Зеруйя. Она стояла на небольшой возвышенности в обширной долине и видна была на расстоянии двух-трех часов пути. При виде ее сердце Лабакана забилося сильнее; хотя в последние два дня у него было достаточно времени обдумать ту роль, которую он собрался играть, однако нечистая совесть вселяла в него некоторое смущение; но мысль, что он рожден быть принцем, приободрила его, и в конце концов он уверенно направился к цели.

Местность вокруг колонны Эль-Зеруйя была необитаема и пустынна, и новому принцу пришлось бы туго с пропитанием, если бы он не запасся едой на несколько дней. В ожидании своей дальнейшей судьбы он расположился на отдых под пальмами, возле своей лошади.

Назавтра, около полудня, он увидел, что вверх по долине к колонне Эль-Зеруйя движется целая процессия на лошадях и верблюдах. Процессия остановилась у подножия холма, на котором стояла колонна, и все расположились в великолепных шатрах, как обычно устраиваются на привал караваны богатых пашей или шейхов. Лабакан догадался, что все эти люди явились сюда ради него, и охотно представил бы им уже сегодня их будущего повелителя; однако он обуздал свое нетерпение выступить в роли принца, решив ждать до следующего утра, когда его смелые вождения будут удовлетворены.

Восходящее солнце засияло над самым торжественным днем в жизни счастливец-портного и разбудило его к повой высокой доле государева сына, взамен известного прозябания.

Правда, когда он взнуздывал коня, собираясь ехать к колонне, ему стало не по себе при мысли о бесчестности такого поступка; правда, ему ясно представилась скорбь обманутого в своих лучших надеждах истинного царского сына, — однако жребий был брошен, что сделано, того не изменишь, а сомнение нашепты-

вало ему, что с виду он достаточно величав и смело может явиться пред очи могущественного государя в качестве его сына. Ободренный этой мыслью, он вскочил на коня, собрал всю свою отвагу, чтобы пустить его настоящим галопом, и в четверть часа достиг подножия холма. Спрыгнув с коня, он привязал его к кустарнику, в изобилии росшему на склоне, затем вынул из-за пояса кинжал принца Омара и стал взбираться на холм; у подножия холма шестеро мужчин стояло вокруг важного старца царственной осанки; великолепный парчовый кафтан, опоясанный белой кашемировой шалью, белый тюрбан, осыпанный драгоценными камнями, — все свидетельствовало о высоком сане и большом богатстве этого старца.

Лабакан направился прямо к нему, низко склонился перед ним и сказал, протягивая ему кинжал:

— Я тот, кого вы ищете.

— Хвала пророку, сохранившему тебя! — отвечал старик со слезами радости. — Обними твоего старого отца, мой возлюбленный сын Омар!

Чувствительный портной был очень растроган этими торжественными словами; он бросился в объятия старого государя в порыве радости, смешанной со стыдом.

Но ему суждено было лишь один миг наслаждаться ничем не омраченным блаженством своего нового положения; высвободившись из объятий царственного старца, он заметил, как по долине к холму спешит какой-то всадник. У всадника и у лошади вид был необычайно странный; не то от усталости, не то из упрямства лошадь не хотела идти; ежеминутно спотыкаясь, она тащила не то рысдой, не то шагом, а всадник подгонял ее и руками и ногами. Лабакан сразу узнал свою лошадь Мурфу и настоящего принца Омара, но в него прочно вселился злой дух лжи и обмана, и он порешил во что бы то ни стало всеми силами отстаивать присвоенные себе права.

Уже издали было видно, что всадник делает какие-то знаки. Вот он, несмотря на медленную рысцу коня Мурфы, достиг подножия холма, спрыгнул с лошади и бросился вверх по холму.

— Остановитесь! — кричал он. — Кто бы вы ни были, остановитесь и не поддавайтесь обману подлого лгуна! Я Омар, и горе тому, кто посмеет злоупотребить моим именем!

При таком неожиданном обороте дела лица всех, стоящих у колонны, выразили глубокое изумление, особенно поражен был, по-видимому, старец, переводивший недоуменный взгляд с одного на другого. Но Лабакан заговорил с деланным спокойствием:

— Милостивый отец и повелитель, не смущайтесь речами этого человека. Это, насколько мне известно, сумасшедший портновский подмастерье из Александрии, по имени Лабакан, который скорее заслуживает вашего сострадания, нежели гнева.

Слова эти привели принца в неистовство; кипя яростью, хотел он кинуться на Лабакана, но присутствующие бросились между ними и удержали его, а государь сказал:

— Да, это верпо, возлюбленный сын мой, бедняга действительно не в своем уме! Свяжите его и посадите на одного из наших дромадеров. Быть может, нам удастся чем-нибудь помочь несчастному.

Ярость принца улеглась; рыдая, обратился он к государю:

— Сердце подсказывает мне, что вы мой отец; во имя матери моей, заклинаю вас выслушать меня!

— Нет, боже избави,— отвечал тот,— он опять начинает заговариваться; и откуда только человеку мог взбрести на ум такой вздор!

С этими словами он взял руку Лабакана и, опираясь на него, спустился с холма; оба они сели на прекрасных, покрытых дорогами попонами коней и двинулись во главе шествия по долине. А несчастному принцу скрутили руки, самого его крепко привязали к верблюду, и все время по бокам ехали два всадника, зорко следившие за каждым его движением.

Царственный старец был Саауд, султан Вехабитов. Он долго не имел детей; наконец у него родился сын, о котором он столько времени мечтал; но звездочеты, у которых он спросил о грядущей судьбе мальчика, высказались так: «Вплоть до двадцать второго года жизни ему грозит опасность, что место его будет занято врагом». Посему, для вящего спокойствия, султан отдал сына на воспитание своему старому испытанному другу Эльфи-бею и двадцать два томительных года ожидал лицезреть его.

Все это султан рассказал своему мнимому сыну и выразил всяческое удовлетворение его осанкой и полным достоинства обхождением.

Когда они прибыли во владения султана, жители повсюду их встречали радостными кликами, ибо слух о прибытии принца с быстротой молнии распространился по селам и городам. На улицах, по которым они следовали, были воздвигнуты арки из веток и цветов, яркие многоцветные ковры украшали дома, и толпы народа громко воссылали хвалу богу и его пророку, даровавшему им такого прекрасного принца. Все это наполнило восторгом тщеславное сердце портного,— тем несчастнее должен был чувствовать себя настоящий принц Омар, который в немом отчаянии, по-прежнему связанный, следовал за процессией. Никто и не помышлял о нем посреди всеобщего ликования, относившегося собственно к нему. Тысячи голосов без конца выкрикивали имя Омара, но на него, по праву носившего это имя, не обращал внимания никто,— разве что время от времени кто-нибудь спрашивал, кого это везут так крепко связанным, и ответ сопровождающих, что это сумасшедший портной,— мучительно отдавался в ушах принца.

Наконец процессия прибыла в столицу султана, где все приготовления к торжественной встрече были еще пышнее, чем в других городах. Султанша, пожилая почтенная женщина, ожидала их со всем своим двором в самой парадной зале дворца. Пол этой залы был покрыт гигантским ковром, стены украшены полотнищами

голубого сукна, окаймленными золотым шнуром и кистями и повешенными на серебряных крюках.

Было уже темно, когда прибыла процессия, а потому в зале горело множество цветных фонарей, обращавших ночь в день. Но ярче всего расцветывали они глубину зала, где на троне восседала султанша. К трону, сплошь покрытому золотом и усыпанному крупными аметистами, вели четыре ступеньки. Четверо знатнейших эмиров держали над головой султанши красный шелковый балдахин, а шейх Медины обвевал ее опахалом из павлиньих перьев.

Так ожидала султанша супруга и сына; она тоже не видела его с самого дня его рождения, но он снился ей столько раз в ее вещих снах, что она узнала бы его, долгожданного, из тысячи. Вот послышался гул приближающегося шествия; звуки труб и барабанов сливались с ликованием толпы; вот отзвучал стук копыт, промчавшихся по двору лошадей, все ближе и ближе раздавались шаги, наконец, двери залы распахнулись, и, сквозь ряды павших ниц слуг, султан об руку с сыном поспешил к трону султанши.

— Вот,— промолвил он,— я привел тебе того, по ком ты так давно тоскуешь.

Султанша прервала его.

— Это не мой сын! — воскликнула она.— Это не те черты, которые во сне мне показал пророк!

Едва только султан собрался упрекнуть ее в суеверии, как дверь распахнулась, и в залу ворвался принц Омар, преследуемый своими стражниками, от которых он вырвался невероятным усилием. Задыхаясь, упал он к подножию трона.

— Здесь я хочу умереть! Прикажи меня убить, жестокий отец, ибо дольше я не в силах сносить такое поношение!

Слова эти озадачили всех; несчастного окружили, и подоспевшие стражники собрались уже схватить его и связать снова, когда султанша, которая смотрела на происходившее в безмолвном изумлении, вскочила с трона.

— Остановитесь! — воскликнула она.— Это и есть настоящий! Это он, кого мои глаза не видели никогда, но кого чуяло мое сердце!

Стражники невольно отступили от Омара, однако султан, запыхав яростным гневом, приказал им связать безумца.

— Здесь решаю я,— произнес он повелительным тоном,— и здесь судят не на основании женских снов, а на основании верных и непреложных признаков. Вот это (и он указал на Лабакана) мой сын, ибо он принес мне условный знак моего друга Эльфи — кинжал.

— Он украл его! — закричал Омар.— Он во зло употребил мою простодушную доверчивость!

Но султан не вял голосу своего сына, ибо привык во всех делах упрямо следовать лишь собственному суждению; посему он приказал силой вытащить несчастного Омара из залы, сам же с Лабаканом проследовал к себе в покои, полный злобы на сул-

таншу, свою супругу, с которой, однако, в мире и согласии прожил целых двадцать пять лет.

Султанша же была в жестоком горе от случившегося; она не сомневалась, что наглый обманщик овладел сердцем султана, ибо в вещих снах она видела своим сыном того несчастного.

Когда скорбь ее несколько улеглась, она стала обдумывать средство, как убедить супруга в его неправоте. Это было, конечно, нелегко, ибо у того, кто выдавал себя за ее сына, оказался условный знак — кинжал, и, как она узнала, он столько расспрашивал Омара о его прежней жизни, что играл свою роль, не сбиваясь.

Она призвала к себе людей, сопровождавших султана к колонне Эль-Зеруйя, чтобы подробно услышать обо всем, а затем решила обсудить это дело с самыми приближенными невольниками. Они придумывали то одно, то другое средство; наконец заговорила Мелихзала, умная старуха черкешенка.

— Если я не ошибаюсь, высокочтимая повелительница, человек, вручивший кинжал, назвал Лабакапом, сумасшедшим портным, того, кого ты считаешь своим сыном?

— Да, верно,— ответила султанша,— но почему ты об этом спрашиваешь?

— А не думаете ли вы, что тот плут навязал ему свое собственное имя? — продолжала невольница.— Если это так, я знаю прекрасное средство уличить плута, но скажу его вам только на ухо.

Султанша подставила рабыне ухо, и та шепотом дала ей совет, видимо пришедшийся султанше по вкусу, потому что она собралась немедленно идти к султану.

Султанша была женщина умная, хорошо знавшая слабые стороны султана и умевшая пользоваться ими. Посему она сделала вид, что уступает ему и соглашается признать сына, но только спрашивает себе одно условие; султан, который сожалел уже о своей вспышке, согласился принять ее условие, и она заговорила:

— Мне хотелось бы испытать ловкость обоих. Другая, может быть, заставила бы их скакать верхом, фехтовать и метать копьа, но это умеет всякий; а я хочу дать им такую задачу, для которой требуется сообразительность. Пусть каждый из них сошьет по кафтану и паре штанов, а мы посмотрим, кто сделает лучше.

Султан засмеялся и ответил:

— Нечего сказать, умную штуку вы придумали! Чтобы мой сын состязался с твоим сумасшедшим портным в том, кто сошьет лучше кафтан? Нет, это не дело!

Однако султанша напомнила ему, что он заранее согласился на ее условие, и султан, который всегда держал слово, наконец сдался, поклявшись, впрочем, что, какой бы прекрасный кафтан ни изготовил сумасшедший портной, он все-таки не признает его своим сыном.

Султан сам пошел к сыну и попросил его подчиниться причуде матери, которая непременно желает видеть кафтан, изготовленный собственноручно им. У простодушного Лабакана сердце взыграло от радости. «Если только дело за этим,— подумал он,— то я уж сумею угодить султанше».

Во дворце отвели две комнаты: одну для принца, другую для портного,— там должны были они испытать свое искусство, причем каждому было выдано только потребное количество шелка, ножницы, игла и нитки.

Султану было очень любопытно, какой такой кафтан изготовит его сын, но и у султанши тревожно билось сердце: удастся ли ее хитрость или нет? Для работы обоим был дан двухдневный срок. На третий день султан повелел призвать свою супругу, и когда она явилась, он послал за кафтанами и их мастерами. Торжествуя, вошел Лабакан и развернул свое изделие перед изумленными взорами султана.

— Посмотри-ка, отец,— сказал он,— посмотри-ка, глубокоуважаемая матушка, разве это не образец всех кафтанов? Я побьюсь об заклад с самым искусным придворным мастером, что лучше ему не шить.

Султанша усмехнулась и обратилась к Омару:

— А что ты смастерил, сын мой?

С негодованием бросил тот об пол шелк и ножницы.

— Меня учили обуздывать коня и владеть саблей, а копьё мое попадает в цель за шестьдесят шагов, но портняжное ремесло мне неведомо, оно не подобало бы воспитаннику Эльфи-бея, повелителя Каира.

— О, ты истинный сын моего господина! — воскликнула султанша.— Ах! Дай мне обнять тебя, дай назвать тебя сыном! Простите, мой супруг и повелитель,— обратилась она затем к султану,— что я прибегла к этой хитрости. Разве вы не видите теперь, кто принц, а кто портной? Воистину, кафтан, изготовленный вашим сыном, великолепен, и мне бы очень хотелось узнать, у какого мастера он обучался.

Султан сидел погруженный в глубокую задумчивость, недоверчиво поглядывая то на жену, то на Лабакана, который тщетно старался скрыть краску стыда и досады на то, что так глупо выдал себя.

— И этого доказательства недостаточно,— сказал султан,— однако, хвала Аллаху, я нашел средство узнать, обманут я или нет.

Он приказал оседлать своего самого быстрого коня, вскочил на него и поскакал к лесу, который начинался неподалеку от города. Там, по старому преданию, жила добрая фея по имени Адолзаида, которая часто и раньше в тяжелые минуты приходила своим советом на помощь многим государям его рода,— к ней и поспешил султан.

Посреди леса была полянка, окруженная высокими кедрами. По преданию, там жила фея, и редко смертный отваживался про-

никнуть туда, ибо с давних пор страх перед тем местом передавался по наследству от отца к сыну.

Прибыв на то место, султан слез с коня, привязал его к дереву, стал посреди полянки и произнес громким голосом: «Если это правда, что ты в трудную минуту не отказывала моим предкам в добром совете, то не презри просьбы их внука и помоги мне в таком деле, где бессилеи человеческий разум!»

Едва он произнес последние слова, как один из кедров раскрылся, и оттуда вышла окутанная покрывалом женщина в длинном белом одеянии.

— Я знаю, зачем ты пришел ко мне, султан Саауд! Намерения твои чисты, посему я не отрину твоей просьбы. Вот две шкатулки. Возьми их, и пусть те двое, что называют себя твоими сыновьями, сделают выбор; я знаю, что твой постоянный сын сделает выбор надлежащий.— Так сказала женщина под покрывалом и протянула султану две маленькие шкатулочки из слоновой кости, богато украшенные золотом и жемчугами; на крышках, которые султан тщетно пытался открыть, были надписи из вделанных в них алмазов.

На обратном пути султан ломал себе голову, что бы могло быть в шкатулочках, которые ему никакими силами не удавалось открыть, и надписи тоже не помогали разгадке, ибо на одной шкатулочке стояло: «Честь и слава», а на другой: «Счастье и богатство». Султан подумал про себя, что и для него самого выбор между этими двумя надписями оказался бы не легок, ибо обе они одинаково заманчивы, обе одинаково соблазнительны.

Вернувшись к себе во дворец, он призвал султаншу и сообщил ей решение феи; она преисполнилась сладостной надежды, что тот, к кому влекла ее душа, выберет шкатулочку, свидетельствующую о его царственном происхождении.

Перед тронем султана были поставлены два стола; на них султан собственноручно водрузил обе шкатулки, затем поднялся на троп и подал знак одному из своих рабов открыть двери залы. Блестящая толпа пашей и эмиров страны, которых созвал султан, хлынула в залу сквозь раскрытые двери. Они расположились на великолепных подушках, разложенных вдоль стен.

Когда все уселось, султан вторично подал знак, и в залу ввели Лабакана; горделивой поступью прошел он по зале, пал ниц перед тронем и спросил:

— Что угодно моему отцу и господину?

Султан приподнялся на троне и заговорил:

— Сын мой, справедливость твоих притязаний на это имя подвергнута сомнению! В одной из этих шкатулочек содержится доказательство твоего высокого происхождения! Выбирай! Я не сомневаюсь, что ты выберешь верно!

Лабакан поднялся с колен и подошел к шкатулочкам; он долго обдумывал, какую взять, наконец сказал:

— Глубокочтимый отец мой, что может быть выше счастья называться твоим сыном; что, благороднее, чем богатство твоего

благоволения? Я выбираю эту шкатулочку, на которой написано «Счастье и богатство».

— Мы после узнаем, правильно ли ты выбрал; а пока садись вот туда на подушки рядом с мединским нашой,— сказал султан и подал знак рабам.

Тогда ввели Омара; взгляд его был мрачен, лицо печально, и вид его возбуждал единодушное сочувствие всех присутствующих. Он склонил колени перед троном и спросил, что повелевает султан.

Султан приказал ему выбрать одну из двух шкатулочек. Он поднялся и подошел к столу.

Внимательно прочитав обе надписи, он заявил:

— В последние дни я познал, сколь непрочно счастье и сколь преходяще богатство; по в эти же дни я познал, что храбрец обладает одним несокрушимым достоянием — честью и что блестящая звезда славы не закатывается вместе со счастьем. И пусть мне придется лишиться короны,— все равно, жребий брошен: «Честь и слава», я выбираю вас!

Омар положил руку на выбранную им шкатулочку, но султан приказал ему остановиться; он подал знак Лабакану в свою очередь подойти к столу, и тот тоже положил руку на выбранную им шкатулочку.

Тогда султан велел принести кувшин воды из святого источника Земзем в Мекке, омыл руки для молитвы, обернулся к востоку, пал ниц и стал молиться: «Бог отцов моих, ты, столетиями сохранявший наш род чистым и незапятнанным, не допусти недостойного посрамить имя Абассидов! Возьми под свою защиту моего истинного сына в этот час испытания!»

Султан встал с колен и слова взошел на троп; все присутствующие замерли в ожидании, не смеядохнуть,— было бы слышно, если бы по зале пробежал мышонок, такая цариланпряженная тишина; стоящие позади вытягивали шеи, чтобы видеть шкатулочки.

Тогда султан изрек: «Откройте шкатулочки!» — и шкатулочки, которые раньше никакими силами нельзя было открыть, внезапно распахнулись сами собой.

В шкатулочке, выбранной Омаром, на бархатной подушке лежали золотая корона и скипетр, в шкатулочке же Лабакана — большая игла и моток ниток! Султан приказал обоим поднести к нему шкатулочки. Он взял с подушечки маленькую корону, — что за чудо! — пока он держал ее, она в его руках становилась все больше, пока не достигла размеров настоящей короны. Он возложил корону на голову своего сына Омара, преклонившего перед ним колени, поцеловал его в лоб и повелел ему сесть по правую свою руку.

Затем повернулся к Лабакану и сказал:

— Есть такая старая поговорка: знай сверчок свой шесток! И тебе, видимо, надо знать свою иглу. Хотя ты и не заслужил моей милости, но за тебя просил тот, кому я сегодня ни в чем

не могу отказать. Посему я дарую тебе твою жалкую жизнь, но если хочешь внять моему совету, то поспеши покинуть мою страну!

Посрамленный, уничтоженный, бедный портновский подмастерье не мог ничего ответить. Он упал в ноги принцу, и слезы полились у него из глаз.

— Простите ли вы меня, принц? — спросил он.

— Верность другу, великодушие к врагу — вот чем славятся Абассиды, — отвечал принц, поднимая его с пола, — иди с миром!

— О, ты истинный сын мой! — воскликнул растроганный султан и склонился на грудь сына.

Эмиры и паши и все вельможи государства поднялись со своих мест и провозгласили славу повому царскому сыну. Под всеобщее ликование Лабакан потихоньку прокрался из залы со своей шкатулочкой под мышкой.

Он спустился в конюшню султана, оседлал свою клячу Мурфу и выехал из городских ворот, держа путь на Александрию. Вся его жизнь в роли принца показалась ему сном, и только чудесная коробочка, богато украшенная жемчугами и алмазами, доказывала, что то был не сон.

Возвратившись в Александрию, он подъехал к дому своего прежнего хозяина, слез на землю, привязал свою лошаденку к двери и вошел в мастерскую. Хозяин сразу не узнал его и церемонно спросил, чем может ему служить, но когда он ближе всмотрелся в посетителя и узнал своего старого знакомца Лабакана, то позвал своих подмастерьев и учеников, и все они яростно набросились на несчастного Лабакана, который не ожидал такого приема; они толкали и колотили его утюгами и аршинами, кололи иглами и пыряли острыми ножницами, пока он в изнеможении не опустился на кучу старой одежды.

Пока он лежал, хозяин выговаривал ему за украденную одежду; напрасно клялся Лабакан, что он и воротился-то с целью возместить все, напрасно предлагал возмещение убытков в трехкратном размере, — хозяин и подмастерья опять накинулись на него, еще сильнее исколотили и вышвырнули за дверь. Избитый и истерзанный, сел он на своего Мурфу и поплелся в каравансарай. Там он приклонил свою усталую, разбитую голову и стал размышлять о земной юдоли, о заслугах, столь часто не признаваемых, и о ничтожности и непостоянстве всех благ мирских. Он уснул с намерением отказаться от высоких устремлений и стать честным ремесленником.

И на следующий день он остался при своем намерении — должно быть, тяжелые кулаки хозяина и подмастерьев выбили из него всякие кичливые бредни.

Он продал за большую цену свою шкатулочку, купил себе дом и открыл портняжную мастерскую. Устроив все как следует и прибавив над домом вывеску: «Лабакан, портняжных дел мастер», он уселся, взял ту иглу и нитки, что оказались в шкатулочке, и принялся штопать кафтан, который так жестоко изодрал

па нем хозяин. Кто-то отвлек его от работы, и когда он снова хотел взяться за нее, что за удивительное зрелище представилось ему!

Игла усердно шила дальше, без всякой посторонней помощи, и делала такие тонкие искусные стежки, каких не делал и сам Лабакан в свои вдохновеннейшие минуты!

Поистине, самый малый дар доброй феи обладает великой ценностью! Но дар этот имел еще и другую ценность, вот какую: моток питок никогда не переводился, как бы прилежно ни работала игла.

У Лабакана появилось много заказчиков, и скоро он прослыл по всей округе самым знаменитым портным; он кроил одежду и делал первый стежок своей иглой, а дальше та проворно шила сама, не останавливаясь, пока одежда не была готова. Скоро все в городе стали шить у мастера Лабакана, ибо он работал прекрасно и брал очень дешево, и только одно смущало жителей Александрии, а именно, что он обходился без помощников и работал при закрытых дверях.

Итак, надпись на шкатулочке, сулившая счастье и богатство, оправдалась; счастье и богатство, хотя и в скромных пределах, сопровождали шаги простака портного, а когда он слышал о славе молодого султана Омара, которая была на устах у всех, когда он слышал, что этот храбрец стал любимцем и гордостью своего народа и грозой врагов, то прежний принц думал про себя: «А ведь лучше, что я остался портным, потому что честь и слава далеко небезопасны». Так жил Лабакан, довольный собой, уважаемый согражданами, и если игла за это время не потеряла своей силы, то она шьет и по сию пору вечной ниткой доброй феи Адолзаиды.

На восходе солнца караван снялся с места и вскоре достиг Биркет-эль-Гада, или Колодца Пилигримов, откуда до Каира оставалось всего три часа пути. Его прибытия ожидали, и купцы наши были очень обрадованы, увидев друзей, выехавших им навстречу из Каира. Они вступили в город через Бебельфальхские ворота, ибо считается добрым знаком при возвращении из Мекки вступать в город через те самые ворота, через которые вступил в него пророк.

На базарной площади четверо турецких купцов распрощались с чужестранцем и греческим купцом Цалевкосом и отправились вместе с друзьями по домам. Цалевкос же указал чужестранцу хороший караван-сарай и пригласил его к себе отобедать. Чужестранец согласился, пообещав прийти, как только сменит одежду.

Грек позаботился о том, чтобы как можно лучше попотчевать чужестранца, к которому привязался за время дороги, и когда все яства и напитки были поданы, сел, ожидая гостя.

Наконец по галерее, ведущей к его покоям, раздались медленные и тяжелые шаги. Он встал, чтобы по-дружески приветствовать гостя на пороге; но, отворив дверь, отпрянул в ужасе,

ибо перед ним стоял прежний страшный человек в красном плаще. Он еще раз взглянул на него,— сомнений быть не могло: та же величаяя, повелительная осанка, та же маска, из которой на него сверкали темные глаза, и тот же, заткапный золотом красный плащ, столь памятные ему по самым тяжким часам его жизни.

Разпоречивые чувства бушевали в груди Цалевкоса; он давно уже примирился с этим образом, который сохранил в памяти, и все простил ему, но вид его растравил старые раны,— все долгие часы предсмертной тоски, вся скорбь, что отравила цвет его молодости, вихрем пронесли перед его духовным взором.

— Что надобно тебе, страшный человек? — вскричал грек, меж тем как видение не двигалось с порога.— Поспешн прочь, пока я не проклял тебя!

— Цалевкос! — произнес из-под маски знакомый голос.— Так-то ты принимаешь своего гостя?

Говоривший снял маску, откинул плащ,— то был Селим Барух, чужестранец.

Но Цалевкос не мог прийти в себя; его пугал чужестранец, в котором он так явственно увидел незнакомца с Ponte Vecchio, но привычное гостеприимство взяло верх; он жестом пригласил чужестранца к столу.

— Я читаю у тебя в мыслях,— заговорил тот, когда они уселись,— взгляд твой вопрошает меня; я мог бы смолчать и навеки скрыться с глаз твоих, но мне должно оправдаться перед тобой, и потому я решился явиться к тебе в прежнем своем облике, под страхом навлечь на себя твое проклятие. Ты как-то сказал мне: «Вера отцов повелевает мне возлюбить его, ибо он, конечно, несчастнее меня». Поверь, что это так, и выслушай мое оправдание.

Мне надо пачать издалека, дабы ты мог до конца понять меня. Я появился на свет в Александрии, от родителей-христиан. Отец мой, младший сын старинного и славного французского рода, был консулом своей страны в Александрии. С десятилетнего возраста я воспитывался во Франции у одного из братьев моей матери и лишь через несколько лет после начала Революции, вместе с дядей, не чувствовавшим себя в безопасности на родине, отправился искать пристанища за морем, у моих родителей. Уповая обрести покой, отнятый у нас восставшим французским народом, прибыли мы в отчий дом. Но увь! В родном моем доме не все было ладно. Внешние бури того беспокойного времени, правда, еще не докатились сюда, но тем неожиданнее поразило несчастье внутренний мир нашей семьи. Брат мой, подающий большие надежды юноша, первый секретарь моего отца, пезадолго до того женился на дочери одного флорентийского вельможи, жившего по соседству с нами; за два дня до нашего приезда молодая жена внезапно исчезла, и, несмотря на все старания, ни нашей семьи, ни ее отцу не удалось напасть на ее след. Пришлось предположить наконец, что она во время прогулки забрела слишком далеко и попала в руки разбойников. Эта мысль была бы, пожалуй,

отрадней моему несчастному брату, чем истина, не замедлившая обнаружиться. Изменница уехала за море с молодым неаполитанцем, которого встречала в доме своего отца. Брат мой, до крайности возмущенный ее поступком, приложил все усилия, чтобы привлечь к ответу преступницу, но тщетно: хлопоты его, паделав много шуму в Неаполе и во Флоренции, лишь навлекли на нас еще большее несчастье. Флорентийский вельможа отправился к себе на родину, якобы за тем, чтобы защитить права моего брата, на деле же — чтобы погубить нас. Он пресек во Флоренции все розыски, предпринятые братом, и всяческими кознями добился того, что отец мой и брат попали в немиловидные к своему правительству, были захвачены с помощью постыднейших уловок, отвезены во Францию и там обезглавлены. Несчастливая моя мать лишилась рассудка и, только после десяти месяцев мучений, пошла избавление в смерти, придя, однако, в полное сознание за несколько дней до кончины. Итак, я остался одинок в целом мире, но лишь *одна* мысль наполняла мне душу, одна мысль заставляла меня забывать даже скорбь: то было мощное пламя, что зажгла во мне мать в свой последний час.

В последние часы, как я уже говорил тебе, сознание к ней возвратилось, она позвала меня и спокойно говорила со мной о нашей участи и о своей кончине. Но потом она велела всем уйти из комнаты, с торжественным видом поднялась на своем убогом ложе и сказала, что я получу ее благословение, лишь поклявшись совершить то, что она завещает мне. Потрясенный словами умирающей матери, я дал священный обет сделать то, что она мне укажет. Тогда она стала поносить флорентийца и его дочь и, под страшной угрозой своего проклятия, приказала мне отомстить ему за нашу несчастную семью. Она испустила дух у меня на руках. Жажда мести давно таилась в моей душе; теперь она вспыхнула с огромной силой. Я собрал остатки отцовского наследства и поклялся либо отомстить, либо умереть.

Вскоре я приехал во Флоренцию и жил там, скрываясь от всех. Замыслом моим отчасти препятствовало то положение, которое занимали мои враги. Старик флорентиец стал губернатором, а значит, располагал всеми средствами погубить меня при малейшем подозрении. Случай пришел мне на помощь. Однажды вечером мне на улице повстречался человек в хорошо знакомой ливрее. По неверной походке, по мрачному виду и по срывающимся у него с уст вполголоса «*Santo sacramento*», «*Maledetto diavolo*»¹ я узнал старика Пьетро, слугу флорентийца, которого помнил еще по Александрии. Я не сомневался, что гнев его относится к хозяину, и решил воспользоваться его недовольством. Он был очень удивлен, увидав меня, выложил мне свои обиды на хозяина, которому с тех пор, как он стал губернатором, ничем не угодишь; и мое золото в сочетании с его гневом не замедлило привлечь его на мою сторону. Самое трудное было сделано. Я па-

¹ Итальянские ругательства, означающие: проклятие, проклятый черт.

шел человека, который за плату в любую минуту готов был открыть мне двери в дом врага, — теперь план мести стал быстро близиться к осуществлению. Жизнь старого флорентийца не могла, по моему разумению, окупить гибель моей семьи. Смерть самого дорогого для него существа — дочери его Бианки — вот что надлежало ему испытать. Ведь именно она так подло надругалась над моим братом, ведь именно она была главной виновницей наших бед. Весть, что Бианка как раз собирается вторично замуж, оказалась желанной для моего алчущего мести сердца, — решено, она *должна* умереть. Но у меня самого рука не подымалась на убийство, от Пьетро я тоже не ждал решимости; поэтому мы стали подыскивать человека, который взялся бы за это дело. Я даже не пытался подкупить кого-нибудь из флорентийцев, ибо никто из них не пошел бы против губернатора. Тут Пьетро набрел на мысль, которую я и осуществил впоследствии, а в исполнители ее он предложил тебя как врача и чужестранца. Дальнейшее тебе известно. Лишь щепетильная честность твоя и осторожность едва не разрушили моего замысла. Вот откуда приключение с плащом. Пьетро впустил нас во дворец губернатора и столь же незаметно вывел бы нас оттуда, если бы мы с ним не убежали, ужаснувшись зрелища, которое увидели в полуоткрытую дверь. Гонимый страхом и раскаянием, я пробежал шагов двести и в изнеможении опустился на ступени какой-то церкви. Там лишь я овладел собой, и первая моя мысль была о тебе и о твоей ужасной участи, если тебя застигнут там, в доме.

Я прокрался назад ко дворцу, но не нашел ни тебя, ни Пьетро, однако дверца была отворена, и я понадеялся, что ты воспользовался возможностью бегства. Но, с наступлением дня, страх преследования и непреодолимое раскаяние погнали меня прочь, за пределы Флоренции. Я поспешил в Рим. Вообрази мое потрясение, когда там через несколько дней стали повсюду рассказывать об этом событии, добавляя, что убийца, греческий врач, пойман. В томительной тревоге поспешил я назад во Флоренцию: если уж раньше месья моя казалась мне чрезмерной, то теперь я проклинал ее, ибо считал, что жизнь твоя — слишком дорогая за нее цена. Я приехал в тот самый день, когда ты лишился руки. Не стану говорить о своих чувствах при виде того, как ты взшел на эшафот и мужественно претерпел страдание. Но когда кровь твоя хлынула потоком, во мне созрело решение скрасить остаток твоих дней. Что было потом, ты знаешь сам, — мне остается доказать, зачем я совершил с тобою этот путь.

Мысль, что ты все еще не простил меня, тяжким гнетом лежала на мне, и вот я решился провести подле тебя несколько дней и наконец-то дать тебе отчет в том, чем я грешен перед тобой.

Молча выслушал грек своего гостя, и когда тот кончил, с кротким видом протянул ему руку.

— Я так и знал, что ты несчастней меня, ибо то жестокое деяние, подобно грозовой туче, навеки повисло над тобой. Про-

щаю тебя от души. Но дозвожь мне задать тебе вопрос: как ты очутился в таком облике среди пустыни? Чем занялся ты после того, как купил мне в Константинополе дом?

— Я возвратился в Александрию,— отвечал гость,— ненависть против всего рода человеческого бушевала у меня в груди,— жгучая ненависть, в особенности против тех народов, которые именуются просвещенными. Поверь мне, в среде мусульман мне дышалось вольнее! Не успел я пробыть в Александрии нескольких месяцев, как соотечественники мои полонили ее.

Для меня они были только палачами моего отца и брата: поэтому я собрал нескольких единомышленников из знакомой молодежи, и мы примкнули к тем отважным мамелюкам, что не раз наводили страх на французское войско. Когда кампания закончилась, я не мог решиться приступить к мирным трудам. Вместе с кучкой друзей-единомышленников я вел беспокойную, бродячую, посвященную борьбе и охоте жизнь; мне хорошо живется с этими людьми, которые почитают меня как своего владыку, ведь мои азиаты — народ хоть и не такой просвещенный, как ваши европейцы, зато они чужды зависти и клеветы, тщеславия и себлюбия.

Цалевкос поблагодарил гостя за откровенность, однако не скрыл от него, что человеку его происхождения и образования более приличествовало бы жить и трудиться в христианских, европейских странах. Он взял руку гостя, прося последовать за ним и жить с ним до самой смерти.

Тот обратил к нему растроганный взор.

— Теперь я вижу,— сказал он,— что ты до конца простил мне и что ты любишь меня. Прими же мою глубочайшую признательность.— Он вскочил с места и выпрямился во весь рост перед греком, которого даже устранил воинственный вид, мрачно сверкающий взор и глухой таинственный голос чужестранца.— Твое приглашение очень лестно,— продолжал тот,— оно показалось бы заманчивым всякому другому — я же не могу принять его. Конь мой уже оседлан, слуги мои уже ждут меня, прощай, Цалевкос!

Эти чужие друг другу люди, которых столь страшно свела судьба, обнялись на прощание.

— Как же мне назвать тебя? Как имя моего гостя, который навеки останется жить у меня в памяти? — спросил грек.

Чужестранец пытливно взглянул на него, еще раз пожал ему руку и произнес:

— Меня зовут повелителем пустыни. Я разбойник Орбазан.

АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ ШЕЙХ И ЕГО НЕВОЛЬНИКИ

Странным человеком был александрийский шейх Али-Бану. Когда утром он шел по улицам Александрии в дорогом кашемировом тюрбане, в праздничной одежде и богатом поясе, стоимостью в пятьдесят верблюдов; когда он выступал медленно и важно, нахмутив лоб, сдвинув брови, потупив глаза и, каждые пять шагов, задумчиво поглаживая свою длинную черную бороду; когда он шествовал так в мечеть, чтобы, как того требовал его сан, толковать правоверным Коран,— тогда встречные останавливались, глядели ему вслед и говорили друг другу: «Ведь какой красивый, осанистый человек». «И богат, богат и знатен,— прибавлял другой,— очень богат: у него и замок у Стамбульской пристани, у него и поместья, и угодья, и много скота и рабов». «Да,— замечал третий,— а тот татарин, которого недавно послал к нему из Стамбула сам повелитель правоверных,— да благословит его пророк! — говорил, что наш шейх в большом почете у рейс-эфенди, у капудан-паши,— у всех, даже у самого султана». «Да,— восклицал четвертый,— каждый его шаг благословен небом! Он богат и знатен, по — вы знаете, что я имею в виду!» «Да, да,— шептались в толпе,— что правда, то правда,— у каждого свое горе; не желал бы я поменяться с ним долей; он богат и знатен, но, по...»

На самой красивой площади Александрии у Али-Бану был великолепный дом. Перед домом раскинулась широкая терраса, выложенная мрамором, осененная пальмами. Вечером он часто сживал там и курил кальян. Двенадцать богато одетых невольников, стоя в почтительном отдалении, ловили его взгляд — у одного был для него паготове бетель, другой держал зонтик, третий — золотые сосуды с вкусным шербетом, четвертый опахалом из павлиньих перьев отгонял мух от своего господина, певцы, с лютнями и флейтами, ждали, когда он пожелает усладить свой слух музыкой; а самый ученый из невольников приготовил свитки, дабы развлечь его чтением.

Но напрасно ждали они от него знака: ему не угодны были музыка и пение, ему не хотелось внимать изречениям и стихам мудрых поэтов былых времен, не хотелось отведать шербета, по-

жевать бетеля, — даже раб с опахалом из павлиньих перьев старался напрасно — господин не замечал, когда около него жужжала муха.

И часто прохожие останавливались и дивились на великолепие дома, на невольников в роскошных одеждах, на все окружавшие его приятности; но затем, когда они переводили взгляд на сидевшего под пальмами шейха, серьезного и хмурого, не отводившего глаз от голубоватого дымка кальяна, они покачивали головой и говорили: «Поистине, этот богач — бедняк. Он, имущий, бедней неимущего, пророк не дал ему разума, дабы наслаждаться своим богатством». Так говорили прохожие, смеялись и шли своей дорогой.

Как-то вечером, когда шейх, окруженный всей земной роскошью, сидел, как обычно, в тени пальм на пороге своего дома и в одиночестве печально курил кальян, неподалеку собралось несколько юношей; они глядели на него и смеялись.

— Поистине шейх Али-Бану глупец, — сказал один из них. — Мне бы его сокровища, я распорядился бы ими иначе. Что ни день, шло бы у меня веселье и роскошество. В обширных хоромах пировали бы друзья, и радость и смех оглашали бы эти унылые своды.

— Да, оно бы не плохо, — возразил другой, — да только с многочисленными друзьями, пожалуй, быстро проживешь все имение, будь оно хоть столь же песметно, как у султана, да благословит его пророк. Довелось бы мне сидеть вечерком здесь под пальмами, на этой красивой террасе, я приказал бы рабам петь и играть, я позвал бы танцовщиков, и они бы плясали, и прыгали, и прodelьвали всякие замысловатые штуки. А я важно покуривал бы кальян, смаковал вкусный шербет и наслаждался всем, словно король Багдада.

— Шейх, — молвил третий юноша, бывший писцом, — шейх, как говорят, человек ученый и мудрый, да и правда, его толкование Корана свидетельствует о его начитанности и глубоком знании всех поэтов и мудрых писаний. Но разве жизнь, которую он ведет, подобает разумному мужу? Вот стоит невольник с целой охапкой свитков; я отдал бы свою праздничную одежду за возможность прочесть хоть один из них, ведь все они, конечно, большая редкость. А он! Он сидит и курит, а до книг ему и дела нет. Будь я шейхом Али-Бану, невольник читал бы мне до хрипоты или до наступления ночи. Но и тогда он должен был бы мне читать, пока я не засну.

— Ишь ты! Нечего сказать, вы знаете, как устроить приятную жизнь, — засмеялся четвертый. — Есть и пить, петь и плясать, читать изречения и слушать стихи жалких поэтов! Нет, я бы устроил свою жизнь совершенно иначе. У него прекрасные кони и верблюды и куча денег. На его месте я пустился бы в путь и ехал бы, ехал до края света, до самой Московии, до франкской земли. Чтобы поглядеть на чудеса света, я не побоялся бы самой дальней дороги. Вот как бы я поступил, будь я на его месте.

— Юность — прекрасная пора, в этом возрасте все радуется, — молвил невзрачный с виду старик, стоявший неподалеку и слышавший их речи. — Но позвольте мне сказать, что юность неразумна и болтает зря, сама того не понимая.

— Что вы хотите сказать, старичок? — с удивлением спросили юноши. — Уж не нас ли вы имеете в виду? Какое вам дело, порицаем мы образ жизни шейха или нет?

— Если один человек знает что-либо лучше другого, пусть он исправит его заблуждение, так повелел пророк, — возразил старик. — Правда, небо благословило шейха богатством, у него есть все, чего пожелает душа; но хмур и печален он не без причины. Вы полагаете, он всегда был таким? Нет, я видел его пятнадцать лет тому назад; тогда он был весел и бодр, как газель, жил радостно и наслаждался жизнью. В ту пору у него был сын, радость его очей, красивый и образованный; и всякий, кто его видел и слышал, завидовал шейху, владевшему таким сокровищем, — сыну шел всего десятый год, а учен он был как другой и в восемнадцать вряд ли будет.

— И он умер? Бедный шейх! — воскликнул молодой писец.

— Для шейха было бы утешением узнать, что сын его вернулся в отчий дом, в обитель пророка, где ему жилось бы лучше, чем здесь, в Александрии. Но то, что пережил он, гораздо хуже. В те дни франки, как голодные волки, напали на нашу землю и начали с нами войну. Они покорили Александрию и отсюда совершали набеги все дальше и дальше в глубь страны и воевали с мамелюками. Шейх был умным человеком и умел с ними ладить. Но то ли они позарились на его богатство, то ли он помог своим единоплеменникам, точно не скажу, — словом, как-то они пришли к нему и обвинили его в том, что он тайно снабжает мамелюков оружием, лошадьми и провиантом. Как он ни доказывал свою невинность, ничто не помогло; франки народ грубый и жестокосердый, они идут на все, когда дело касается денег. Итак, они забрали заложником его сына, по имени Кайрам. Шейх предложил за него много денег, но франки хотели выпудить шейха повисить выкуп и не отпустили его сына. Тут вдруг их паша, или как там его зовут, неожиданно отдал приказ готовиться к отплытию. В Александрии об этом никто не знал, и они уплыли в открытое море, а маленького Кайрама, сына Али-Бапу, они, верно, увезли с собой, так как с тех пор о нем ничего не слышно.

— Ах, несчастный отец, как наказал его Аллах! — единодушно воскликнули юноши и с сожалением посмотрели на шейха, который при всем окружающем его великолении, грустный и одинокий, сидел под пальмами.

— Жена, которую он очень любил, умерла с горя. А он купил корабль, снарядил его и уговорил франкского лекаря, что живет там внизу у колодца, отправиться с ним в Франкистан на поиски пропавшего сына. Они сели на корабль и долго плыли по морю, пока наконец не прибыли в землю тех гяуров, тех невер-

ных, что были в Александрии. Но там, говорят, как раз творилось что-то пеладное. Франки свергли своего султана и пашей, и богатые и бедные рубили друг другу головы, и в стране не было порядка. Тщетно расспрашивали они во всех городах о мальчике Кайраме,— никто не слыхал о нем, и французский лекарь посоветовал наконец шейху плыть обратно, не то, чего доброго, им самим не сносить головы.

Так и вернулись они домой, и с приезда по сей день шейх ведет все ту же жизнь, что сейчас, ибо он скорбит по сыну, и он прав. Разве, когда он ест и пьет, он не думает: «А мой сынок Кайрам, может быть, томится голодом и жаждой»? А когда он облачается в дорогие шали и праздничные одежды, как того требуют его сан и достоинство, разве он не думает: «А ему, верно, нечем прикрыть наготу»? А когда его окружают певцы, плясуны и чтецы,— его невольники,— разве он не думает: «А мой бедный сын, верно, сейчас пляшет или играет в угоду своему французскому повелителю»? Но больше всего печалит его мысль, что вдали от отчизны, среди неверных, терпя их насмешки, его милый Кайрам позабудет веру отцов и им не придется обнять друг друга в райских садах! Вот потому-то он так милосерд к своим рабам и щедро оделяет нищих; он думает, что Аллах воздаст ему за это и смягчит сердца франков, повелителей его сына, и они будут ласковее к нему. И каждый раз, как наступает день, когда у него похитили сына, он отпускает на волю двенадцать рабов.

— Об этом я тоже слышал,— ответил писец.— Но каких только чудес не наговорят? О его сыне при этом не упоминали, зато, правда, рассказывают, будто шейх странный человек и особенно падок на сказки, будто каждый год он устраивает состязание между своими рабами и того, чей рассказ лучше, отпускает на волю.

— Не верьте людской молве,— сказал старик,— все так, как я говорю, я уж верно знаю; возможно, что в этот печальный день ему хочется приободриться и он велит рассказывать себе сказки; но отпускает он рабов в память сына. Однако свежеет, мне пора. Салем-алейкум, мир с вами, молодые люди, и в будущем судите получше о нашем добром шейхе.

Юноши поблагодарили старика за сведения, еще раз взглянули на скорбящего отца и пошли своей дорогой, повторяя: «Да, не хотелось бы мне быть на месте Али-Бану».

Вскоре после того, как юноши разговаривали со стариком о шейхе Али-Бану, случилось им проходить по той же улице в час утренней молитвы. Им вспомнился старик и его рассказ, и они пожалели шейха и взглянули на его дом. Но каково же было их удивление, когда они увидели, что весь дворец разубран на славу! На кровле, по которой прохаживались парадные невольницы, развевались знамена и флаги, сени утопали в дорогих коврах, с широких ступеней спускались шелковые тапи, даже улицу устилало прекрасное тонкое сукно, на которое многие позарились бы для праздничной одежды или для покрывала.

— Ишь как переменялся шейх за песколько дней! — сказал молодой писец. — Уж не хочет ли он задать пир? Уж не хочет ли он, чтоб потрудились для него певцы и танцовщики? Посмотрите только на ковры! Пожалуй, ни у кого во всей Александрии не сыскать таких! А сукно-то какое на голой земле, просто даже жалко!

— Знаешь, что я думаю? — молвил другой. — Оп, верно, ждет знатного гостя. Такие приготовления делаются по случаю приема повелителя могущественной страны или эфенди султана, когда они осчастливливают дом своим посещением. Кого-то ждут здесь сегодня?

— Смотри-ка, кто это там идет, — уж не наш ли старик? Он ведь все знает и, верно, нам все растолкует. Эй, старичок! Нельзя ли вас попросить на минутку сюда! — окликнули они его; старик заметил их знаки и подошел, признав в них тех юношей, с которыми беседовал несколько дней тому назад. Они обратили его внимание на приготовления в доме шейха и спросили, не знает ли он, какого знатного гостя там ожидают.

— Вы думаете, Али-Бану задал сегодня веселый пир или знатный гость оказал честь его дому? Это не так, — сказал он, — но сегодня, как вы знаете, двенадцатый день месяца рамадана, а в этот день увели в заложники его сына.

— Но, клянусь бородой пророка! — воскликнул один из юношей. — Все убрано так, словно здесь свадьба и пиршество, а ведь это для него памятный день скорби. Как это понять? Согласитесь, у шейха все-таки несколько помутился рассудок.

— Не судите ли вы по-прежнему слишком поспешно, мой молодой друг? — улыбаясь, спросил старик. — И на этот раз стрела у вас острая и хорошо отточенная тетива на луке натянута туго, и все же вы бьете далеко мимо цели. Знайте же — сегодня шейх ждет своего сына.

— Так он найден? — воскликнули юноши и обрадовались за отца.

— Нет, и, верно, еще долго не будет найден, но знайте: лет восемь — десять тому назад, когда шейх в скорби и печали справлял этот день, по своему обычаю, — отпускал рабов и кормил и поил нищих, — случилось ему послать пищу и питье одному дервишу, в изнеможении прилегшему в тени его дома. А дервиш этот был святым человеком, прорицателем и звездочетом. Подкрепившись от щедрот милостивого шейха, он приблизился к нему и сказал: «Мне известна причина твоего горя; ведь сегодня двенадцатое число месяца рамадана, а в этот день ты лишился сына. Но утешься, день скорби превратится для тебя в день ликования, знай: в этот день вернется к тебе сын». Так сказал дервиш. Усомниться в речах такого человека было бы грехом для мусульманина. Правда, скорбь Али не утихла, но все же каждый раз в этот день он ожидает возвращения сына и украшает дом, сени и лестницы так, словно тот может вернуться в любую минуту.

— Чудеса! — воскликнул писец. — А все-таки хотелось бы мне поглядеть на великолепное убранство и на шейха, как он грустит среди всего этого великолепия, но, главное, хотелось бы мне послушать рассказы его невольников.

— Нет ничего легче, — ответил старик. — Надсмотрщик над его рабами с давних пор мне приятель и всегда в этот день устраивает мне местечко в зале, где, в толпе слуг и друзей шейха, один человек пройдет незамеченным. Я поговорю с ним, может быть, он впустит и вас. Вас ведь всего четверо; думаю, как-нибудь устроим; приходите в девятом часу сюда на площадь, и я передам вам его ответ.

Так говорил старик; юноши поблагодарили его и удалились, снedaемые любопытством посмотреть, как будет шейх справлять этот день.

К назначенному часу они пришли на площадь перед домом шейха и встретили старика, тот сказал, что надсмотрщик над рабами позволил провести их. Он пошел вперед, но не по богато устланным лестницам и не через главные ворота, а через боковую калиточку, которую тщательно запер за собой. Потом он повел их по разным галереям, и наконец они попали в большую залу. Здесь было полно народу: тут были и именитые мужи в богатых одеждах, и друзья шейха, пришедшие утешить его в его скорби, тут были и невольники разного возраста и разных народностей. И у всех на лице была печаль, ибо они любили своего господина и скорбели вместе с ним. В конце залы на роскошном диване восседали самые знатные друзья Али, и невольники прислуживали им. Около них на полу сидел шейх: скорбя по сыне, он не хотел сидеть на праздничном ковре. Он подпер голову рукой и, казалось, мало внимал словам утешения, которые нашептывали ему друзья. Напротив него сидели несколько старых и молодых мужчин в невольничьей одежде. Старик поведал своим юным друзьям, что это рабы, которых сегодня отпускает на волю Али-Бапу. Среди них было и несколько франков, и старик обратил особое внимание юношей на одного из них, отличавшегося писаной красотой и еще очень молодого. Всего несколько дней тому назад шейх купил его у тунисского работоторговца за большие деньги и, однако, уже сегодня отпускал его на волю: он верил, что чем больше франков отправит он обратно на родину, тем скорее вызовет пророк из неволи его сына.

После того как всем разнесли прохладительные напитки, шейх подал знак надсмотрщику над рабами. Тот поднялся, и в зале воцарилась глубокая тишина. Он стал перед невольниками, которых должны были отпустить на свободу, и громко произнес: «Слушайте, рабы, отпускаемые ныне на волю по милости моего господина Али-Бапу, александрийского шейха, пусть каждый, как полагается в этот день у него в доме, соблюдает обычай и что-нибудь расскажет».

Они шептались между собой. Затем заговорил старик невольник и повел свой рассказ:

КАРЛИК НОС

Господин! Как не правы те, кто думает, будто только во времена Гаруна аль-Рашида, владыки Багдада, водились феи и волшебники, и даже утверждают, будто в тех рассказах о проделках духов и их повелителей, что можно услышать на базаре, нет правды. Еще и в наши дни встречаются феи, и не так давно я сам был свидетелем одного происшествия, в котором принимали явное участие духи, о чем я и поведаю вам.

В одном крупном городе любезного моего отечества, Германии, много лет тому назад тихо и мирно жили сапожник с женой. Он сидел целый день на углу улицы и латал башмаки и туфли и даже тачал новые, если кто доверял ему эту работу,— но в таких случаях ему приходилось покупать раньше кожу, потому что он был беден и не держал запасов. Жена его торговала овощами и плодами, которые разводила в садике за городскими воротами, и люди охотно покупали у нее, потому что она одевалась опрятно и чисто и умела красиво разложить и показать лицом свой товар.

У этих скромных людей был красивый сынок, складный, пригожий лицом и для своего двенадцатилетнего возраста довольно крупный. Обычно он сидел подле матери в овощном ряду и охотно помогал хозяйкам и поварам, закупившим много всякого товара у сапожниковой жены, донести его до дому; и с такой прогулки он редко возвращался без красивого цветка, мелкой монеты или лакомства, потому что господам нравилось, когда повара приводили с собой красивого мальчика, и они всегда щедро его награждали.

В один прекрасный день сапожника жена сидела, по своему обыкновению, на базаре; перед ней стояли корзины с капустой и другими овощами, с различными травами и семенами, а в корзиночке поменьше лежали ранние груши, яблоки и абрикосы. Сынок ее Якоб, так звали мальчика, сидел около и звонким голосом выкрикивал: «Пожалуйте, господа, взгляните, что за чудесная капуста, что за душистые травы! Покупайте, хозяйки, ранние груши! Кому ранние яблоки и абрикосы! Мать торгует без запроса». Так выкрикивал мальчик. По базару как раз проходила старуха, оборванная и в лохмотьях; у нее было остренькое личико, от старости все сморщенное, красные глаза и острый нос крючком чуть не до самого подбородка; она шла, опираясь на длинную клюку, и все же было непонятно, как она передвигается; она ковыляла, хромала, спотыкалась; казалось, ноги у нее на шарнирах и она вот-вот полетит кувырком и стукнется острым носом о мостовую.

Сапожника жена внимательно оглядела старуху. Уже шестнадцать лет сидела она ежедневно тут на базаре и ни разу еще не видала этой старой карги. Но она невольно испугалась, когда та заковыляла прямо к ней и остановилась у корзины.

— Вы Ганна, торговка овощами? — спросила старуха противным хриплым голосом, все время тряся головой.

— Да, это я, — ответила сапожника жена, — вам что угодно?

— Посмотрим, посмотрим! Поглядим травку, поглядим травку, есть ли у тебя то, что мне надобно, — ответила старуха, нагнулась к корзинам и стала рыться коричневыми уродливыми руками в корзине с травами; длинными паучьими пальцами хватала она травы, разложенные так красиво и аккуратно, затем подпосила одну за другой к длинному носу и обнюхивала со всех сторон. У жены сапожника надрывалось сердце при виде того, как старуха перебирает редкие травы; но она не смея ничего сказать, ведь выбирать товар — право покупателя, да, кроме того, она испытывала какой-то непонятный страх перед этой женщиной. Перерыв всю корзину, та пробормотала: «Дрянь, а не товар, дрянь, а не травы, ничего, что мне надобно; пятьдесят лет тому назад куда лучше было; дрянь, а не товар, дрянь, а не товар!»

Такие речи рассердили Якоба.

— Послушай, старуха, где у тебя совесть? — сердито крикнул он. — Сначала копаешься своими противными коричневыми пальцами в прекрасных травах и мнешь их, потом суешь себе под длинный нос, никто, кто это видел, их теперь не возьмет, а потом еще ругаешь наш товар дрянью, а у нас ведь покупает повар самого герцога.

Старуха покосилась на бойкого мальчугана, противно хихикнула и прохрипела:

— Так, так, сыночек! Значит, тебе не нравится мой нос, мой красивый длинный нос? Погоди, у самого такой посреди лица вырастет и вытянется до самого подбородка. — С этими словами она заковыляла к другой корзине, в которой лежала капуста. Выбрала самые красивые белые кочны и давила и жала их так, что они кряхтели, затем кое-как побросала в корзину и опять сказала: «Дрянь, а не товар, дрянь, а не капуста!»

— Не трясись так противно головой, — испуганно закричал мальчуган. — Шея-то у тебя не толще капустной кочерыжки, того и гляди, подломится, а тогда твоя голова полетит прямо в корзину! Где нам тогда найти покупателя на свой товар?

— Так тебе не нравятся тонкие шеи? — хихикая, пробормотала старуха. — Ну так у тебя совсем шеи не будет: голова уйдет в плечи, чтобы как-нибудь не свалиться с тщедушного тельца.

— Не болтайте всякого вздора с мальчуганом, — сказала наконец сапожника жена, рассердившись, что та все только шупала, разглядывала и обнюхивала, — а ежели вам что надобно, так поторопитесь, а то вы разогнали других покупателей.

— Ладно, будь по-твоему, — воскликнула старуха, злобно взглянув на нее, — я куплю у тебя эти шесть кочнов; но ты видишь, я опираюсь на клюку и не могу ничего нести; позволь твоему сыночку донести мне товар до дому, а я его отблагодарю.

Мальчугану не хотелось идти, и он заплакал, потому что боялся безобразной старухи, но мать строго приказала ему слу-

шаться, так как считала грехом взвалить на старую немощную женщину такую поклажу; хныча, послушался он матери, сложил кочны в корзину и пошел по базару за старухой.

Дело шло у нее не очень-то быстро, и понадобилось добрых три четверти часа, чтобы дойти до отдаленной части города, где она остановилась перед ветхой хибаркой. Тут она вытащила из кармана старый ржавый крючок, ловко вставила его в замочную скважину, и дверь с громким треском растворилась. Но как удивился Якоб, когда вошел в дом! Внутри все было великолепно убрано, потолок и стены облицованы мрамором, вещи все из дорого черного дерева с инкрустацией из золота и полированных камней, пол из стекла, и такой гладкий, что мальчуган поскользнулся и упал. А старуха вытащила из кармана серебряную дудочку и стала насвистывать песенку, которая пронзительно разносилась по всему дому. И сейчас же по лестнице спустились морские свинки; Якобу показалось очень странным, что они ходят прямо на задних лапках, что скорлупки от орехов заменяют им башмаки, что одеты они в человечесью одежду, а на головах носят самые новомодные шляпы.

— Ах вы, мразь негодная... Куда вы девали мои туфли? — прикрикнула старуха и швырнула в них клюкой, да так, что они завизжали и подскочили. — Долго мне еще здесь стоять?

Они быстро запрыгали вверх по лестнице и вернулись с двумя скорлупами кокосового ореха, обшитыми внутри кожей, и ловко надели их старухе на ноги.

Хромоты и ковыляпия как не бывало. Она отбросила клюку и очень быстро заскользила по стеклянному полу, таща за руку Якоба. Наконец старуха остановилась в комнате, в которой было много всякой утвари, так что она, пожалуй, походила на кухню, хотя столы красного дерева и диваны, застланные роскошными коврами, больше подобали парадным апартаментам.

— Садись, сынок, — очень ласково сказала старуха, запихивая его в угол дивана и задвигая столом, чтобы он не мог вылезть. — Садись, человечесьи головы не такие уж легкие, да, не такие уж легкие.

— Что-то я вас, бабушка, не пойму, — воскликнул мальчуган. — Я правда устал, но пес-то я капустные головы, вы их купили у моей матери!

— Ну, это ты ошибаешься, — засмеялась старуха, подняла с корзины крышку и, схватив за вихор, вытащила оттуда человечесью голову.

Мальчуган опешил; от страха он не мог понять, что случилось, но сразу подумал о матери: если прослышат про человечесьи головы, решил он, то стапуг, конечно, выпить мою мать.

— погоди, я дам тебе что-то в награду за то, что ты такой послушный, — пробормотала старуха, — потерпи минутку, сейчас сварю тебе такого супцу, что ты его всю жизнь помнить будешь.

Она сказала и снова свистнула. Сначала прибежало много морских свинок, одетых по-человечьи; на них были повязаны ку-

хонные фартуки, а за пояс заткнуты уполовники и кухонные пожи; вслед за ними прибежала вприпрыжку толпа белок; ходили они на задних лапках, на них были широкие шаровары, а на голове зеленые бархатные шапочки. Должно быть, это были поварята, потому что они очень быстро взбирались вверх по стенам и спускались оттуда со сковородками и мисками, с яйцами и маслом, травами и мукой и несли все это к очагу; а возле то и дело совала взад и вперед старуха в своих туфлях из скорлупы кокосовых орехов, и мальчуган видел, что она очень старается сварить ему суп повкусней. Теперь огонь затрещал веселей, сковорода задымилась и зашипела, в комнате распространился вкусный запах, а старуха все бегала взад и вперед, и белки и морские свинки вслед за ней, и каждый раз, как она проходила мимо очага, она совала свой длинный нос в котелок. Наконец все закипело и заклокотало, от котелка повалил пар, а пена брызнула на огонь. Тогда она сняла котелок, вылила содержимое в серебряную миску и поставила ее перед Якобом.

— Так, сынок, так,— сказала она,— вот покушай супцу и получишь все, что тебе так во мне понравилось! Станешь сам искусным поваром, тебе падо же чем-то быть, а вот травки, травки-то тебе нипочем не найти; отчего не было ее в корзине у твоей матери?

Мальчуган не понимал как следует, что она говорит, тем усерднее принялся он за суп, уж очень он ему понравился. Мать не раз потчевала его лакомыми кушаньями, но ничего еще не приходилось ему так по вкусу. Суп был кисло-сладкий и очень наваристый, от него исходил тонкий запах трав и кореньев. Пока он доедал последние капли превосходного яства, морские свинки зажгли арабское куренье, от которого по комнате пошли голубоватые клубы дыма. Клубы эти все сгущались и сгущались и оседали; аромат курения действовал на мальчугана, как дурман; каждый раз, как он приходил в себя, вспоминал, что пора к матери, и хотел встать, он снова погружался в дремоту, а под конец и вправду заснул на диване у старухи.

Странные сны привиделись мальчику. Ему чудилось, будто старуха спяла с него одежду и облекла его в беличью шкурку. Теперь он мог прыгать и лазить не хуже белки; он познакомился с остальными белками и морскими свинками, народом весьма учтивым и благонаправным; вместе с ними нес он службу у старухи. Сначала он допускался только до обязанностей чистильщика сапог, то есть он должен был смазывать маслом и пачищать до блеска кокосовые орехи, которые старуха носила вместо башмаков. С этим делом он справлялся ловко, так как в отцовском доме его не раз засаживали за такую работу; приблизительно через год — снилось ему дальше — он был допущен до более тонкой работы: ему приказано было вместе с другими белками ловить пылинки, плясавшие в солнечном луче, а паловив достаточное количество, просеивать их через частое сито. Хозяйка считала солнечные пылинки за самое что ни на есть нежное па свете, а

потеряв последние зубы, она не могла жевать как следует, и потому ей пекли хлеб из солнечных пылинок.

Еще через год его перевели в число тех слуг, что собирали питьевую воду для старухи. Не подумайте, что она приказала вырыть колодец или поставить во дворе бочку для дождевой воды; их работа требовала куда больше искусства: белки, а с ними и Якоб, скорлупками лесных орехов вычерпывала росу из роз — она-то и служила старухе питьевой водой. А старуха пила весьма много, поэтому водоносам приходилось туго. Через год его приставили к работе по дому; на нем лежала обязанность держать в чистоте полы, а так как они были стеклянными и на них заметно было даже дыхание, то работа эта была пелегкая. Они терли полы щетками и, привязав к ногам старую суконку, ловко скользили по комнате. На четвертый год он был наконец определен на кухню. Это была почетная должность, до которой допускали только после долгих испытаний. Там Якоб из поваренка дослужился до старшего повара-паштетника и приобрел такой огромный опыт и умение во всем, касающемся поварского искусства, что часто сам себе дивился; все он постиг, всему научился, быстро и вкусно готовил самые замысловатые кушанья, паштеты, в которые входили двести разных приправ, овощные супы из всех существующих на свете травок.

Так протекали на службе у старухи лет семь; и вот как-то раз она собралась уходить, сняла свои кокосовые башмаки, вооружилась корзиной и клюкой, а ему приказала оципать курочку, нафаршировать травами и, вкусно подрумянив, зажарить к ее приходу. Он приготовил ее по всем правилам поварского искусства. Свернул шею, ошпарил кипятком, ловко оципал, поскоблил кожу, так что та стала гладкой и нежной, и выпотрошил курочку. Потом принялся собирать травы для начинки. На этот раз он увидел в кладовой, где хранились травы, стеной шкафчик с приоткрытыми дверцами, которого он раньше не замечал. Любопытствуя узнать, что в нем, подошел он поближе, — и глядь! — там стояло много корзиночек, от которых исходил приятный крепкий запах. Он открыл одну и нашел травки совсем особой формы и цвета. Стебель и листья были голубовато-зеленые, а на конце сидел огненно-красный цветочек с желтой каймой; в раздумье разглядывал и нюхал он цветок, от которого струился тот же крепкий аромат, которым благоухал суп, сваренный ему когда-то старухой. Но запах был так силен, что он чихнул, стал чихать сильнее и наконец совсем расчихался и проснулся.

Он лежал на старухином диване и с удивлением оглядывал комнату. «И привидятся же такие сны, прямо как наяву, — подумал он. — Я мог бы поклясться, что я — жалкая белочка, вожу дружбу с морскими свинками и прочим зверьем и что в то же время я стал искусным поваром. Ну и посмеется же матушка, когда я ей все это расскажу! Только, пожалуй, она заругает меня, что я заснул у чужих и не помогаю ей на рынке». При этой мысли он поднялся, собираясь уходить; все тело у него еще одеревенело

от сна, особенно шея,— он не мог как следует вертеть головой; он даже сам па себя усмехнулся, что он такой сонный, никак не придет в себя и то и дело тыкается носом в шкаф или в стену, а когда быстро обернется, задевает носом о дверной косяк. Белки и морские свинки с визгом бегали вокруг него, словно хотели увязаться за ним; уже стоя на пороге, он позвал их с собой, ведь это были такие славные зверюшки. Но они быстро покатались на своих ореховых скорлупках обратно в дом, и только издали доносились их визг.

Старуха завела его в довольно отдаленную часть города, и он едва выбрался из узких улочек, да к тому же там еще была толчея, потому что, как ему сдавалось, где-то поблизости появился карлик; то и дело слышались крики: «Эй, взгляните-ка на уродца-карлика! Откуда взялся такой карлик? Ну и длинный же у него нос, а голова совсем ушла в плечи, а руки-то какие темные и безобразные!» В другое время он и сам побежал бы за народом, потому что больше всего на свете любил глазеть на великанов и карликов или на необычайные заморские наряды, но сейчас ему надо было торопиться к матери.

Когда он пришел на базар, па него папал страх. Мать сидела еще там, и в корзинке у нее было порядочно товара, значит, он проспал не очень долго, но уже издали она показалась ему очень печальной: она не зазывала покупателей и сидела, подперев голову рукой, а когда он подошел поближе, ему почудилось, будто она бледнее обычного. Он медлил, не зная, как поступить; наконец собрался с духом, подкрался к ней сзади, ласково положил ей руку на плечо и сказал:

— Матушка, тебе нездоровится? Ты сердисься на меня?

Женщина обернулась, но тут же отпрянула с криком ужаса.

— Чего тебе от меня надобно, противный карлик! — воскликнула она.— Ступай, ступай прочь! Терпеть не могу глупых шуток!

— Но что с тобой, матушка? — спросил перепуганный Якоб.— Тебе, верно, неможется, почему ты гонишь прочь своего сына?

— Сказала тебе, ступай своей дорогой! — раздраженно ответила Ганна.— С меня ты, мерзкий урод, своим кривляньем ничего не заработаешь.

«Верно, бог лишил ее разума,— в страхе подумал малыш.— Что мне теперь делать, как довести ее до дому?»

— Милая маменька, приди в себя, посмотри па меня хорошенько,— я ведь твой сын, твой Якоб.

— Нет, теперь шутка становится слишком наглой,— крикнула Ганна, обращаясь к соседке,— вы только взгляните на урда-карлика, стоит тут и отпугивает всех покупателей, да еще смеет издеваться над моим горем. Говорит — я твой сын, твой Якоб! Ах он бесстыдник!

Тут всполошились все соседки и принялись ругаться изо всех сил — а рыночные торговки, сами знаете, ругаться горазды — и

папали на него за то, что он издевается над несчастьем бедной Гапны, у которой семь лет тому назад украли сынка — писапного красавца, и стали грозиться, что все вместе набросятся на него и испарапают, если он не уберется подобру-поздорову.

Бедняжка Якоб не знал, что и подумать. Ведь он же, как ему сдавалось, сегодня утром пошел, по обыкновению, с матерью на базар, помог ей разложить фрукты, затем пошел со старухой к ней домой, покушал супцу, вздремнул немножко и теперь вот вернулся на базар, а мать и соседки говорят о семи годах. А его называют мерзким карликом! Что же это такое с ним приключилось? Когда он понял, что мать и слышать о нем не хочет, на глазах у него выступили слезы, и он печально побрел к лавчонке, где отец целый день чинил башмаки. «Увидим, — думал он, — признает ли он меня; я стану в дверях и заговорю с ним». Подойдя к сапожнику, он стал у двери и заглянул в лавчонку. Хозяин так рьяно трудился над своей работой, что не заметил его; но, случайно взглянув на дверь, он уронил на пол башмак, дратву и шило и в ужасе закричал: «Господи боже мой, да что это такое, что такое!»

— Добрый вечер, хозяин! — сказал малыш, входя в лавку. — Как поживаете?

— Плохо, плохо, господинчик! — ответил отец, к большому удивлению Якоба; выходит, что отец его тоже не знает. — Работа не спорится. Я один и старею, а взять подмастерье не по карману.

— А разве нет у вас сыночка, который бы понемножку помогал вам в работе? — выведывал карлик.

— Был у меня сынок, звали его Якобом, теперь бы он был статным, ловким двадцатилетним юношей и мог бы здорово подсобить мне. Да, вот это была бы жизнь! Уже в двенадцать лет он был смышленным, умелым мальчишкой и разбирался в моем ремесле, а уж какой красавчик, какой учтивый! Он привлек бы заказчиков, так что скоро я бы уже не чинил башмаки, а только тачал бы новые! Но так уж ведется на свете!

— А где же ваш сын? — дрожащим голосом спросил он отца.

— Бог ведает, — ответил тот, — семь лет тому назад — да, теперь уже с той поры утекло столько времени — его украли у нас на базаре.

— Семь лет тому назад! — в ужасе воскликнул Якоб.

— Да, крохотный мой господинчик, семь лет; как сейчас помню, пришла жена домой, вся в слезах, и, громко рыдая, сказала, что весь день напрасно прождала мальчика; она всех расспрашивала, всюду его разыскивала, но так и не нашла сына. Я всегда думал, всегда говорил, что так случится; Якоб был красивым ребенком, это надо признать, и жена им гордилась, ей льстило, когда его хвалили, и часто она посылала его с овощами и всякой всячиной к знатным господам. Это было не плохо, — каждый раз его щедро одаривали; но я говорил ей: смотри! Город велик, в нем живет много недобрых людей, смотри за Якобом. Как я говорил, так оно и вышло. Приходит как-то раз на базар уродливая ста-

руха, прицепивается к фруктам и овощам и покупает под копец столько, что не может сама донести до дому. У жены моей сердце отзывчивое, она отпустила с ней мальчишку — и с тех пор его так и не видали.

— И вы говорите, тому уже семь лет?

— Весною будет семь. Мы объявили о нем, ходили из дома в дом и всюду расспрашивали; многие знали и любили красавчика-мальчика и вместе с нами искали его, — все напрасно. Женщину, купившую овощи, тоже никто не знал, — только одна дряхлая старушонка, прожившая девяносто лет, сказала, что это, пожалуй, злая волшебница Травозная, которая раз в пятьдесят лет приходит в город за всякими закупками.

Так рассказывал отец Якоба и при этом громко стучал по башмаку и обеими руками вытягивал дратву. Маленькому человеку постепенно стало ясно, что с ним случилось; он не во сне, а наяву семь лет прослужил в белках у злой волшебницы. Сердце разрывалось от гнева и горя. Старуха украла у него семь лет юности, а что получил он взамен? Навострился наводить глянец на туфли из косовых орехов да держать в чистоте комнату с заркальным полом? Научился у морских свинок тайнам поварского искусства? Он простоял некоторое время, раздумывая над своей участью; в конце концов отец спросил его:

— Может быть, вам угодно мне что-либо заказать, молодой человек? Пару новых туфель или, — прибавил он, усмехаясь, — может быть, футляр себе на нос?

— Почему вам дался мой нос? — спросил Якоб. — К чему мне футляр на него?

— Ну, кому что нравится, — возразил башмачник, — но должен сказать, будь у меня такой страшный нос, я бы заказал на него футляр из розовой лакированной кожи. Вот взгляните, у меня как раз под рукой хороший лоскут; правда, на футляр пойдет не меньше локтя, но зато как бы это вас уберегло, крохотный господинчик: я уверю, вы наткнетесь на всякий дверной косяк, на всякую повозку, когда хотите уступить ей дорогу.

Крохотуля онемел от страха; он потрогал свой нос — был толстый, и в длину не меньше двух пядей! Значит, старуха переменяла ему наружность, потому-то мать и не узнала его, потому-то и обзывали его уродцем-карликом!

— Хозяин! — обратился он, чуть не плача, к сапожнику. — Нет ли у вас под руками зеркала, чтобы мне поглядеться?

— Сударь, — серьезно ответил отец, — не такая наружность досталась вам, чтобы ею любоваться, и пезачем вам то и дело глядеться в зеркало. От этого следует отвыкать: у вас такая привычка особенно смешна.

— Ах, дайте мне взглянуть в зеркало, — воскликнул карлик, — уж конечно, дело тут не в любовании собой!

— Оставьте меня в покое; нет у меня зеркала; у жены был осколок, да не знаю, куда она его запрятала. А уж ежели вам обязательно пужно поглядеться в зеркало, то через улицу живет

Урбан, брадобрей, у него есть зеркало в два раз больше вашей головы; поглядитесь в него, а пока будьте здоровы!

С этими словами отец остороженько выпроводил его из лавки, запер за ним дверь и снова сел за работу. А Якоб, совсем убитый, перешел через улицу к брадобрею Урбану, которого помнил еще с прежних времен.

— Доброе утро, Урбан,— сказал он,— я пришел попросить вас о любезности, будьте так добры и позвольте мне поглядеться у вас в зеркало.

— С удовольствием, вон оно там стоит,— воскликнул, смеясь, брадобрей, и его посетители, ожидавшие, когда он подстрижет им бороду, тоже громко расхохотались.

— Вы и впрямь красавчик, стройный и складный, шея — как у лебедя, руки — как у королевы, а другого такого хорошенького вздернутого носика и не сыщешь. Пожалуй, вы слишком им любуетесь, это верно; ну, ладно, поглядитесь, пусть не говорят про меня, будто я из зависти не позволил вам поглядеться у себя в зеркало!

Так сказал брадобрей, и вся цирюльня задрожала от хохота. Между тем карлик подошел к зеркалу и взглянул в него. Слезы выступили у него на глазах. «Да, милая маменька,— подумал он,— ты, конечно, не могла узнать своего Якоба. В ту счастливую пору, когда ты хвасталась мною перед людьми, паружность у меня была иная!» Сейчас глаза у него стали маленькими, как у свиньи, нос чудовищно вырос и навис надо ртом и подбородком, шея будто и в помине не было, потому что голова ушла глубоко в плечи и ворочать ею из стороны в сторону ему было очень больно. Ростом он был все тот же, что и семь лет тому назад, когда ему было только двенадцать; но в то время как все прочие от двенадцати до двадцати растут в вышину, он рос в ширину, спина и грудь у него сильно выпятились и смахивали на небольшой, но туго набитый мешок. Толстое туловище сидело на слабеньких ножках, подгибавшихся под его тяжестью, зато руки были очень длинные, той же длины, что у взрослого мужчины, и болтались, как плети, кисти рук огрубели и потемнели, пальцы вытянулись по-паучьи, и, расправив их как следует, он мог, не пагибаясь, достать до полу. Вот каким стал маленький Якоб,— он превратился в уродливого карлика.

Теперь он припомнил то утро, когда старуха подошла на базаре к его матери. Всем, что он тогда осудил в ней — длинным носом, безобразными пальцами, — всем наделила она его, кроме длинной трясущейся шеи, шею она начисто упразднила.

— Ну что, мой принц, вдоволь нагляделись? — спросил брадобрей, подходя к нему и насмешливо его рассматривая. — Право, такой смешной паружности при всем желании и во сне не увидишь. Но у меня есть для вас предложение, крохотный человечек. Ко мне в цирюльню заходит, правда, порядочно народу, но за последнее время не так много, как то было бы желательнее. Причина тому та, что мой сосед, брадобрей Шаум, разыскал где-то

великана, который привлекает к нему посетителей. Ну, чтобы вырасти великаном, большого умения не надобно, а вот стать человеком вроде вас, да,— это потруднее. Поступайте ко мне на службу, крохотный человечек, я поселю вас у себя, буду кормить, поить, одевать, обувать,— всего у вас будет вволю; за это вы должны стоять по утрам у меня перед дверью и зазывать ко мне народ, взбивать мыльную пену, подавать посетителям полотенце, и, уверяю вас, дела у нас пойдут неплохо; у меня посетителей будет больше, чем у соседа с великаном, а вам всякий охотно даст на чай.

Карлик был в душе возмущен предложением служить примажкой для брадобрея. Но ему пришлось стерпеть это оскорбление. Поэтому он совершенно спокойно ответил брадобрею, что не располагает временем для таких услуг, и побрел дальше.

Хотя злая старуха и испортила ему наружность, но панести вред его разуму она не смогла — это он отлично чувствовал, потому что думал и чувствовал он не так, как семь лет тому назад,— нет, за это время он стал умнее, рассудительнее; его печалила не утрата бывшей красоты, не теперешнее его уродство, а то, что отец, словно собаку, прогнал его от своего порога. Поэтому он решил еще раз попытаться счастья у матери.

Он подошел к ней на базаре и попросил спокойно выслушать его. Он напомнил ей тот день, когда ушел со старухой, напомнил разные случаи из своего детства, потом рассказал, как семь лет прослужил в образе белки у колдуньи и в кого она его превратила за то, что он ее тогда осуждал. Сапожникова жена не знала, что и думать. Все, что он рассказал о своем детстве, так на самом деле и было, но когда он стал уверять, будто в течение семи лет был белкой, она промолвила:

— Ну, этого быть не может, да и волшебниц не бывает.— И, посмотрев на уродца-карлика, она возненавидела его и не могла поверить, что это ее сын. В конце концов она сочла за лучшее поговорить с мужем. Она собрала корзины и велела ему идти вместе с ней. Так и пришли они к лавчонке сапожника.

— Послушай,— сказала она ему,— вот этот человек утверждает, будто он наш потерянный Якоб. Он мне все рассказал, как семь лет тому назад его увела от нас и заколдовала злая волшебница.

— Ах, так! — в гневе воскликнул сапожник.— Вот что он тебе рассказал? Ну, подожди же ты у меня, негодник! С час тому назад я сам все ему рассказал, а он отправился морочить тебя! Так тебя заколдовали, сыночек? Подожди же, вот я тебя расколдую.— С этими словами он схватил связку ремней, которые как раз парезал, подкочил к человечку и так вытянул его по высокому горбу и длинным рукам, что тот закричал от боли и с плачем убежал прочь.

В том городе, как, впрочем, и везде, мало сердобольных людей, готовых помочь бедному человеку, особенно если на его счет можно позабавиться. Потому-то и не удалось бедняжке карлику

за весь день поесть и попить, а когда стемнело, ему пришлось заночевать на церковной паперти, хотя она и была твердая и холодная.

Когда на следующее утро его разбудили первые лучи солнца, он серьезно задумался, чем ему жить, раз отец с матерью его прогнали. Чтобы служить вывеской брадобрюю, он был слишком горд; подражаться в шуты и показываться за деньги он не хотел. Как жить? Тут ему пришло в голову, что, в бытность свою белой, он сильно преуспел в поварском искусстве; не без основания полагаю он, что может потягаться с любым поваром; он решил использовать свое поварское искусство.

Как только улицы оживились и утро окончательное вступило в свои права, он вошел в церковь и помолился. Затем пустился в путь. Герцог, владетель той страны,— о, господин,— был известный объедала и лакомка, любил сладко покушать и выписывал поваров со всех частей света. К его-то дворцу и отправился крохотуля. У внешних ворот привратники спросили, что ему надобно, и принялись всячески потешаться над ним; он же потребовал обер-гоф-повара. Смеясь, повели они его через внешние дворы, и всюду, где он появлялся, слуги оставляли работу, глазели на него, громко хохотали и присоединялись к ним, так что под конец по лестнице дворца шествовала процессия слуг всякого рода; конюхи отбросили свои скребницы, скороходы бежали со всех ног, слуги, приставленные к коврам, позабыли выколачивать ковры,— все толкались и спешили; поднялась такая давка, словно к воротам подступил враг, в воздухе стоял крик: «Карлик, карлик! Видали карлика?»

Тут в дверях появился смотритель дворца, лицо у него было сердитое, а в руках он держал огромный бич.

— Побойтесь бога, собаки проклятые! Чего расшумелись! Разве не знаете, что герцог изволит еще почивать? — И при этих словах он размахнулся бичом и весьма неласково прошелся им по спинам конюхов и привратников.

— Господин,— закричали они,— разве вы не видите? Мы привели карлика, такого карлика, какого вы и не видывали.

Заметив человечка, смотритель дворца приложил все старания, чтобы не рассмеяться, ведь он боялся, как бы смех не повредил его достоинству. Поэтому он разогнал бичом толпу слуг, а человечка повел в дом и спросил, чего ему надобно. Когда же услышал, что тот добивается обер-гоф-повара, он возразил:

— Ты, сыночек, ошибаешься, тебе нужен я, смотритель дворца, ты собираешься поступить в придворные карлики к герцогу, не так ли?

— Нет, господин! — ответил карлик. — Я умелый повар, сведущий во всяких редкостных яствах, соблаговолите отвести меня к обер-гоф-повару, может быть, мое искусство ему пригодится.

— Как угодно, крохотуля, но ты легкомысленный человек. На кухню захотел! Если ты поступишь в придворные карлики, работать тебе не придется, есть и пить будешь всласть, одежду но-

сить богатую. Увидим, павряд ли у тебя хватит умения, чтобы стать придворным поваром герцога, а для поваренка ты слишком хорош.— С этими словами смотритель дворца взял его за руку и повел в покои обер-гоф-повара герцогской кухни.

— Государь мой,— сказал карлик и поклонился так низко, что коснулся посома пола.— Не требуется ли вам искусный повар?

Обер-гоф-повар оглядел его с головы до пят, затем громко расхохотался.

— Как, ты повар? — воскликнул оп.— Так, по-твоему, очаг у нас такой низкий, что ты сможешь заглянуть в котелок, став на дыпочки и как можно сильнее вытянув шею? Ах ты, козявочка! Тот, кто послал тебя пацматься ко мне в повара, посмеялся над тобой.— Так сказал обер-гоф-повар и громко расхохотался, а за ним захохотали и смотритель дворца, и все слуги, бывшие в комнате.

Но карлик не смутился.

— Не обещает такой дом, где всего вдоволь, от двух-трех янчек, чуточки сиропа и вина, муки и пряпостей,— сказал оп.— Дозвольте мне изготовить лакомое кушанье, предоставьте все, для того потребное, и я тут же у вас на глазах его состряпаю, вот тогда вы скажете: «Он с полным правом может быть поваром».

Такие и подобные им речи вел человек, и странное впечатление производили его сверкающие глазки, качавшийся из стороны в сторону длинный нос и движения тоненьких паучьих пальцев, сопровождавшие его слова.

— Так и быть! — воскликнул заведующий кухней и взял под руку смотрителя дворца.— Так и быть, согласен, шутки ради; идемте па кухню.

Они прошли по залам и галереям и, наконец, добрались до кухни. Это был обширный покой, замечательно устроенный: в двадцати очагах постоянно пылал огонь, посреди бежал прозрачный ручей, служивший также садком для рыб; в шкафах из мрамора и редких сортов дерева стояли запасы, которые всегда должны быть под рукой, а по правую и по левую сторону находилось десять зал, где было припасено все, что только знали вкусного и лакомого во всех странах Франкистана и даже па Востоке. Кухонная челядь сновала взад и вперед, звенела кастрюлями и сковородками, управлялась с вилками и шумовками; но когда па кухню пришел обер-гоф-повар, все замерли на месте, и было только слышно, как трещит огонь и журчит ручеек.

— Что сегодня заказал па завтрак наш повелитель? — спросил обер-гоф-повар старого повара, великого искусника в изготовлении завтраков.

— Герцог соизволили заказать датский суп с красными гамбургскими фрикадельками!

— Хорошо,— продолжал обер-гоф-повар.— Ты слышал, что угодно откусать нашему повелителю? Дерзнешь ли ты изготовить эти замысловатые яства? С фрикадельками тебе нипочем не справиться,— их приготовление наш секрет.

— Нет ничего легче,— к общему удивлению, ответил карлик (в бытность свою белкой он не раз готовил эти кушанья),— нет ничего легче, выдайте мне для супа такие-то и такие-то травы, такие-то и такие пряности, кабаньего сала, кореньев и яиц; а для фрикаделек,— сказал он тихо, так, чтобы его слышали только обер-гоф-повар и повар, приставленный к завтракам,— для фрикаделек мне требуется различного сорта мясо, немпожко вина, утиный жир, имбирь и некая травка, которая зовется «утехой для желудка».

— Клянусь святым Бенедиктом! У какого волшебника ты обучался? — с удивлением воскликнул повар.— Ты назвал все до кашельки, а про травку, что зовется «утехой для желудка», мы и сами не слышали,— она, должно быть, придает особо приятный вкус. Ах, ты — чудо-повар!

— Этого я никак не ожидал,— сказал обер-гоф-повар.— Итак, приступим к испытанию: дать ему все, чего он требует, посуду и все прочее, и пусть стряпает завтрак.

Как он приказал, так и сделали, и принесли все, что он просил; но тут оказалось, что карлик едва мог достать носом до очага. Поэтому придвинули два стула, положили на них мраморную доску и предложили чудо-человечку показать свое искусство. Повар, поварята, слуги и прочая челядь окружили его широким кольцом, смотрели на него и дивились, как быстро и ловко он управляет, как чисто и красиво все готовит. Покопчив с приготовлениями, он приказал поставить оба котелка на огонь и кипятить до тех пор, пока он не скажет; затем он принялся считать: раз, два, три и так далее и, сосчитав до пятисот, крикнул: «Хватит!» Горшки сняли с огня, и карлик попросил обер-гоф-повара отвезти.

Гоф-повар повелел поваренку подать ему золотую ложку, ополоснул ее в ручье и передал обер-гоф-повару; тот с торжественным видом подошел к очагу, зачерпнул, отведал кушанья, закатил глаза, прицелкнул от удовольствия языком и промолвил:

— Восхитительно, жизнью герцога клянусь — восхитительно! Не угодно ли вам тоже проглотить ложечку, господин смотритель дворца?

Тот поклонился, взял ложку, отведал кушанья и не мог опомниться от удовольствия и радости.

— Вы умелый повар, дорогой мой повар по герцогским завтракам, но, при всем моем уважении к вашему искусству, должен сказать, что ни суп, ни гамбургские фрикадельки никогда не удавались вам столь замечательно!

Теперь попробовал и герцогский повар по завтракам, затем он почтительно пожал карлику руку и сказал:

— Да, человек, ты мастер своего дела, а травка «утеха для желудка» придает всему совершенно особую прелесть.

Тут в кухню вошел герцогский камердинер и возвестил, что его господин требует завтрак. Кушанья понесли герцогу в серебряной посуде, а обер-гоф-повар повел карлика к себе и начал с ним

беседовать. Но не прошло даже столько времени, сколько подобно, чтобы прочитать «Pater noster»¹ (это франкская молитва, о поветель мой, и она вдвое короче молитвы правоверных), как пришел посланец и позвал обер-гоф-повара к герцогу. Он быстро переоделся в парадное одеяние и последовал за посланным.

Герцог, казалось, был очень доволен. Он скушал все, что ему было подано, и как раз утирал усы.

— Послушай, заведующий моей кухней,— сказал он,— до сего дня я всегда бывал очень доволен твоими поварами, но скажи, кто приготовил завтрак сегодня? С тех пор как я сижу на престоле отцов, я еще ни разу не едал такого вкусного; доложи, как зовут этого повара, и мы даруем ему в награду несколько дукатов.

— Господин мой! Это удивительная история,— ответил обер-гоф-повар и рассказал, как сегодня рано поутру привели к нему карлика, который во что бы то ни стало хотел стать поваром, и про все, что случилось потом.

Герцог очень удивился, призвал карлика и спросил его, кто он и откуда. Бедный Якоб не мог, разумеется, сказать, что был заколдован и служил в виде белки. Но он не погрешил против истины, поведав, что остался без отца с матерью, а готовиться обучился у одной старухи. Герцог не стал его расспрашивать, а предпочел позабавиться необыкновенной паружностью своего нового повара.

— Если хочешь остаться у меня,— сказал он,— я прикажу ежегодно выдавать тебе пятьдесят дукатов, нарядное платье и сверх того две пары штанов. А ты будешь обязан ежедневно самовольно стряпать мне завтрак, указывать поварам, как готовить обед, и вообще заниматься моим столом. Каждый у меня во дворце получает какое-нибудь прозвище, ты будешь зваться «Носом» и будешь возведен в чин младшего гоф-повара.

Карлик Нос пал ниц перед могущественным герцогом франкской земли, облобызал ему ноги и обещал служить верой и правдой.

Итак, на первое время человек пристроился и с честью стал выполнять свои обязанности. И можно сказать, что герцог сделался совсем другим человеком, с тех пор как карлик Нос поселился у него в доме. Прежде он часто изволил привередничать, и в голову поварам летели миски и блюда, которые ему подавали,— даже самому обер-гоф-повару запустил он, разгневавшись, жесткой пережаренной телячьей ногой прямо в лоб с такой силой, что тот свалился и три дня пролежал в постели. Правда, герцог обычно искупал то, что натворил в запальчивости, несколькими пригоршнями дукатов, и все же повара всегда подавали ему кушанья с оглядкой да с опаской. С тех пор как карлик поселился у него в доме, все как по волшебству изменилось. Герцог кушал вместо трех пять раз на день, чтобы вдосталь насладиться искусством самого маленького из своих слуг, и все же никогда у него

¹ Отче наш (лат.).

на лице не появлялось недовольной гримасы. Наоборот, все казалось ему новым и отличным на вкус; он стал ласковым и обходительным и жирел с каждым днем.

Часто во время обеда приказывал он позвать обер-гоф-повара и карлика Носа, сажал одного от себя по правую, другого по левую руку и собственными пальцами клал им в рот лакомые кусочки, милость, которую оба умели весьма ценить.

Карлику дивился весь город. У старшего заведующего герцогской кухней испрашивали позволения поглядеть, как готовит карлик, а некоторым особенно знатым вельможам удалось выпросить у герцога разрешения для своих слуг пользоваться на кухне уроками карлика, что давало тому немалые доходы, ведь каждый вельможа платил полдуката в день. А чтобы не портить хорошего настроения остальным поварам и не вызывать в них зависти, Нос отдавал им деньги, которые платили ему господа за обучение своих поваров.

Так прожил Нос почти два года внешне в довольстве и почете, и только мысль о родителях печалила его. Так он жил, пока не случилось следующего чудесного приключения. Карлик Нос умел выбирать товар, и покупки его были всегда удачны. Поэтому, если только позволяло время, на базар за птицей и овощами он ходил самолично. Как-то утром пошел он в гусиный ряд поискать жирных, откормленных гусей, которые были по вкусу его господину. Уже несколько раз прошелся он взад и вперед и осмотрел весь рынок. Здесь его появление не вызывало хохота и насмешек,— напротив того, он впускал всем глубокое уважение. Все знали, что это знаменитый придворный повар герцога, и каждая торговка гусями бывала счастлива, когда он поворачивал нос в ее сторону.

Вдруг он увидел в самом конце ряда в уголку женщину, тоже торговавшую гусями, но она не выхваляла свой товар по примеру прочих и не зазывала покупателей. Он подошел, пощупал гусей и попробовал их на вес. Ему были пужны как раз такие, и он купил трех вместе с клеткой, взвалил ее на свои широкие плечи и двинулся в обратный путь. Тут ему показалось странным, что только два гуся гоготали и кричали по-гусиному, а третий сидел смиренно и печально и вздыхал и охал по-человечьи. «Гусыня-то запемогла,— подумал он,— надо поспешить прикопчить и зажарить ее».

Но гусыня ответила ему явственно и громко:

Ну-ка,
Только уколи меня,
Мигом ущипну тебя.
Если же шею мне свернешь,
Долго сам не проживешь.

Карлик Нос в испуге поставил наземь клетку, а гусыня поглядела на него выразительными, умными глазами и вздохнула.

— Ну и дела! — воскликнул Нос. — Ваша милость гусыня умеют разговаривать? Вот уж не подумал бы. Но не извольте бес-

покоиться! Знания жизни у нас достаточно, и такую редкостную птицу мы не прикончим. Но готов побиться об заклад, вы не всегда изволили носить это оперенье. В свое время я тоже был жалкой белкой.

— Ты прав, — ответила гусыня, — я родилась не в этой презренной оболочке. Ах, мне, Мими, дочери великого чародея Веттербока, не пели у колыбели, что я кончу жизнь на герцогской кухне!

— Не извольте беспокоиться, душенька Мими, — утешал карлик. — Верьте, я честный человек, и, покуда я младший гоф-повар его светлости, никто не посмеет свернуть вашей милости шею. В собственных своих покоях отведаю я вашей милости закуток, корма будете кушать вдосталь, свободное время я буду посвящать беседе с вами, а всей прочей кухонной челяди скажу, будто откармливаю для герцога гусыню особыми травами, и при первом же случае отпущу вашу милость на волю.

Гусыня поблагодарила его со слезами на глазах, карлик же сделал так, как обещал: зарезал двух гусей, а для Мими соорудил отдельный сарайчик под тем предлогом, что собирается особым образом откормить ее для герцога. Он и не давал ей обычного гусиного корма, а питал печеньем и сладкими блюдами. Как только у него выдавалось свободное время, шел он к ней разговорить ее тоску. Они рассказывали друг другу свои приключения, и Нос узнал, что гусыня была дочерью волшебника Веттербока, живущего на острове Готланде. Он поссорился со старой феей, та своими кознями и коварством взяла над ним верх и из мести превратила его дочь в гусыню и перенесла сюда. Когда карлик Нос также поведал ей свою историю, она промолвила:

— Нельзя сказать, чтобы я была несведущей в таких вещах. Отец поставил нас с сестрами, насколько это было в его власти. Из рассказа о ссоре у корзины с травами, о твоём внезапном превращении, когда ты попохал травку, а также из отдельных слов старухи, которые ты мне передал, ясно, что ты околдован при посредстве трав, поэтому, если ты отыщешь травку, о которой думала старуха во время колдовства, то чары будут с тебя сняты.

Это, конечно, не могло послужить большим утешением для карлика: где было ему разыскать ту траву? Все же он поблагодарил ее и почерпнул в ее словах некоторую надежду.

Об эту же пору посетил герцога соседний владетельный князь, его друг. Посему герцог призвал к себе карлика Носа и сказал:

— Пришло время доказать, что ты мастер своего дела и служишь мне верой и правдой. Князь, мой гость, как известно, кушает лучше всех, кроме меня; он большой знаток изысканной кухни и мудрый правитель. Позаботься же, чтобы ежедневно мой стол был уставлен яствами, которые каждый раз удивляли бы его все больше и больше. При этом, под страхом моей немилости, не моги, покуда он здесь, два раза подавать одно и то же блюдо. Зато разрешаю тебе требовать от моего казначея все, что тебе угодно.

Бери даже золото и алмазы, буде тебе понадобится поджарить их в сале. Я соглашусь лучше стать бедняком, чем краснеть перед ним.

Так сказал герцог. Карлик же учтиво поклонился и молвил:

— Будь по слову твоему, о господин! Видит бог, я сделаю так, чтобы все пришлось по вкусу этому королю объедал.

Повар-крохотуля пустил в ход все свое искусство. Он не жалел сокровищ своего господина, но еще меньше щадил самого себя. Весь день хлопотал он у огня, окутанный облаком дыма, под сводами кухни неумолчно звенел его голос, ибо, как истый властелин, распоряжался он поварятами и младшими поварами...

— Повелитель, я мог бы последовать примеру алеппских погонщиков верблюдов, которые в тех сказках, что рассказывают путникам, повествуют о том, как вкусно едят их герои. Целый час перечисляют они все яства, что тем подаются, и так возбуждают аппетит и даже сильнейший голод у своих слушателей, что те невольно развязывают свои припасы, устраивают трапезу и щедро кормят погонщиков верблюдов; но я поступлю не так.

Чужеземный владетельный князь две недели гостил у герцога и жил в роскоши и веселье. Они кушали не меньше пяти раз на дню, и герцог был доволен искусством карлика, потому что по лицу гостя видел, как тот доволен. Но на пятнадцатый день случилось герцогу позвать карлика к столу, он представил его своему гостю и спросил, доволен ли тот карликом.

— Ты замечательный повар,— ответил чужеземный властитель,— и понимаешь, что такое кушать прилично. За все время, что я здесь, ты ни разу не подал одного и того же блюда и готовил все весьма изрядно. Но скажи, почему не подаешь ты так долго короля кушаний — паштет Сузерен?

Карлик очень перепугался, потому что сейчас в первый раз услышал об этом короле паштетов, но он собрался с духом и сказал:

— О господин! Я надеялся, что еще долго будешь ты освещать своим присутствием нашу столицу, поэтому и не торопился. Ибо чем мог повар ознаменовать последний день твоего пребывания, если не королем всех паштетов?

— Так? — смеясь, возразил герцог.— А если говорить обо мне, ты, верно, ждал моей смерти, дабы ознаменовать так этот день? Ведь и мне ты тоже никогда не подавал этого паштета. Но придумай чем-нибудь иным ознаменовать день расставания: этот паштет ты должен подать к столу уже завтра.

— Будь по слову твоему, господин мой! — ответил карлик и вышел.

Но вышел он нерадостный, чувствуя, что настал день его позора и несчастья: он не знал, как изготовить паштет. Поэтому он отправился к себе и стал плакаться на судьбу. Тут подошла к нему гусыня Мими, которой разрешалось ходить у него по комнате, и спросила, о чем он тужит.

— Уйми свои слезы,— сказала она, услышав о паштете Сузе-

рен.— У моего отца это блюдо часто подавалось на стол, и я приблизительно знаю, что для него требуется. Возьми того и другого, столько-то и столько-то, и если это и не совсем то, что, собственно, нужно, не беда,— вряд ли уж у нашего господина и его гостя столь тонкий вкус.

Так говорила Мими. Карлик же подпрыгнул от радости, благословил тот день, когда купил гусыню, и принялся за изготовление короля паштетов. Сначала он сделал его на пробу, и — гляди-ка! — паштет вышел на славу, обер-гоф-повар, которому он предложил его отведать, снова стал расхваливать не знающее равных искусство Носа.

На следующий день запек он паштет в большей форме, украсил цветочными гирляндами и еще теплым, прямо с огня, отослал к столу. Сам же надел свою лучшую праздничную одежду и пошел в столовую. Как раз когда он входил, дворецкий разрезал паштет на ломти и подавал их на серебряной лопатке герцогу и его гостю. Герцог откусил с удовольствием большой кусок, возвел глаза к потолку и, прожевав, сказал:

— Ах, ах, ах, поистине, правильно называют этот паштет королем паштетов; но зато и мой карлик — король поваров; не так ли, дорогой друг?

Гость взял в рот несколько кусочков, тщательно распробовал и прожевал их, улыбаясь при этом насмешливо и загадочно.

— Кушанье приготовлено весьма умело,— ответил он, отодвигая тарелку,— но все-таки это не постоянный Сузерен, как я, собственно, и думал.

Тогда герцог гневно наморщил лоб и покраснел от стыда.

— Паршивая собака! — воскликнул он.— Как смел ты пришить мне, твоему господину, такое огорчение? Верно, хочешь, чтобы в наказание за плохую стряпню я повелел снести тебе голову?

— О господин мой! Ради всего святого, я приготовил это кушанье по всем правилам искусства, невозможно, чтобы чего-либо в нем недоставало,— дрожа, сказал карлик.

— Ты лжешь, мошенник! — возразил герцог и ногой отпихнул его.— Будь так, гость не сказал бы, что чего-то недостает. Я прикажу изрубить тебя самого на кусочки и запечь в паштете.

— Сжалось! — воскликнул человечек, на коленях подполз к гостю и обнял его ноги.— Скажите, чего недостает этому кушанью и почему оно вам не по вкусу? Не дайте мне умереть из-за горсти муки и мяса!

— Это тебе мало поможет, милый мой Нос,— ответил, смеясь, чужеземец,— я уже вчера знал, что тебе не приготовить этого кушанья так, как это делает мой повар. Знай — тут недостает некоей травки, о которой в вашем краю и не слыхивали, травки Вкусночихи; без нее в паштете нет остроты, и твоему господину никогда не едать его таким, каким ем его я.

Тут франкистанский герцог пришел в ярость.

— И все же я буду есть его в должном виде,— воскликнул

оп, сверкая глазами,— ибо, клянусь своей герцогской честью, завтра я представлю вам либо паштет по вашему вкусу, либо голову этого пегодника, торчащую на пике у ворот моего дворца. Ступай прочь, паршивая собака, еще раз даю тебе сутки сроку!

Так воскликнул герцог; карлик же, плача, побрел к себе в спальню и принялся жаловаться гусыне на судьбу и на то, что ему не миновать смерти, ведь он никогда не слышал об этой травке.

— В этой беде я могу тебе помочь,— сказала она.— Отец научил меня распознавать все травы. Правда, в другое время тебе не миновать бы смерти, но, по счастью, сейчас как раз новолуние, а об эту пору и цветет та травка. Скажи мне одно,— растут ли поблизости от дворца старые каштановые деревья?

— О да,— с облегчением ответил Нос,— у озера в двухстах шагах от дома их целая купа; но почему пужны именно эти деревья?

— Только у корней старых каштанов цветет эта травка,— сказала Мими,— поэтому нечего терять время попусту, поищем то, что тебе надобно: бери меня под мышку, а на воле спустишь наземь,— я поищу.

Он сделал, как ему было сказано, и вместе с ней направился к воротам дворца. Но там привратник преградил ему путь алебардой и сказал:

— Дорогой мой Нос, миновали твои золотые денечки: тебя не велено выпускать из дворца, на этот счет мне дано строжайшее предписание.

— Но в сад-то мне можно? — возразил карлик.— Будь так добр, пошли одного из твоих подручных к смотрителю дворца, пусть спросит, можно ли мне пойти в сад поискать травы?

Привратник так и сделал, и разрешение было получено, ведь сад обнесеп был высокой стеной, даже и думать нечего было улизнуть оттуда. Когда же Нос с гусыней Мими вышли на волю, он бережно спустил ее наземь, и она быстро побежала впереди него к озеру, где росли каштаны. Он следовал за ней, и сердце у него щемило, это же была его последняя, его единственная надежда; он твердо решил: если гусыня не отыщет пужной травки, лучше уж ему броситься в озеро, чем положить голову на плаху. Но тщетно искала гусыня: она бродила от дерева к дереву, перебирала кловом все травинки, но ничего не находила, и от жалости и страха она принялась плакать, ведь уже вечерело и различать предметы становилось все труднее.

Тут взоры карлика упали на ту сторону озера, и он крикнул:

— Погляди-ка, погляди, по ту сторону озера тоже растет развесистое старое дерево,— пойдём туда и поищем, может быть, там цветет мое счастье.

Гусыня запрыгала и полетела впереди него, а он пустился за ней следом во всю прыть своих коротких ножек: каштановое дерево отбрасывало большую тень, да и вообще уже стемнело,— почти ничего нельзя было разобрать; но вдруг гусыня остановилась, захлопала от радости крыльями, затем быстро сунула голову в

высокую траву, сорвала что-то, грациозно подала в клюве удивленному Носу и сказала:

— Вот эта травка, и растет она здесь в изобилии, так что ты пикогда не будешь терпеть в ней недостатка.

Карлик в раздумье разглядывал травку; от нее исходил пряный запах, который невольно напомнил ему сцену его превращения; стебли и листья были голубовато-зеленого цвета, а цветков огненно-красный с желтой каемкой.

— Слава богу! — наконец воскликнул он. — Вот так чудо! Знай же, по-моему, эта та самая трава, что превратила меня из белки в мерзкого уroda. Не попытаться ли мне счастья?

— Погоди, — взмолилась гусыня. — Возьми с собой горсточку этой травки, вернемся к тебе, собери деньги и все твое добро, а тогда уж испытаем силу травы.

Так они и сделали и отправились обратно к нему в комнату, и сердце у карлика громко колотилось от нетерпения. Он завязал в узелок пятьдесят — шестьдесят скопленных им дукатов, одежду и обувь.

— Если господу богу угодно, сейчас я разделаюсь с этой обузой, — сказал он, сунул нос глубоко в травы и вдохнул их аромат.

Тут он почувствовал, как у него вытягиваются и трещат все суставы, как из плеч подымается голова; он покосился на нос и увидел, что тот все укорачивается и укорачивается, почувствовал, как выпрямляются спина и грудь, как удлиняются ноги.

Гусыня смотрела и удивлялась.

— Ну и большой же ты, ну и красивый! — воскликнула она. — Слава богу, и следов не осталось от того, кем ты был!

Якоб очень этому обрадовался, сложил руки и помолился. Но при всей своей радости он не позабыл, сколь многим обязан гусыне Мими; хотя сердце и влекло его к родителям, благодарность превозмогла этого желание, и он сказал:

— Кому, как не тебе, обязан я тем, что мне даровано снова стать самим собой? Без тебя мне ничем бы не сыскать этой травки, и, значит, я навсегда сохранил бы тот мерзкий облик, а может быть, даже сложил бы голову на плахе. Хорошо же, я не останусь в долгу. Я доставлю тебя к твоему отцу; он сведущ во всяком колдовстве и без труда снимет с тебя чары.

Гусыня заплакала от радости и согласилась на его предложение. Якобу с гусыней удалось незаметными выбраться из дворца, и они пустились в путь к берегу моря — на родину Мими...

...О чем поведать мне дальше? О том, что они счастливо закончили свой путь; что Веттербок снял чары с дочери и, щедро оделив Якоба, отпустил его домой; что тот вернулся в свой родной город и что родители охотно признали в красивом юноше своего пропавшего сына; что на подарки, принесенные от Веттербока, он купил себе лавку и зажил счастливо и припеваючи?

Расскажу только, что после того как Якоб ушел из герцогского дворца, там поднялась страшная тревога: когда герцог на следующий день пожелал выполнить свою клятву и спести кар-

лику голову, в случае если он не разыскал пужных трав,— того и след простыл; гость же утверждал, будто герцог тайком помог ему улизнуть, чтобы не лишиться своего лучшего повара, и обвинил его в нарушении клятвы. Отсюда возникла великая война между обоими властителями, хорошо известная в истории под названием «Травяная война»; было дано не одно сражение, но в конце концов, все-таки заключили мир, и этот мир называют у нас «Паштетным миром», ибо на пиршестве, в ознаменование примирения, повар владетельного князя изготовил Сузерен — короля паштетов, который пришелся герцогу весьма по вкусу.

Так часто незначительнейшие события приводят к крупным последствиям; вот, о господи, история карлика Носа.

Так рассказывал невольник из Франкистапа. Когда он окопчил, шейх Али-Бану велел подать ему и остальным рабам фрукты, дабы они подкрепились, и, пока они ели, беседовал со своими друзьями. А юноши, которых привел сюда старик, всячески расхваливали шейха, его дом и все убранство.

— Поистине, нет времяпрепровождения приятнее, чем слушать рассказчика,— сказал молодой писец.— Я мог бы целыми днями сидеть, поджав ноги, опершись локтем о подушки, подперев лоб рукою, а в другой руке, если бы это было возможно, держа большой кальян шейха, и слушать, и слушать,— такой представлю я себе жизнь в садах Магомета.

— Пока вы молоды и сильны,— сказал старик,— не верю, чтобы вас на самом деле прельщала праздность. Но я согласен: слушая сказку, испытываешь своеобразное очарование. Несмотря на то, что я стар, а мне стукнуло семьдесят шесть лет, несмотря на то, что за свою жизнь я уже многого понаслушался, все же я никогда не пройду мимо, если на углу улицы сидит рассказчик, а вокруг собралось кольцо слушателей, я тоже подсяду к ним и послушаю. Сам переживаешь все приключения, о которых ведется рассказ, наяву видишь людей, духов, фей и весь окружающий их волшебный чудесный мир, который не повстречаешь в обыденной жизни, а потом, когда ты остался один, тебе есть что вспомнить, как запасливому путнику в пустыне есть чем утолить голод.

— Я никогда не задумывался,— вступил в разговор другой юноша,— над тем, в чем, собственно, кроется очарование этих историй. Но я испытываю то же, что и вы. Еще ребенком, когда я капризничал, меня унимали сказкой. Вначале мне было безразлично, о чем идет речь, только не прерывали бы рассказа, только были бы всякие приключения; мне не надоедало слушать басни, которые придумали мудрые люди, вложив в них крупицу собственной мудрости,— басни о лисе и глупой вороне, о лисе и волке, не один десяток рассказов о льве и прочем зверье. Когда я подросток и стал чаще бывать на людях, коротеньких побасенок мне уже было мало: теперь мне хотелось историй подлиннее, повествующих о людях с необычной судьбой.

— Да, мне тоже помнится та пора,— прервал его один из его

друзей.— Любовь к рассказам всякого рода привил нам именно ты. Один ваш невольник умел парассказать столько всякой всячины, сколько может наговорить погонщик верблюдов за путь от Мекки до Медины; покопчив с работой, он усаживался на лужайке перед домом, и мы до тех пор приставали к нему, пока он не начинал свои рассказы, которые тянулись и тянулись, и так до темноты.

— И разве тогда перед нами не открывалась новая, неведомая страна,— отозвался писец,— царство гениев и фей, где в изобилии растут редкостные деревья, где стоят богатые дворцы из смарагдов и рубинов, населенные невольниками-исполинами, которые являются по первому зову, стоит только повернуть пескольку раз кольцо, или потерять чудесную лампу, или вымолвить Соломоново слово, и подносят роскошные яства в золотых чашах? Мы невольно переселялись в ту страну, вместе с Синдбадом ходили в чудесные плаванья, вместе с Гаруном аль-Рашидом, мудрым повелителем правоверных, бродили вечером по улицам, мы знали его визиря Джафара, как самих себя,— словом, мы жили в сказках, подобно тому как ночью живут в снах, и не было для нас за весь день лучшей поры, чем те вечера, когда мы собирались на лужайке и старый невольник заводил свой рассказ. Но скажи нам, старец, в чем, собственно, причина того, что тогда мы столь охотно слушали сказки, что еще и поныне нет для нас времяпрепровождения приятней? В чем, собственно, кроется великое очарование сказки?

— Сейчас скажу,— ответил старик.— Ум человеческий еще легче и подвижней воды, принимающей любую форму и постепенно проникающей в самые плотные предметы. Он легок и волеп, как воздух, и, как воздух, делается тем легче и чище, чем выше от земли он парит. Поэтому в каждом человеке живет стремление вознестись над повседневностью и легче и вольнее витать в горних сферах, хотя бы во сне. Сами вы, мой молодой друг, сказали: «Мы жили в тех рассказах, мы думали и чувствовали вместе с теми людьми»,— отсюда и то очарование, которое они имели для вас. Внимая рассказам раба, вымыслу, придуманному другим, вы сами творили вместе с ним. Вы не задерживались на окружающих предметах, на обычных своих мыслях,— нет, вы все переживали: это с вами самими случались все чудеса,— такое участие принимали вы в том, о ком шел рассказ. Так ваш ум возносился по нити рассказа над существующим, казавшимся вам не столь прекрасным, не столь привлекательным, так ваш дух витал вольней и свободнее в неведомых горних сферах; сказка становилась для вас явью, или, если угодно, явь становилась сказкой, ибо вы творили и жили в сказке.

— Я вас не вполне понимаю,— возразил молодой купец,— по вы правы, говоря, что мы жили в сказке или сказка жила в нас. Я помню еще ту блаженную пору; все свободное время мы грезили наяву: мы воображали, будто нас прибило к пустынным, необитаемым островам, совещались, что предпринять, чем поддержать

нашу жизнь, и часто сооружали мы хижины в диких ивовых зарослях, из жалких плодов готовили себе скудную трапезу, хотя в сотне шагов оттуда, дома, мы могли получить все самое лучшее,— да, была пора, когда мы ожидали появления доброй феи или чудесного гнома, которые подошли бы к нам и сказали: «Сейчас развернется земля, соблаговолите тогда сойти в мой хрустальный дворец и откусать тех яств, что подадут вам мои слуги — мартышки».

Юноши рассмеялись, но согласились, что приятель их говорит сущую правду.

— Еще и поныне,— сказал один из них,— еще и поныне подпадаю я иногда прежним чарам; так, например, я сильно рассердился бы на брата за глупую шутку, если бы он ворвался ко мне и сказал: «Слышал о несчастье с соседом, толстым булочником? Он повздорил с волшебником, и тот из мести превратил его в медведя; и теперь он лежит у себя в комнате и отчаянно ревет». Я б рассердился и обозвал его вралем. Но совсем другое дело, если бы мне поведали, что толстый сосед предпринял далекое странствие в чужие, неведомые края, там попался в руки к волшебнику, а тот обратил его в медведя. Я постепенно перенесся бы в рассказ, странствовал бы вместе с соседом, переживал бы чудеса, и меня бы не очень удивило, если бы он оказался засунутым в шкуру и ходил бы на четвереньках.

— И все же,— сказал старик,— существуют весьма занимательные рассказы, где не появляются ни феи, ни волшебники, ни хрустальные замки, ни духи, подающие редкостные яства, ни птица Рок, ни волшебный конь — это рассказы другого рода, не те, что обычно зовутся сказками.

— Что вы под этим подразумеваете? Объясните получше. Другого рода, чем сказки? — спросили юноши.

— Я думаю, надо делать известное различие между сказкой и теми рассказами, которые обычно зовутся новеллами. Если я скажу, что собираюсь рассказать вам сказку, то вы заранее будете рассчитывать на приключение, далекое от повседневной жизни и происходящее в мире, природа которого отличается от земной. Или, говоря ясней, в сказке вы сможете рассчитывать на появление других существ, а не только смертных людей; в судьбу героя, о котором существует сказка, вмешиваются неведомые силы, феи и волшебники, духи и повелители духов; весь рассказ облекается в необычную, чудесную форму и выглядит примерно так, как наши тканые ковры и рисунки наших лучших мастеров, которые франки зовут арабесками. Правоверному мусульманину запрещено греховно воссоздавать в рисунках и красках человека, творение Аллаха; поэтому на этих тканях мы видим замысловато переплетающиеся деревья и ветви с человеческими головами, людей, переходящих в куст или рыбу,— словом, фигуры, напоминающие обычную жизнь и все же необычные; вы меня понимаете?

— Мне кажется, я догадываюсь,— сказал писец.— Но продолжайте.

— Такова сказка: чудесная, необычная, неожиданная; так как она далека от повседневной жизни, то ее часто переносят в чужие края или в далекую, давно минувшую пору. У каждой страны, у каждого народа есть такие сказки — у турок и у персов, у китайцев и монголов, даже в стране франков, как говорят, много сказок, по крайней мере, так мне рассказывал один ученый гяур; но они не столь хороши, как наши, так как прекрасных фей, обитающих в великолепных дворцах, у них заменяют колдуньи, которых они зовут ведьмами, злобные уродливые существа, живущие в жалких лачугах и вскачь несущиеся через туман, верхом на помеле, вместо того чтобы плыть по небесной лазури в раковине, запряженной грифонами. У них водятся и гномы, и подземные духи, — крохотные нескладные уродцы, которые любят играть злые шутки. Таковы сказки. Совсем иного рода рассказы, которые обычно зовутся новеллами. Они мирно свершаются на земле, происходят в обыденной жизни, и чудесна в них только запутанная судьба героя, который богатеет или беднеет, складывается удачно или неудачно не при помощи волшебства, заклятия или проделок фей, как это бывает в сказках, а благодаря самому себе или странному сплетению обстоятельств.

— Правильно, — подхватил один из юношей. — Такие истории, без всякой примеси чудесного, встречаются и в прекрасных рассказах Шахразады, известных под названием «Тысячи и одной ночи». Большинство приключений султана Гаруна аль-Рашида и его визиря такого рода. Переодевшись, покидают они дворец и сталкиваются с тем или иным необычным явлением, в дальнейшем разрешающимся вполне естественно.

— И все же вам придется признать, — продолжал старик, — что эти новеллы — не худшая часть «Тысячи и одной ночи». А между тем как отличаются они от сказок о принце Бирибинкере, или о трех одноглазых дервишах, или о рыбаке, вытаскившем из моря кубышку, припечатанную печатью Соломона! Но в конечном счете очарование сказки и новеллы проистекает из одного основного источника: мы переживаем нечто своеобразное, необычное. В сказках это необычное заключается во вмешательстве чудесного и волшебного в обыденную жизнь человека; в новеллах же все случается, правда, по естественным законам, но поразительно необычным образом.

— Странно, — воскликнул писец, — странно, что естественный ход вещей в новеллах привлекает нас так же, как и сверхъестественное в сказках! В чем тут дело?

— Дело тут в изображении отдельного человека, — ответил старик, — в сказке такое нагромождение чудесного, человек так мало действует по собственной воле, что отдельные образы и характеры могут быть обрисованы только бегло. Иное в обычных рассказах, где самое важное и привлекающее — то искусство, с каким переданы речь и поступки каждого, сообразно его характеру.

— Поистине, вы правы! — ответил молодой купец. — Я ни

разу не удосужился подумать об этом как следует, смотрел и слушал, ни на чем не останавливаясь, порой забавляясь, порой скучая,— не знаю, собственно, почему. Но вы даете нам ключ к загадке, пробный камень, дабы мы сделали пробу и вынесли правильное суждение.

— Всегда поступайте так,— ответил старик,— и наслаждение для вас возрастет, когда вы научитесь размышлять над тем, что услышали. Но глядите, вон подымается следующий рассказчик.

Так оно и было. И другой раб начал:

МОЛОДОЙ АНГЛИЧАНИН

Господин мой! Я немец по рождению и прожил в ваших краях слишком мало, вот почему я не могу потешить вас персидской сказкой или занимательной историей про султанов и визирей. А потому я прошу позволения рассказать о том, что случилось у меня на родине,— может быть, это вас тоже позабавит. К сожалению, наши истории не всегда столь благородны, как ваши, в них рассказывается не о султанах или наших королях, не о визирях и пашах, которые у нас зовутся министрами юстиции и финансов, а также тайными советниками или еще как-нибудь в этом роде, нет, обычно они протекают в скромной бюргерской среде, если только не повествуют о солдатах.

В южной части Германии расположен городок Грюнвизель, где я родился и вырос. Все такие городишки на одно лицо. В центре небольшая базарная площадь с колодцем, тут же старенькая ратуша, вокруг базарной площади — дома мирового судьи и именитых купцов, а на двух-трех узких улочках обитают остальные жители. Все друг друга знают, всякому известно, где что творится, и когда у пастора, бургомистра или врача к столу подадут лишнее блюдо, то в обеденную пору это известно уже всем. Вечерком дамы ходят друг к другу с визитами — как принято говорить у нас — и обсуждают за чашкой черного кофе и куском сладкого пирога это великое событие, а в результате выясняют, что пастор, вероятно, купил билет в лотерею и выиграл безбожно много денег, что бургомистра «подмазали» или что доктор получил от аптекаря несколько золотых за то, чтобы впредь выписывал рецепты подороже. Вы можете себе представить, о господи, какой неприятностью для города с таким устоявшимся укладом жизни, как Грюнвизель, был приезд человека, о котором никто не знал, откуда он, на какие средства живет, что ему надобно. Бургомистр, правда, видел его паспорт — бумажку, которую у нас всякий обязан иметь при себе.

— Неужто у вас на улицах так беспокойно,— прервал невольника шейх,— что вам необходимо иметь при себе фирман¹ от своего султана, дабы внушать почтение разбойникам?

¹ Ф и р м а н — указ.

— Нет, господин,— ответил тот,— этими бумажками не отпугнешь злоумышленника; заведено же это для порядка, чтобы всякий знал, с кем имеет дело. Так вот, бургомистр изучил паспорт и за чашкой кофе у доктора высказал свое мнение: хотя на паспорте и стоит совершенно правильная виза из Берлина в Грюнвизель, все же за этим что-то кроется, вид у приезжего подозрительный. Бургомистр пользовался в городе большим уважением,— чему ж удивляться, если с тех пор на приезжего стали смотреть косо, как на лицо подозрительное! А образ его жизни не мог разубедить моих сограждан. Приезжий снял за несколько золотых дом, до того пустовавший, привез туда целую фуру со странной утварью — печками, горнами, большими тиглями и зажил там в полном одиночестве. Он даже стряпал на себя сам, у него не бывало ни души, за исключением одного грюнвизельского старичка, на обязанностях которого лежала закупка хлеба, мяса и овощей. Но и тому разрешалось входить только в сени, и там приезжий принимал от него покупки.

Я был десятилетним мальчугом, когда приезжий появился у нас в городе, но и сейчас еще, словно это произошло только вчера, помню то возбуждение, какое произвел в городишке этот человек. После обеда он не ходил, по примеру прочих мужчин, в кегельбан, по вечерам не ходил в гостиницу, чтобы, как другие, выкурить трубку и потолковать о том, что пишут в газетах. Напрасно бургомистр, мировой судья, доктор и пастор по очереди приглашали его к себе отобедать или выкушать чашку кофе; он всякий раз отговаривался под тем или иным предлогом. Поэтому одни считали его ненормальным, другие — евреем, третьи упорно и пастойчиво твердили, что он чародей и волшебник. Мне минуло восемнадцать, двадцать лет — и все еще этого человека называли у нас «приезжим».

Вот как-то случилось, что в город к нам пришли люди с заморскими зверями. Такие бродячие комедианты, с верблюдом, умеющим кланяться, пляшущим медведем, потешными, наряженными по-человечьи собаками и обезьянами, обученными разным штукам, проходят обычно по городу, останавливаются на перекрестках и площадях, извлекают из дудочки и барабана весьма неблагозвучную музыку, под которую их труппа пляшет и прыгает, а затем собирают по домам деньги. Труппа, появившаяся в Грюнвизеле, на этот раз отличалась огромным орангутангом, почти в рост человека, ходившим на задних лапах и вытворявшим всякие забавные куштыюки. Собачья и обезьянья труппа очутилась также и перед домом приезжего господина. Вначале, когда раздалась звуки барабана и дудки, он сердито глянул через потускневшее от времени окно. Но затем подобрел, высунулся, к общему удивлению, из окна и от души смеялся над проделками орангутанга. Он даже заплатил за развлечение такой крупной серебряной монетой, что весь город судачил потом об этом.

Наутро звериная труппа тронулась в путь. Верблюд нес множество корзинок, в которых удобно сидели собаки и обезьяны,

а поводыри и большая обезьяна шли следом за верблюдом. Несколько часов спустя после того, как они вышли за городские ворота, приезжий послал на почтовую станцию и, к великому удивлению станционного смотрителя, спешно потребовал карету и почтовых лошадей, выехал через те же ворота и двинулся по тому же тракту, что и звери. Весь городишко был вне себя от досады, так как никто не знал толком, куда он отправился.

Было уже темно, когда приезжий подъехал к тем же городским воротам. В карете сидел еще кто-то, надвинув шляпу на самый лоб, а уши и рот повязав шелковым платком. Писарь при заставе почел своей обязанностью заговорить с новым приезжим и попросить у него паспорт; по тот ответил весьма неучтиво, буркнув что-то на совершенно непонятном языке.

— Это мой племянник, — вежливо сказал приезжий писарю, сунув ему в руку несколько серебряных монет, — это мой племянник, и пока что он плохо понимает по-немецки. Он сейчас как раз выругался на своем родном диалекте по поводу задержки.

— Ну, ежели это племянник вашей милости, — ответил писарь, — то пусть себе едет без паспорта. Верно, он будет проживать у вас?

— Разумеется, — сказал приезжий, — и, должно быть, пробудет здесь сравнительно долго.

У писаря не было больше возражений, и приезжий с племянником въехали в городок. Впрочем, бургомистр, а с ним и весь город досадовали на писаря. Мог бы, по крайности, запомнить несколько слов, сказанных на языке племянника. Тогда хоть узнали бы, уроженцами какой страны были они с дядей. Писарь уверял, будто он говорил не по-французски и не по-итальянски, а скорее по-английски, речь его звучала как-то растянуто, и, если он не ошибается, молодой человек сказал: «Goddam!»¹ Так писарь и сам выпутался из беды, и молодому человеку помог приобрести национальность. Теперь в городишке только и разговору было что о молодом англичанине.

Но молодой англичанин тоже не показывался ни в кегельбачне, ни в пивном погребе; зато он, правда другим способом, давал много пищи людским толкам. Так, часто случалось, что в обычно столь тихом доме приезжего подымались страшные крики и возня, вот почему люди, задравши головы, толпились перед домом. Молодой англичанин, в красном фраке и зеленых штанах, взломаченный и страшный, метался с невероятной быстротой по всем комнатам от окна к окну, а дядюшка-приезжий в красном шлафроке гонялся за ним с арапником; чаще всего он промахивался, но несколько раз любопытным, собравшимся перед домом, почудилось, будто он задел юношу, они слышали жалобные, испуганные стоны и шелканье клюта. Дамы нашего городка пригляди близко к сердцу суровое обращение с молодым человеком и в конце концов упросили бургомистра вмешаться в это дело. Он послал

¹ Английское ругательство, обозначающее: проклятие.

приезжему господину записку, в которой в довольно резких выражениях порицал его за суровое обращение с племянником и грозил, буде такие сцены не прекратятся и впредь, взять молодого человека под свою защиту.

Но каково было удивление бургомистра, когда, впервые за десять лет, у него в доме появился приезжий господин! Он оправдывал свое поведение особыми обязанностями, возложенными на него родителями юноши, которые поручили ему его воспитание; в общем, это умный, смысленный мальчик, уверял он, по языки даются ему с большим трудом; он же от всей души желает научить племянника бегло говорить по-немецки, дабы взять на себя смелость впоследствии ввести его в грюпвизельское общество; между тем язык этот он усваивает с таким трудом, что часто не остается ничего другого как выпороть его надлежащим образом. Бургомистр был вполне удовлетворен его объяснениями и вечером в погребке рассказывал, что редко встречал человека столь образованного и учтвого, как приезжий. «Жаль только, что он так мало бывает в обществе,— прибавлял он,— но как только его племянник научится немножко говорить по-немецки, он, я полагаю, будет часто посещать мои журфиксы».

Этого было достаточно, чтобы общество в корне изменило свое мнение. О приезжем теперь отзывались как о человеке учтвом, стремились ближе с ним познакомиться и считали вполне в порядке вещей, когда в безлюдном доме время от времени подымался ужасающий крик. «Он преподает племяннику немецкий язык»,— говорили грюпвизельцы и шли своей дорогой. К концу третьего месяца обучение немецкому языку как будто закончилось: дядюшка принял теперь за следующую ступень. В городе проживал хилый старик-француз, обучавший молодежь танцам. Приезжий призвал его и предложил давать уроки его племяннику. Он намекнул, что хотя тот и очень понятлив, но, что касается танцев, несколько своеволен; он уже брал уроки у другого танцмейстера, и тот обучил его таким рискованным антраша, что выступать с ними в обществе неудобно; племянник же именно поэтому считает себя искусным танцором, хотя в его танцах нет даже отдаленнейшего сходства с вальсом или галопом (это, о господин мой, танцы, которые приняты у меня на родине), нет даже сходства с экосезом или франсезом. Впрочем, приезжий обещал по талеру за урок, и танцмейстер с радостью согласился взять на себя обучение своевольного юноши.

Француз уверял потом «по секрету», что не видел ничего более необычного, чем эти уроки танцев. Племянник, довольно высокий, стройный юноша, пожалуй, только несколько коротконогий, всегда являлся на урок тщательно завитой, в красном фраке, широких зеленых штанах и белых лайковых перчатках. Говорил он мало и с иностранным акцентом; сначала бывал довольно благоправен и понятлив, но затем вдруг принимался гримасничать и прыгать, откалывал лихие пируэты и выкидывал такие антраша, что танцмейстер терял голову; когда же он про-

бывал его образумить, тот стаскивал с ног изящные туфли, запускал ими французу прямо в голову и принимался прыгать по всей комнате на четвереньках. На шум прибежал из спальни старик дядя в широком красном шлафроке, в золотом бумажном колпаке на голове и не очень ласково гладил племянника арапником по спине. Тогда племянник раздражался громким воем, забирался на столы и шкафы, даже на оконные карнизы и говорил на чужом, непонятном языке. Но старик в красном шлафроке не сдавался, стаскивал его за ногу, лупил что есть мочи и пряжкой стягивал ему потуже шейный платок, после чего племянник каждый раз становился благонаправленным и чинным, и урок танцев продолжался без новых помех.

Когда же танцмейстер настолько подвинул своего питомца, что можно было пригласить на урок музыканта, племянник будто переродился. Подрядили скрипача из городского оркестра и усадили его на стол. Танцмейстер изображал даму, для чего дядюшка нарядил его в шелковую юбку и индийскую шаль; племянник приглашал его и принимался с ним танцевать и вальсировать; а танцором он был неутомимым, рьяным, он не выпускал учителя из своих длинных рук, сколько бы тот ни охал и ни кричал, и танцевать приходилось до упаду или до тех пор, пока рука музыканта не отказывалась водить смычком. Танцмейстера эти уроки чуть не свели в могилу, по талер, который он аккуратно получал каждый раз в уплату, и хорошее вино, которым потчевал его приезжий, делали свое дело, и он снова приходил на урок, хотя накануне и зарекался переступить порог безлюдного дома.

Но грюнвизельцы смотрели на это дело совсем не так, как француз. Они считали, что у молодого человека много данных для светского образа жизни, а дамы испытывали большой недостаток в кавалерах и посему радовались, что к зимнему сезону получают такого лихого танцора.

Однажды утром служанки, возвратясь с базара, сообщили своим господам о необычайном происшествии. Перед безлюдным домом стояла роскошная зеркальная карета, запряженная рысакми, и лакей в пышной ливрее держал дверцу. Тут распахнулись двери безлюдного дома, и двое нарядных господ вышли оттуда: один был старик приезжий, а другой, по всей вероятности, молодой человек, с таким трудом научившийся немецкому языку и такой рьяный танцор. Оба сели в карету, лакей вскочил на запятки, и карета — вы только представьте себе! — покатила прямо к бургомистрову дому.

Хозяйки, выслушав рассказ своих служанок, мигом сорвали с себя не отличавшиеся безупречной чистотой кухонные передники и чепцы и привели себя в надлежащий вид. «Совершенно ясно, — говорили они своим домочадцам, которые суетились, наводя порядок в гостиной, одновременно служившей и для других целей, — совершенно ясно, что приезжий решил вывезти племян-

ника в свет. Старый дурак за десять лет ни разу не счит нужным побывать у нас в доме; но ради племянника, как говорят, молодого человека с большим шармом, ему можно это простить». Так говорили они и наставляли своих сыновей и дочерей, чтобы те при приезжих вели себя чинно, держались прямо и пользовались более изысканной речью, чем обычно. И городские умницы угадали,— всех по очереди объезжали дядюшка с племянником, стараясь списать благоволение каждого семейства.

Всюду только и разговору было что о них, и все жалели, что не приобрели уже раньше столь приятного знакомства. Старик держал себя с достоинством и умно, правда, разговаривая, он улыбался, так что нельзя было сказать с уверенностью, говорит ли он серьезно или нет, а разговаривал он о погоде, о нашей местности, о приятности в летнюю пору погребка на горе,— говорил так разумно и рассудительно, что грюнвизельцы были очарованы. О племяннике и говорить нечего! Он очаровал всех, завоевал все сердца. Правда, что касается наружности, с лица его нельзя было назвать красивым; подбородок и особенно нижняя челюсть слишком выдавались вперед, и цвет лица был чересчур смугл, да еще он подчас корчил уморительные рожи, закрывал глаза и скалил зубы, но все же, по общему мнению, черты лица у него были оригинальные и интересные. Трудно было себе представить более подвижную, более ловкую фигуру. Правда, костюм как-то странно сидел на нем, но все ему замечательно шло; он с чрезвычайной живостью бегал по комнате, присаживался то на софу, то на кресло, вытягивал ноги; но то, что у другого молодого человека сочли бы нарушением хорошего тона и в высшей степени вульгарным, в данном случае признавали гениальностью. «Он англичанин,— говорили окружающие,— а они все таковы: англичанин может растянуться на канапе и заснуть в присутствии десяти дам, которым некуда сесть, так что они принуждены стоять около него; на англичанина за это нельзя сердиться». А старика дядю он слушался беспрекословно: достаточно было строгого взгляда, чтобы образумить его, когда он пускался вприпрыжку по комнате или вытягивал ноги на стул, что делал очень охотно. Да и как можно было сердиться на него, когда дядя в каждом доме говорил хозяйке: «Племянник мой еще несколько дик и невоспитан, но я крепко надеюсь на общество: оно его отшлифует и образует как следует, и именно вашим заботам я поручаю его особенно настоятельно».

Итак, племянника вывезли в свет. И в этот и в последующие дни в Грюнвизеле только и разговору было что об этом событии. Но дядюшка на том не остановился; казалось, он совершенно переменил и образ мыслей, и строй жизни. После полудня отправлялся он вместе с племянником в погребок, что на горе, где пила пиво и развлекалась кеглями грюнвизельская знать. Племянник играл мастерски — он никогда не сшибал меньше пяти или шести кеглей зараз; правда, время от времени на него как будто что накатывало: вдруг ни с того ни с сего сорвется вслед за шаром

и учинит среди кеглей суший погром, или, сшибив короля, станет на голову, не падя своей изящно завитой прически, и дрыгает в воздухе ногами; в другой раз не успеешь и оглянуться, как он уже сидит на крыше проезжающей мимо кареты и строит оттуда рожи; проедет немножко, спрыгнет и снова вернется к обществу.

Всякий раз, как разыгрывались такие сцены, дядюшка усердно извинялся перед бургомистром и прочими за озорство племянника; они же смеялись, приписывали все его молодости, уверяли, будто и сами в его возрасте отличались таким же проворством, и обожали «молодого повесу», как они его называли.

Случалось им и в порядке на него сердиться, однако они не решались выразить свое недовольство, ведь молодой англичанин слыл за образец начитанного и разумного юноши. По вечерам старик с племянником хаживали и в местную гостиницу «У золотого оленя». Хотя племянник был еще совсем молодым человеком, держал он себя стариком, усаживался за столик, надевал невероятные очки, вытаскивал длинную трубку, закуривал и дымил пуще всех. А когда разговор заходил о том, что пишут в газетах, о войне и мире, и доктор высказывал одно мнение, бургомистр другое, а прочие поражались столь глубоким политическим познанием, то племяннику могло вдруг прийти в голову проявить совершенно противоположное мнение; он ударял по столу рукой, с которой никогда не снимал перчатки, и самым недвусмысленным образом давал понять бургомистру и доктору, что они ничего толком не смыслят, что он слышал совсем иное и понимает в этих делах гораздо больше. Затем он выражал на странном ломаном немецком языке свое мнение, которое, к великой досаде бургомистра, все признавали совершенно правильным, ведь он же англичанин, как же ему не знать все гораздо лучше прочих.

Когда же затем бургомистр и доктор, разозлясь, но не решаясь вслух высказать свое недовольство, садились за партию в шахматы, то племянник придвигался к ним поближе, заглядывал сквозь свои большие очки бургомистру через плечо и критиковал тот или иной ход, говорил доктору, что ему надлежало бы пойти так-то и так-то, и оба игрока втайне приходили в ярость. Когда же затем бургомистр ворчливо предлагал ему сыграть с ним партию, чтобы по всем правилам объявить ему мат, ибо он считал себя вторым Филлидором¹, то дядя потуже стягивал племяннику шейный платок, после чего тот становился послушным и чинным и делал бургомистру мат.

До тех пор грюпвизельцы чуть не каждый вечер развлекались картами, по полкрейцеру за партию; племянник счел эту ставку мизерной, стал ставить кроненталеры и дукаты, утверждал, будто никто не играет столь искусно, как он, но затем обычно проигрывал невероятные суммы, что снова примирило с ним разобидевшихся было партнеров. И они ни капли не совестились, забирая у него столько денег. «Ведь он же англичанин, а значит,

¹ Ф и л и д о р (1726—1795) — французский композитор и шахматист.

богат от рождения», — говорили они и клали дукаты себе в карман.

Итак, племянник приезжего господина в скором времени стал пользоваться пезаурядным уважением в городе и во всей округе. Старожилы не запомнили, чтобы в Грюнвизеле когда-нибудь видели подобного молодого человека; он был самым оригинальным явлением на свете. Нельзя сказать, чтобы племянник чему-либо обучался, — разве только танцам. Латышь и греческий были для него, как принято говорить, китайской грамотой. Однажды во время какой-то игры в доме у бургомистра ему пришлось написать несколько слов, и оказалось, что он не умеет подписать даже собственную фамилию; в географии делал он самые удивительные ошибки: ему ничего не стоило пересадить немецкий город во Францию или датский в Польшу; он ничего не читал, ничему не учился, и пастор часто задумчиво качал головой, сокрушаясь о неведении молодого человека; тем не менее все, что он делал и говорил, находили прекрасным, а он был таким наглецом, что всегда считал себя правым и все свои речи заканчивал словами: «Я это лучше знаю!»

Так подошла зима, вот тут-то слава племянника расцвела еще пуще. Любую компанию без него считали скучной; когда разумный человек высказывал свое мнение, все зевали; когда же племянник изрекал на плохом пемецком языке нелепейший вздор, все развешивали уши. Теперь выяснилось, что этот во всех отношениях совершенный молодой человек вдобавок еще и поэт: редкий вечер не вытаскивал он из кармана листа бумаги и не прочитывал обществу сонета. Правда, нашлось несколько человек, утверждавших, будто одни его стихотворения плохи и бессмысленны, а другие они уже где-то читали в напечатанном виде; но племянник, несколько не смущаясь, продолжал декламировать, а затем обращал общее внимание на красоту своих стихов, и всякий раз имел шумный успех.

Но настоящим триумфом были для него грюнвизельские балы. Он не знал устали в танцах, никто не танцевал так быстро, как он, никто не проделывал столь рискованных и необыкновенно грациозных антраша. При этом дядя всегда одевал его чрезвычайно нарядно и по последней моде, и хотя костюм обычно сидел на нем как-то нескладно, все находили, что одет он прекрасно и очень к лицу. Правда, остальные кавалеры были несколько обижены введенным им новым порядком. Прежде бал открывал бургомистр собственной персоной, а затем распоряжаться танцами предоставлялось молодым людям из лучших семей; но с появлением приезжего молодого человека все изменилось. Без дальних слов брал он любую подвернувшуюся ему даму за руку, становился с ней в первую пару, делал все, как ему заблагорассудится, и оказывался хозяином, распорядителем и королем бала. Дамы находили такую манеру превосходной и весьма приятной, мужчины не смели возражать, и племянник оставался в том сани, в который возвел себя сам.

Казалось, дядюшке балы доставляли особое удовольствие: он глаз не спускал с племянника и все время тихонько посмеивался, а когда гости спешили к нему, рассыпаясь в похвалах учтивому, благовоспитанному юноше, он не мог совладать с собой от радости, разражался веселым смехом и вел себя как безумный. Грюнвизельцы приписывали такие бурные проявления веселости его большой любви к племяннику и находили это вполне естественным. Но время от времени дяде приходилось прибегать к отеческому внушению: молодой человек во время изящнейшего танца мог ни с того ни с сего одним прыжком очутиться на помосте, где восседал городской оркестр, вырвать контрабас из рук капельмейстера и отчаянно запиликать на нем; или он вдруг переворачивался и тащевал на руках, а ногами дрыгал в воздухе. Тогда дядя обычно отводил его в сторону, строго журил, туже стягивал ему шейный платок, и племянник опять становился шелковым.

Так вел себя племянник в обществе и на балах. Но, как это обычно бывает, дурные привычки прививаются куда легче хороших, и в новой оригинальной моде, как бы она ни была нелепа, всегда есть что-то притягательное для молодежи, еще не задумывающейся над собой и жизнью. Так обстояло дело и в Грюнвизеле. Увидев, что племянника не бранят, а даже превозносят его пелепые манеры, неучливый смех и болтовню, за грубые ответы старшим, что это даже находят гениальным, молодые люди решили: «Стать таким гениальным повесой не трудно». Прежде это были прилежные, дельные юноши; теперь они думали: «К чему ученость, когда невежество дает куда больше?» Они отложили в сторону книги и стали слоняться по улицам и площадям. Прежде они были учтивы и вежливы со всеми, дожидались, пока их не спросят, и отвечали пристойно и скромно, теперь они становились на одну доску со взрослыми, болтали вместе с ними, высказывали свое мнение, смеялись в лицо самому бургомистру, когда он что-нибудь говорил, и утверждали, будто знают все лучше других.

Прежде грюнвизельская молодежь терпеть не могла грубости и бессмысленного времяпрепровождения. Теперь молодые люди распевали озорные песни, курили огромные трубки и шатались по кабакам. Они купили себе также большие очки, хотя видели отлично, нацепили их на нос, и считали себя взрослыми, потому что теперь уподобились хваленому племяннику. Дома и в гостях они растягивались в сапогах и шпорах на канapé, раскачивались на стуле в хорошем обществе или, подперев кулаками щеки, ставили локти на стол, что представляло весьма приятную картинку. Напрасно твердили им матери и друзья, сколь все это глупо, сколь неприлично,—они же ссылались на блестящий пример племянника. Напрасно доказывали им, что племяннику как англичанину приходится прощать некоторую грубость, свойственную его нации, грюнвизельская молодежь утверждала, что не меньше любого англичанина имеет право быть невоспитанной на гениаль-

ный манер,— коротко говоря, жалко было смотреть, как, под влиянием дурного примера, совершенно исчезли в Грюнвизеле добрые нравы и обычаи.

Но недолго радовалась молодежь такой грубой, разгульной жизни. Следующее событие сразу все изменило. Зимние увеселения должны были закончиться большим концертом, исполненным частично музыкантами городского оркестра, частично искусными грюнвизельскими любителями музыки. Бургомистр превосходно играл на виолончели, а доктор на фоготе, аптекарь, хотя и не обладал настоящим дарованием, играл на флейте, несколько грюнвизельских девиц разучили арии,— словом, программа была составлена прекрасно. Но, по мнению приезжего, концерту такого рода, хотя и превосходному, явно недостает дуэта, потому что в каждом порядочном концерте необходим дуэт. Эти слова вызвали некоторое замешательство: правда, дочь бургомистра пела, как соловей, но где раздобыть кавалера, который мог спеть с ней дуэт? В конце концов вспомнили о старом органисте, в свое время певшем роскошным басом, но приезжий уверял, будто все эти хлопоты излишни,— его племянник превосходно поет. Все были поражены вновь открывшимся замечательным талантом юноши; ему пришлось спеть кое-что для пробы, и, если не считать некоторых странных повадок, которые сочли за английские, пел он, как ангел. Итак, спешно разучили дуэт, и вот наконец настал вечер, во время которого грюнвизельцам предстояло усладить свой слух концертом.

К сожалению, дядюшка заболел и не мог присутствовать при триумфе своего племянника, но он передал бургомистру, навестившему его за час до концерта, кое-какие распоряжения относительно своего питомца.

— Племянник мой — добрая душа,— сказал он,— но время от времени в голову ему приходят странные мысли, и тогда он ведет себя нелепо; именно поэтому я весьма сожалею, что не могу присутствовать на концерте, меня-то он побаивается, и сам знает почему! К чести его, я должен сказать, что эти проказы не духовного, а скорее физического порядка, они свойственны его природе; не будете ли вы, господин бургомистр, так любезны, если ему ни с того ни с сего взбредет на ум усестыся на нотный пюпитр, или во что бы то ни стало провести смычком по контрабасу, или еще что-нибудь в том же роде, не сообразован ли вы несколько ослабить его шейный платок, а если и это не поможет, снимите платок вовсе. Вот увидите, каким он сразу станет послушным и чинным!

Бургомистр поблагодарил болящего за доверие и обещал, если понадобится, поступить по его совету.

Зал был переполнен, на концерт явились не только грюнвизельцы, гости съехались со всей округи. Охотники, пасторы, чиновники, помещики и все прочие, живущие на расстоянии трех часов езды, прибыли с чадами и домочадцами, дабы разделить с грюнвизельцами редкое наслаждение. Музыканты из городско-

го оркестра не ударили в грязь лицом; вслед за ними выступил бургомистр, исполнивший партию на виолончели под аккомпанемент аптекаря, который играл на флейте; после них органист с шумным успехом пропел басовую арию; немало также хлопали и доктору, который играл на фаготе.

Первое отделение закончилось, и все с нетерпением ждали второго, в котором молодой приезжий и бургомистрова дочь должны были исполнить дуэт. Племянник явился в шикарном костюме и уже давно привлекал внимание присутствующих. Не долго думая, развалился он на великолепном кресле, предназначенном для некоей графини, проживающей по соседству, вытянул ноги и, не довольствуясь большими очками, рассматривал всех в невероятных размеров бинокль, да еще возился с огромным меделянским псом, которого захватил с собой, несмотря на запрещение вводить в зал собак. Графиня, для которой было приготовлено кресло, вошла в зал, но племянник и не подумал встать и уступить ей место, — наоборот, уселся еще удобнее, и никто не решился сделать молодому человеку замечание; а знатной даме пришлось сидеть на самом обыкновенном соломенном стуле среди прочих женщин нашего города, чем, как говорят, она осталась весьма недовольна.

Во время отменной игры бургомистра, во время превосходной басовой арии органиста, даже во время фантазии, исполненной доктором на фаготе, когда все слушали, затаив дыхание, племянник приказывал собаке приносить ему носовой платок или громко болтал с соседями, так что те, кто его не знал, поражались странному поведению молодого человека.

Поэтому нет ничего удивительного, что все с любопытством ждали, как он исполнит дуэт. Началось второе отделение; музыканты городского оркестра сыграли небольшой номер, бургомистр в сопровождении дочки подошел к молодому человеку, передал ему ноты и сказал:

— Мосье! Не угодно ли вам выступить в дуэте?

Молодой человек расхохотался, оскалил зубы, вскочил и вместе с ними последовал к пиюитру, а все общество замерло в ожидании. Капельмейстер взмахнул палочкой и кивнул племяннику, чтобы он начал. А тот глянул сквозь свои большие очки на ноты и испустил отвратительные, жалкие звуки. Капельмейстер крикнул ему:

— На два тона ниже, уважаемый! До, вам надо взять до!

Но, вместо того чтобы взять до, племянник снял с одной ноги ботинок и запустил им капельмейстеру в голову, да так, что взвилось облако пудры. Увидя такое, бургомистр подумал: «Ах, вот опять нашли на него его причуды физической природы»; он подскочил, схватил его за шею и немпожко ослабил его шейный платок, но теперь молодой человек разошелся пуще прежнего. Он запрыгал и заговорил, но не по-немецки, а на каком-то странном, никому не понятном языке. Бургомистр был в отчаянии от такой досадной помехи; он подумал, что с молодым человеком

творится нечто совсем непонятное, и поэтому решил снять с него шейный платок. Но не успел он это сделать, как окаменел от ужаса; вместо человеческой кожи нормального цвета шея молодого человека была покрыта темно-коричневой шерстью, а сам он тут же запрыгал еще выше и чуднее, запустил свои лайковые перчатки в волосы, потянул, и — о, чудо! — его прекрасные волосы оказались париком, который он швырнул бургомистру в физиономию; теперь голова его предстала в новом виде — покрытая такой же коричневой шерстью, что и шея.

Он пустился вскачь по столам и скамьям, опрокинул пюпитры для нот, переломал скрипки и кларнеты и вел себя как безумный.

— Держи, держи его! — вне себя кричал бургомистр. — Он с ума сошел, держи его!

Но сделать это было не так-то просто, — он снял перчатки и показал когти, которыми пребольно дарапался. Наконец одному отважному охотнику удалось с ним справиться. Он так сжал ему длинные руки, что теперь тот только дрыгал ногами и хохотал и кричал хриплым голосом. Вокруг толпилась публика и с недоумением глядела на странного юношу, теперь уже совсем непохожего на человека. Но один проживавший по соседству ученый, у которого был настоящий музей предметов натуральной истории и целая коллекция чучел животных, подошел поближе, внимательно посмотрел на него и с удивлением воскликнул:

— Господи боже мой, милостивые государыни и милостивые государи, как допустили вы это животное в порядочное общество? Да ведь это же обезьяна. Homo Troglodytes Linnaei. Уступите его мне, я тут же дам вам шесть талеров, сдери с него шкуру, и пабью его чучело для своей коллекции.

Кто опишет удивление грюнвизельцев, когда они услышали эти слова!

«Как? Обезьяна, орангутанг в нашем обществе? Молодой приезжий просто-напросто обезьяна?» — восклицали они и глядели друг на друга, огупев от неожиданности. Они не могли понять, не могли поверить собственным глазам, мужчины подвергли его более тщательному осмотру. Но он как был, так и остался самой обыкновенной обезьяной.

— Но как же это возможно, — воскликнула бургомистерша, — ведь он же часто читал мне свои стихи! Ведь он не раз обедал у меня, как и прочие люди!

— Что? Как же так, ведь он пивал у меня кофе, часто и помногу и по-ученому разговаривал с моим мужем и курил? — всполошилась докторша.

— Как! Разве это возможно, — подхватили мужчины, — ведь он же катал с нами шары в кегельбане и спорил о политике, как нам подобный?

— Ну как же так! Ведь у нас на балах он вел танцы! — жаловались все. — Обезьяна! Обезьяна! Это чудеса, колдовство!

— Да, это колдовство и дьявольское наваждение, — сказал

бургомистр, показывая шейный платок племянника, или, если хотите, обезьяны.— Глядите! Это волшебный шарф, с его помощью он нас околдовал. В платок вшита широкая полоса эластичного пергамента, на которой выведены какие-то диковинные письмена. Мне даже сдается, будто это по-латыни. Кто-нибудь может прочитать?

Пастор, ученый человек, проигравший обезьяне не одну партию в шахматы, поглядел на пергамент и сказал:

— Нет, только буквы латинские, а написано здесь:

Смешно смотреть, как обезьяна
За яблоко берется рьяно.

— Да, это адский обман,— продолжал он,— своего рода колдовство, и заслуживает примерного наказания.

Бургомистр был того же мнения и тотчас же отправился к приезжему, который, несомненно, был волшебником, а шесть полицейских несли обезьяну, собираясь тут же приступить к допросу.

В сопровождении несметной толпы подошли они к безлюдному дому, ведь всякому хотелось посмотреть, что произойдет дальше. Принялись стучать в дверь, звонить в звонок,— все напрасно, никто не показывался. Тогда бургомистр, разозлившись, приказал высадить двери и отправился наверх, в дядюшкину спальню. Но там пашли только старую домашнюю утварь. Приезжего и след простыл. Но на его письменном столе лежало адресованное бургомистру большое припечатанное печатью письмо, которое тот тут же и вскрыл. Он прочитал:

«Милые грюнвизельцы!

Когда вы вскрыете это письмо, меня уже не будет в вашем городке, а вам уже давно будет известно, какого роду-племени мой милый племянник. Отнеситесь к шутке, которую я позволил себе сыграть с вами, как к хорошему уроку и впредь не навязывайте приезжему, желающему жить по-своему, ваше общество! Я знаю себе цену и потому не хотел вместе с вами погрязнуть в вечных сплетнях, усвоить ваши глупые обычаи и смешные манеры. Вот почему я и воспитал себе в заместители молодого орангутанга, столь вам полюбившегося. Будьте здоровы и используйте по мере сил сей урок».

Грюнвизельцам было очень стыдно перед всей округой. Утешались они только тем, что это случилось при помощи сверхъестественных сил; по больше других стыдилась грюнвизельская молодежь того, что переняла дурные привычки и повадки обезьяны. Отныне они уже не клали локтей на стол, не качались на стуле, молчали, пока их не спросят; они сняли очки и стали по-прежнему вежливы и благонравны, а если кому случалось снова вспомнить те нелепые манеры дурного топа, то грюнвизельцы говорили: «Вот так обезьяна!» А обезьяну, так долго игравшую роль молодого человека, сдали на руки тому ученому, у которого

был кабинет предметов натуральной истории. Орангутанг и поны не разгуливает у него по двору; ученый кормит его и как диковинку показывает всякому гостю.

Когда невольник кончил, зала огласилась смехом, и юноши тоже смеялись вместе со всеми.

— Должно быть, страшные люди эти франки, и, правду говоря, я предпочту жить здесь в Александрии с шейхом и муфтием, чем в Грюнвизеле в обществе пастора, бургомистра и их глупых жен!

— В этом ты прав,— подхватил молодой купец.— Не хотелось бы мне умереть в Франкстапе. Франки — грубые, дикие варвары, и для образованного турка или перса жить среди них было бы очень тягостно.

— Об этом вы сейчас кое-что услышите,— пообещал старик.— Насколько я знаю от надсмотрщика пад рабами, вот тот красивый юноша расскажет нам много о Франкистане, хотя по рождению он мусульманин, но прожил он там долго.

— Как? Вот тот, что сидит последним в ряду? Поистине, грех шейху отпускать его на волю! Это самый красивый раб во всем краю. Посмотрите, какое у него мужественное лицо, какой смелый взгляд, какая стройная стать. Шейх мог бы повелеть не назначать его на тяжелую работу. Пусть отгоняет от шейха мух или подает ему трубку. Нести подобную службу — одно удовольствие; а такой невольник поистине украшение для дома. Оп тут всего три дня, и шейх уже отпускает его? Это безумие, грех!

— Не осуждайте того, кто мудрей всех в Египте! — с особой выразительностью сказал старик.— Ведь я вам уже говорил, — он отпускает его на волю, думая заслужить тем милость Аллаха. Вы говорите — раб красив и статен, и это правда. Но сын шейха, — да возвратит его пророк в отчий дом! — сын шейха был красивым мальчиком и теперь тоже вырос бы в высокого и статного юношу; что же, по-вашему, шейху следует приберечь деньги и отпустить на волю дешево стоящего скрюченного от старости раба, а самому рассчитывать получить за это обратно сына? Кто хочет что-либо сделать на этом свете, пусть делает это хорошо или не делает вовсе!

— Глядите-ка, шейх не спускает глаз с этого раба. Я уже давно это заметил. Слушая рассказчиков, он часто бросал в ту сторону взгляд и задерживал его на благородных чертах молодого раба, что будет сегодня отпущен на волю. Наверное, ему все-таки жалко отпускать его!

— Не думай так о шейхе! Ты полагаешь, ему жалко тысячи туманов, когда ежедневно он получает втрое больше! — сказал старик.— Верно, взгляд его с горестью покоится на молодом рабе потому, что шейху вспоминается сын, испытывающий на чужбине; он, верно, думает: быть может, там найдется сострадательный человек, который выкупит его и вернет отцу.

— Возможно, вы правы,— ответил молодой купец.— Да будет мне стыдно, что я всегда приписываю людям мелочные и неблагородные помыслы, в то время как вы предпочитаете во всех их деяниях усматривать благие намерения. И все же, как правило, люди плохи; разве вы не пришли к тому же убеждению?

— Именно потому, что я не пришел к такому убеждению, я охотно думаю о людях хорошее,— ответил тот.— Со мной было так же, как с вами. Я жил каждодневными заботами; мне пришлось наслушаться много плохого про людей, самому на себе испытать много дурного, и я начал считать всех людей злыми. Но я подумал, что Аллах— столь же справедливый, сколь мудрый,— не потерпел бы на нашей прекрасной земле порочного рода человеческого. Я начал размышлять о том, что видел, о том, что пережил,— и что же оказалось? — я помнил только зло, а добро забывал! Я не замечал, когда кто-либо творил дело милосердия, я считал вполне естественным, когда целые семьи вели добродетельную и праведную жизнь. Но всякая весть о злом и дурном западала мне в сердце. Теперь я иными глазами смотрю на окружающее. Меня радует, когда добрые всходы не так скудны, как я полагал раньше; я меньше замечаю зло, или же оно не так бросается мне в глаза, и я научился любить людей, научился считать их хорошими и за свою долгую жизнь реже ошибался, когда хорошо отзывался о человеке, чем когда считал его скупым, глупым и безбожным.

На этих словах старца прервал подошедший к нему надсмотрщик над рабами.

— Господин мой, александрийский шейх Али-Бану,— сказал он,— с благосклонностью заметил ваше присутствие в зале; он приглашает вас занять место подле него.

Юноши считали старика нищим и потому немало подивились чести, выпавшей ему на долю, и когда он отошел, чтобы занять свое место около шейха, задержали надсмотрщика, и пирец спросил:

— Заклинаю тебя бородою пророка, скажи, кто этот старик, с которым ты говорил и которого так почитает наш шейх?

— Как! — воскликнул надсмотрщик и от удивления даже руками всплеснул.— Вы не знаете этого человека?

— Нет, мы не ведаем, кто он.

— Но ведь я не раз видал, как вы беседовали с ним на улице, и шейх, мой господин, тоже это заметил и только недавно еще сказал: «Должно быть, это достойные юноши, раз такой человек почтил их своей беседой».

— Так скажите же, кто это! — в крайнем нетерпении воскликнул молодой купец.

— Полноте, вы потешаетесь надо мной,— ответил надсмотрщик.— В этот покой допускаются только по приглашению, а сегодня старик просил меня узнать у шейха, не соизволит ли шейх разрешить привести сюда несколько юношей, и Али-Бану повелел ему передать, что он может располагать его домом.

— Не оставляйте нас дольше в неведении! Клянусь жизнью, я не знаю, кто этот человек, мы с ним случайно встретились и заговорили.

— В таком случае вы можете почитать себя счастливыми: вы говорили с прославленным ученым мужем, и теперь все присутствующие чтут вас и завидуют вам. Это не кто иной, как Мустафа, ученый дервиш.

— Мустафа, наставник сына нашего шейха, мудрый Мустафа, написавший много ученых книг, побывавший в далеких странах во всех частях света? Мы беседовали с Мустафой? И беседовали так, словно он нам равный, без должной почтительности?

Юноши все еще вели разговор о слышанных сказках и о старике, оказавшемся дервишем Мустафой. Они были немало польщены, что такой прославленный старец удостоил их своим вниманием и даже не раз с ними беседовал и спорил. Тут к ним неожиданно подошел надсмотрщик над рабами и пригласил их следовать за собой к шейху, который желал с ними поговорить. У юношей екнуло сердце. Ни разу еще не говорили они со столь знатным человеком даже наедине, не то что в таком многолюдном обществе. Однако, не желая показаться глупцами, они взяли себя в руки и последовали за надсмотрщиком. Али-Бану восседал на роскошной подушке и кушал шербет. По правую руку от него, на дорогой подушке сидел старик в своей убогой одежде, скрестив на богатом ковре персидской работы ноги в жалких сандалиях, но его благородная голова, его взгляд, полный достоинства и мудрости, свидетельствовали, что его место поистине рядом с таким человеком, как шейх.

Шейх был очень хмур, а старик, казалось, старался утешить и ободрить его. В том, что их позвали пред очи шейха, юноши тоже усмотрели хитрость старика, вероятно, думавшего, что беседа с ними, может быть, разгонит тоску Али-Бану.

— Приветствую вас, о юноши,— сказал шейх,— приветствую вас в доме у Али-Бану. Мой старый друг, что сидит здесь, заслужил мою благодарность, приведя вас сюда; но я немножко сердит на него за то, что он не привел вас ко мне раньше. Который же из вас писец?

— Я, о господин! Рад услужить вам,— сказал молодой писец, скрестив руки на груди и низко кланяясь.

— Итак, вы очень охотно слушаете сказки и охотно читаете книги с прекрасными стихами и изречениями?

Юноша покраснел и ответил:

— О господин! Я не знаю более приятного развлечения и охотно провожу так свой досуг. Это обогащает ум и коротает время. Но у каждого свой вкус, и я, конечно, не осуждаю того, кто...

— Знаю, знаю,— перебил его шейх, смеясь, и подозвал второго.

— А ты кто? — спросил он.

— Господин, я работаю подручным у лекаря и сам уже врачую больших.

— Так,— молвил шейх.— Так вот он, любитель хорошо пожить! Вам бы попить и повеселиться с добрыми друзьями? Не правда ли, я угадал?

Юноша был пристыжен, он чувствовал, что его выдали и что старик, должно быть, пересказал и его слова. Все же он собрался с духом и ответил:

— О да, господин, я считаю одной из житейских радостей возможность скоротать время с хорошими друзьями. К сожалению, кошелька моего хватает только на то, чтобы предложить друзьям арбузы и другое столь же дешевое угощение; однако это не мешает нам веселиться, и можно себе представить, насколько бы веселее мы были, будь у меня побольше денег.

Смелый ответ пришелся по вкусу шейху, и он не мог удержаться от смеха.

— А который же из вас — купец? — продолжал он расспросы. Молодой купец ответил:

— Я вижу, о повелитель, что старец, дабы развлечь вас, пересказал вам все наши глупости. Если ему удалось развеселить вас, я рад, что послужил вам утехой. Что же касается музыки и пляски, то, признаюсь, нелегко отыскать другую забаву, которая так же пришлась бы мне по душе. Но не подумайте, о повелитель, что я порицаю вас, ежели вы...

— Довольно, не продолжайте! — молвил шейх, улыбаясь и подняв руку.— Вы хотите сказать: каждому свое. Но там я вижу еще одного. Вы, верно, тот, что стремится к странствиям? Кто вы?

— Я художник, о господин,— ответил юноша,— я расписываю красивыми видами стены покоев или изображаю их на холсте. Поглядеть чужие края — моя заветная мечта, там можно повидать много чудесных местностей и потом воспроизвести их, а как правило — в рисунке виденное всегда выходит красивей, чем то, что выдумал сам.

Шейх смотрел на статных юношей, и взгляд его был строг и угрюм.

— Когда-то у меня тоже был любимый сын,— сказал он,— теперь он был бы того же возраста, что и вы. Вы бы могли быть ему товарищами и спутниками, и все ваши желания удовлетворялись бы сами собой. С одним он читал бы, с другим внимал музыке, с третьим пировал бы и веселился с друзьями, а с художником я отпустил бы его в прекрасные страны и был бы сиюкоп, что он возвратится домой. Но Аллах судил иначе,— я подчиняюсь его воле и не ропщу. И все же в моей власти исполнить ваши желания, чтобы вы с радостным сердцем покинули дом Али-Бапу. Вы, мой ученый друг,— продолжал он, обращаясь к писцу,— отныне будете жить у меня и ведать моими книгами. Вы можете, ежели захотите, приобретать все, что сочтете стоящим; единственной вашей обязанностью будет рассказывать мне то интересное, что вы вычитаете в книгах. Вы же, любитель веселых

пиров с друзьями, будете вестать в моем доме увеселениями. Сам я, правда, живу уединенно и безрадостно, но мой долг и сам требуют, чтобы время от времени я созывал многочисленных гостей. Вы будете распоряжаться всем вместо меня и, когда захотите, приглашать своих друзей и, само собой, угощать их кой-чем получше арбузов. Купца я, правда, не могу отвлекать от его дела, приносящего ему деньги и почет; но каждый вечер, молодой мой друг, в вашем полном распоряжении будут мои танцовщики, певцы и музыканты. Наслаждайтесь игрою и танцами всласть. А вы,— обратился он к художнику,— должны повидать чужие края, дабы опыт придал остроту вашему зрению. Мой казначей выдаст вам для первого странствия, к которому можете приступить завтра же, тысячу золотых, двух лошадей и раба. Отправляйтесь, куда влечет вас сердце, и зарисуйте для меня то прекрасное, что увидите.

Юноши не могли опомниться от изумления, онемели от радости и благодарности. Они хотели облобызать пол у ног великодушного шейха, но он не допустил этого.

— Благодарите не меня,— сказал он,— а мудрого мужа, мне о вас поведавшего. Знакомством с четырьмя такими веселыми юношами, как вы, он меня тоже порадовал.

Но и дервиш Мустафа отклонил благодарность юношей.

— Вот видите,— сказал он,— никогда нельзя судить слишком поспешно: разве я преувеличивал, говоря о благородстве шейха?

— Послушаем последнего раба, из тех, что я отпускаю сегодня на волю,— прервал Али-Бабу, и юноши направились на свои места.

Теперь встал тот молодой невольник, что привлек всеобщее внимание ростом, красотой и мужественным взглядом; он поклонился шейху и звучным голосом начал так:

ИСТОРИЯ АЛЬМАНСОРА

О господин! Те, что говорили передо мной, рассказали диковишные истории, слышанные ими в чужих краях; к стыду своему, должен признаться, что не могу рассказать ничего достойного вашего внимания. Но ежели вам не покажется скучным, я поведаю о чудесной судьбе одного моего друга.

На том корабле алжирских пиратов, откуда вызволила меня ваша щедрость, находился юноша моего возраста, как мне казалось, рожденный не для невольничьей одежды, которую он носил. Остальные несчастные на нашем корабле были либо людьми грубыми, водить компанию с которыми мне не хотелось, либо чужеземцами, языка которых я не понимал; поэтому, когда выпадала свободная минутка, я охотно проводил ее с тем юношей. Звали его Альмансор, и, судя по выговору, он был родом из Египта. Мы услаждали себя беседами, и вот однажды напали на мысль

поведать друг другу свою судьбу, и история моего товарища по несчастью оказалась гораздо интересней моей.

Отец Альмансора был знатным вельможей и жил в Египте, в городе, которого он мне не назвал. Дни детства Альмансор провел в довольстве и радости, окруженный вниманием и всей земной роскошью. Но изнежен он не был и рано воспитал свой ум, отец его, человек мудрый, наставлял его в добродетели, а учителем его был знаменитый ученый, преподававший ему все, что необходимо знать юноше. Альмансору шел десятый год, когда из-за моря пришли франки и напали на его народ.

Отец мальчика, верно, чем-то не угодил им, потому что однажды, когда он собирался на утреннюю молитву, пришли франки и сначала потребовали у него в залог его преданности франкскому народу жену, а когда он не захотел отпустить ее, силой увели к себе в лагерь его сына.

Во время рассказа молодого невольника шейх прикрыл лицо, а по зале пробежал ропот недовольства. «Как смеет, — восклицали друзья шейха, — как смеет этот юнец говорить столь необдуманно и своими рассказами не врачевать, а растравлять рану Али-Бану, как смеет он не уменьшать, а увеличивать его скорбь?» Надсмотрщик над рабами тоже разгневался на дерзкого юношу и велел ему умолкнуть. Но молодой невольник с удивленным спросил шейха: неужели он мог вызвать его недовольство своим рассказом? При этих словах шейх выпрямился и молвил:

— Успокойтесь, друзья, как может этот юноша знать о моей горькой доле, ведь под этой кровлей он провел всего три дня! Разве при тех ужасах, что чинили франки, разве та же судьба, как моя, не могла постигнуть и другого, разве сам Альмансор не мог быть... но рассказывай дальше, милый юноша!

Молодой невольник поклонился и продолжил:

— Итак, юного Альмансора отвели в лагерь к франкам. В общем, жилось ему там неплохо, один из военачальников позвал его к себе в палатку и забавлялся его ответами, которые ему переводил толмач; он позаботился, чтоб Альмансор не терпел недостатка в одежде и пище, но тоска по отцу с матерью съела Альмансора. Он проплакал много дней, однако слезы его не тронули франков. Затем франки снялись с лагеря, и Альмансор думал, что теперь ему будет позволено вернуться домой, но не тут-то было: войска передвигались, воевали с мамелюками, а Альмансора таскали повсюду за собой. Когда же он молил полководцев и военачальников отпустить его домой, они не соглашались и говорили, что он взят в залог верности его отца. И так он много дней провел с ними в походе.

Но вдруг по войскам прокатилось волнение, не ускользнувшее от мальчика; всюду толковали о свертывании, о возвращении домой, о посадке на корабли, и Альмансор был вне себя от радости, ведь теперь, когда франки возвращались к себе на родину,

теперь-то отпустят и его. Войско с обозом потянулось к берегу моря, наконец, показались и суда, стоящие на якоре. Солдаты стали грузиться на корабли, но уже стемнело, а погрузиться успела только небольшая часть войска. Как ни боролся Альмансор с дремотой,— ведь каждую минуту он ждал, что его отпустят домой,— все же под конец на него напал глубокий сон, и он думает, что франки подмешали ему чего-нибудь спящего в воду. Когда он проснулся, яркое солнце светило в комнатку, в которой он не был, когда засыпал. Он вскочил со своего ложа, но не успел ступить на пол, как тут же упал, пол качался у него под ногами, кругом все вертелось и ходило ходуном. Он поднялся и, держась за стены, побрел из комнаты.

Вокруг стоял странный рев и свист; он никогда не видал и не слышал ничего подобного и потому не знал, сон это или явь. Наконец добрался он до узенькой лестницы; с трудом поднялся наверх, и — о, ужас! — со всех сторон обступило его небо и море: он был на корабле. Тут принялся он жалобно плакать, хотел домой, хотел броситься в море и вплавь добраться до родины; но франки удержали его, а один из полководцев позвал к себе, обещал, если он будет послушным, скоро вернуть его на родину и объяснил, что отправить его домой было невозможно, а если бы его оставили одного на берегу, он пропал бы с голоду.

Но франки не сдержали слова; корабль плыл много дней и наконец пристал к берегу,— но не Египта, а Франкистана! За пребывание в лагере и за долгий путь Альмансор научился понимать и немножко говорить на языке франков, что очень пригодилось ему в стране, где никто не знал его языка. Много дней вели его в глубь страны, и всюду по пути сбегался народ, чтоб поглазеть на него, так как спутники его говорили, будто он сын владыки Египта, приславшего его в Франкистан для окончания образования.

Но солдаты говорили это, чтоб уверить народ, будто они победили Египет и заключили с этой страной крепкий мир. После многодневного пути по стране франков дошли они до большого города, цели их странствия. Там его передали лекарю, который взял его к себе в дом и обучил всем правам и обычаям Франкистана.

Прежде всего облачили Альмансора в франкскую одежду, узкую и тесную и далеко не столь красивую, как египетская. Затем запретили кланяться, скрестив руки; теперь, чтобы засвидетельствовать кому-либо свое почтение, ему следовало одной рукой снять с головы огромную черную фетровую шляпу, которую там носят все мужчины и поэтому надели и ему на голову; другую руку следовало отвести в сторону и шаркнуть правой пощечкой. Запретили ему также сидеть поджав ноги, по добром восточному обычаю,— теперь ему приходилось сидеть на высоких стульях, свесив ноги на пол. Еда тоже доставляла ему немало огорчений, теперь, раньше чем поднести кусок ко рту, следовало проткнуть его железной вилкой.

Лекарь был человеком суровым и злым и мучил мальчика; так, если тому по оплошности случалось сказать гостю: «Салем алейкум!» — он бил его палкой, ибо следовало говорить: «Votre serviteur»¹. Ему было запрещено думать, говорить, писать на родном языке, — пожалуй, он мог на нем только грезить; возможно, он и совсем позабыл бы свой язык, если бы в том городе не жил один человек, оказавший ему большую поддержку.

Это был весьма ученый старик, понимавший многие восточные языки — арабский, персидский, коптский, даже китайский, — все попоможку; в том краю его почитали чудом учености и за обучение этим языкам платили ему большие деньги. Этот человек звал к себе Альмансора по нескольку раз на неделе, потчевал его редкостными плодами и другими лакомствами, и юноше казалось, будто он дома. Старик был очень странным человеком. Он заказал Альмансору одежду, какую носят в Египте знатные вельможи. Эту одежду хранил он в особом покое. Когда к нему приходил Альмансор, он посылал его со слугой в тот покой, и там юноша передевался, согласно обычаю своей родины. Затем они отправлялись в «Малую Аравию», так назывался один покой в доме ученого.

Покой был уставлен искусно выращенными деревьями — пальмами, бамбуками, молодыми кедрами — и цветами, встречающимися только в странах Востока. Пол был устлан персидскими коврами, у стен лежали подушки, а французских стульев и столов не было вовсе. На одной из подушек восседал старик ученый; вид у него был совсем не тот, что обычно: голова вместо тюрбана была обмотана тонкой турецкой шалью; седая привязная борода спускалась до пояса и ничем не отличалась от настоящей почтенной бороды любого достойного мужа. Облачен он был в мантию, переделанную из парчового утреннего халата, в широченные шаровары и желтые туфли, и хотя вообще он отличался миролюбивым нравом, в эти дни нацеплял турецкую саблю, а за кушак затыкал ятаган, украшенный поддельными камнями. Он курил трубку в два локтя длиной, а прислуживали ему слуги, также одетые в персидское платье, и у многих из них лицо и руки были вымазаны черной краской.

Сперва все это казалось юному Альмансору очень страшным, но затем он понял, что те часы, которые он проводил у старика, принаравливаясь к его желаниям, пошли ему на пользу. Если у лекаря он не смел и слова сказать по-египетски, то здесь запрещалась французская речь. Входя, Альмансор произносил приветствие, на которое старик перс отвечал с большой торжественностью; затем он делал знак юноше, чтоб тот сел рядом, и начинал болтать на персидском, арабском, коптском и на других языках попеременно, это он называл ученой восточной беседой. Около стоял с большой книгой слуга, или, если хотите, раб, как он

¹ Ваш покорный слуга (*фр.*).

звался в эти дни; книга же эта была словарем, и когда старику не хватало слов, он делал знак рабу, листал книгу, быстро находил нужное слово и затем продолжал свою речь.

Рабы же приносили в турецких сосудах шербет и другие лакомства; и чтобы угодить старику, Альмансору достаточно было сказать, будто все у него заведено по восточному обычаю. Альмансор прекрасно читал по-персидски, а в глазах старика это было великим достоинством. У него было множество персидских рукописей; он приказывал юноше читать их вслух, сам внимательно повторял за ним каждое слово и, таким образом, примечал правильное произношение.

Для бедного Альмансора эти дни были праздниками, старик ученый не отпускал его без подарка, часто весьма ценного — он дарил Альмансору деньги, полотно или другие нужные вещи, в которых отказывал ему лекарь. Так прожил Альмансор несколько лет в столице Франкистана, но тоска его по родине не улеглась. Когда же ему минуло пятнадцать лет, случилось событие, имевшее большое влияние на его судьбу.

Дело в том, что франки избрали своего главного полководца — того, который в Египте так часто беседовал с Альмансором, — своим королем и повелителем. По торжествам и пышным празднествам в столице Альмансор, правда, понял, что происходит нечто подобное, но он и думать не мог, что король и есть тот самый человек, которого он видел в Египте, ведь тот полководец был еще очень молод. Однажды Альмансор шел по мосту, перекинутому через широкую реку, протекающую по тому городу; тут увидел он человека в простой солдатской одежде, облокотившегося о перила моста и глядевшего на воду. Черты его лица показались ему знакомыми, и он вспомнил, что раньше уже видал его. Поэтому он быстро порывлся в кладовых своей памяти, и когда постучался в дверь, ведущую в египетскую кладовую, разум его вдруг прояснился, и он вспомнил, что человек этот — тот франкский полководец, который часто беседовал с ним в лагере и всегда проявлял добрую заботу о нем; он не знал точно его имени и теперь, собравшись с духом, подошел и окликнул его так, как прозвали его солдаты; скрестив на груди руки по обычаю своей страны, он молвил:

— Салем алейкум, Petit Caporal! ¹

Тот с удивлением оглянулся, окинул юношу внимательным взглядом, подумал минутку, а затем сказал:

— Господи, возможно ли это! Ты здесь, Альмансор? Как поживает твой отец? Что делается в Египте? Что привело тебя к нам?

Тут Альмансор не выдержал, он горько зарыдал и сказал:

— Так ты, Petit Caporal, не знаешь, что училили со мной эти собаки, твои соотечественники? Ты не знаешь, что я уже много лет не видел земли моих отцов?

¹ Маленький капрал (фр.).

— Не могу поверить,— сказал тот, и чело его омрачилось,— не могу поверить, что они потащили тебя за собой.

— Ах, так оно и было,— ответил Альмансор,— в тот день, когда ваши солдаты погрузились на корабли, я в последний раз видел свою отчизну; они увезли меня с собой, и один военачальник, тронутый моими несчастьями, платит за мое содержание окояному лекарю, который колотит меня и морит голодом. Слушай-ка, Petit Caporal,— продолжал он в простоте душевной,— как хорошо, что я повстречал тебя, ты мне поможешь.

Тот, к которому он обратился с такими словами, улыбнулся и спросил, чем он может ему помочь.

— Видишь ли,— сказал Альмансор,— стыдно мне что-либо просить у тебя; правда, ты всегда был добр ко мне, но я знаю, ты тоже человек бедный, и когда был полководцем, одевался всегда хуже других; судя по твоему сюртуку и по шляпе, дела твои и сейчас не блестящи. Но франки недавно выбрали себе султана, и ты, конечно, должен знать кого-нибудь из его приближенных, может быть, агу его янычаров, или его рейс-эфенди, или его капудан-пашу? Так ведь?

— Ну да,— согласился тот,— а дальше что?

— Ты мог бы замолвить за меня словечко, Petit Caporal, пусть они попросят франкского султана, чтоб он отпустил меня на волю,— тогда мне только нужно будет немножко денег на обратный путь; но, главное, обещай мне не проговориться ни лекарю, ни арабскому ученому.

— А что это за арабский ученый? — спросил тот.

— Ах, это странный человек, но о нем я расскажу тебе в другой раз. Если они что-нибудь проведуют, мне не выбраться из Франкистана. Но согласен ли ты замолвить за меня словечко аге? Скажи откровенно!

— Пойдем со мной,— сказал тот,— может быть, я смогу уже сейчас быть тебе полезен.

— Уже сейчас? — в испуге воскликнул юноша.— Сейчас невозможно, не то лекарь изобьет меня, я тороплюсь домой.

— А что у тебя тут в корзине? — спросил тот, не отпуская его.

Альмансор покраснел и сперва не хотел показать, наконец, он сказал:

— Видишь ли, Petit Caporal, мне приходится выполнять ту же работу, что и последнему рабу у моего отца. Лекарь — человек скаредный и что ни день голяет меня на овощной и рыбный рынок, до которого от нашего дома добрый час ходьбы, и, чтобы выгадать несколько медяков, мне приходится все покупать у грязных торговков, там ведь все немного дешевле, чем в нашем квартале. Вот гляди, из-за паршивой селедки, из-за горсти салата, из-за кусочка масла мне приходится ежедневно ходить два часа. Ах, знал бы об этом мой отец!

Человек, с которым беседовал Альмансор, был тронут его горькой участью и сказал:

— Идем со мной, и будь спокоен, лекарь не посмеет тебя обидеть, даже если останется сегодня без селедки и салата. Не беспокойся, идем!

С этими словами он взял Альмансора за руку и повел за собой, и столько уверенности было в его словах и движениях, что Альмансор, хотя у него и щемило сердце при мысли о лекаре, все же пошел с тем человеком. Итак, с корзинкой на руке, шагал он бок о бок с солдатом по разным улицам, и странным казалось ему, что встречные снимали шляпы, останавливались и глядели им вслед. Он сказал своему спутнику, как это его удивляет, но тот засмеялся и ничего не ответил.

Наконец дошли они до великолепного замка, куда и направился тот человек.

— А ты здесь живешь, Petit Caporal? — спросил Альмансор.

— Здесь моя квартира, — ответил тот, — а тебя я отведу к своей жене.

— Ну, живешь ты богато! — продолжал Альмансор. — Султан, должно быть, предоставил тебе даровые покровы?

— Ты прав, эту квартиру я получил от императора, — ответил его спутник и повел его в замок.

Там они поднялись по широкой лестнице, и он приказал Альмансору оставить корзину в нарядном зале, а затем прошел с ним в великолепный покой, где на диване сидела женщина. Он заговорил с ней на чужом языке, и оба смеялись от души, а потом женщина на языке франков принялась расспрашивать Альмансора о Египте. Под конец Petit Caporal сказал юноше:

— Знаешь, лучше всего я сейчас же сам сведу тебя к императору и замолвлю ему за тебя словечко.

Альмансор сильно перепугался, но он подумал о своей горькой доле и о родине.

— Аллах, — обратился он к обоим, — Аллах придает несчастному мужество в минуту крайней нужды, он не оставит и меня, горемычного. Да, я поступлю, как ты советуешь: я пойду к нему. Но скажи, Caporal, что мне делать — пасть ниц, коснуться лбом земли?

Они снова расхохотались и стали уверять, что этого делать не нужно.

— А вид у него страшный и величественный, — расспрашивал он, — борода длинная? Глаза мечут молнии? Скажи, каков он?

Спутник его снова расхохотался, а затем сказал:

— Лучше я не буду его описывать, Альмансор, — сам догадайся, который он. Укажу тебе только одну приметку: когда император в зале, все почтительно снимают шляпы; тот, кто не снимет шляпы, и есть император. — С этими словами он взял его за руку и повел в императорский зал. Чем ближе они подходили, тем сильнее колотилось у Альмансора сердце, а когда они приблизились к дверям, у него задрожали колени. Слуга распахнул двери; там стояли полукругом человек тридцать — все при звездах, в великолепных одеяниях, шитых золотом, как обычно ходят

в стране франков самые знатные королевские аги и паши. И Альмансор подумал, что его спутник, одетый так скромно, верно, самый незначительный среди них. Все они обнажили головы, и тогда Альмансор огляделся: у кого на голове шляпа, тот и есть император. Но искал он напрасно. Все держали шляпу в руке, значит, императора среди них не было; тут он случайно взглянул на своего спутника — и что же: шляпа была у него на голове!

Юноша был поражен, потрясен. Он долго глядел на него, а затем сказал, тоже сняв шляпу:

— Салем алейкум, Petit Caporal! Насколько мне известно, султан франков не я, значит, мне не пристало покрывать голову; ты же, Petit Caporal, в шляпе, уж не ты ли император?

— Ты угадал, — ответил тот, — но, кроме того, я твой друг. Приими свои невзгоды не мне, а несчастному стечению обстоятельств, и будь уверен, что первым же кораблем ты поплывешь к себе на родину. Ступай теперь к моей жене, расскажи ей про арабского ученого и все, что ты знаешь. Салат и следку я отошлю лекарю, ты же впредь до отъезда оставайся у меня во дворце.

Так говорил человек, бывший императором; Альмансор же пал ниц перед ним, облобызал его руку и просил прощения за то, что не признал его сразу, ведь в его глазах он совсем не походил на императора.

— Твоя правда, — ответил тот, смеясь, — ежели ты императором всего несколько дней, то на лбу у тебя этого не написано. — Так сказал он и сделал ему знак удалиться.

С того дня Альмансор зажил в счастье и довольстве.

У арабского пасташика, о котором он рассказывал императору, он побывал еще несколько раз, лекаря же больше не видел. Несколько педель спустя император призвал его к себе и объявил, что корабль, на котором он хочет отправить его в Египет, готов сняться с якоря. Альмансор был вне себя от радости; он собрался в несколько дней и, с чувством благодарности в сердце, щедро одаренный императором, отправился к морю и пустился в путь.

Но Аллаху было угодно продлить его испытания, невзгодами закалить его мужество, и он не дал ему увидеть берега его родины. Англичане, другой франкский народ, вели в ту пору морскую войну с императором. Они отбирали у него все захваченные корабли; и случилось, что на шестой день пути корабль, на котором плыл Альмансор, обстреляли окружившие его английские суда; он вынужден был сдаться, и весь экипаж пересел на суденышко, которое поплыло вслед за остальными. Но на море так же беспокойно, как в пустыне, где на караваны неожиданно нападают разбойники, убивают и грабят. Тунисские пираты напали на их суденышко, во время бури отбившесся от больших кораблей, захватили его, а весь экипаж отвезли в Алжир и продали в рабство.

Правда, Альмансор, правоверный мусульманин, попал не в столь тяжелую неволю, как христианин, но все же последняя надежда увидеть родину и отца исчезла. Так прожил он пять лет у одного богатого человека, где работал в саду и поливал цветы. Но богатый человек умер, не оставив прямых наследников; добро его растащили, невольников поделили, и Альмансор попал в руки работорговца. Тот как раз снарядил корабль, чтобы перепродать своих невольников подороже в других краях. Судьбе угодно было, чтобы я тоже оказался невольником этого работорговца и попал на тот же корабль, что и Альмансор. Там мы узнали друг друга, и там поведал он мне о своей необычной судьбе. Но, когда мы пристали к суше, я опять убедился, что пути Аллаха неисповедимы, — мы высадились на его родном берегу, нас выставили на продажу на невольничьем рынке в его родном городе, и, — о господин! — скажу тебе кратко: он был куплен своим родным, своим любимым отцом!

Шейх Али-Бану глубоко задумался над этой повестью; она невольню увлекла его, грудь его вздымалась, глаза сверкали, и часто он был готов прервать молодого невольника; но конец рассказа, казалось, не удовлетворил его.

— Ты говоришь, ему теперь было бы около двадцати одного года? — так начал он свои вопросы.

— Мы с ним примерно одного возраста, о господин, двадцать один — двадцать два года.

— А какой город называл он своей родиной, об этом ты ничего не сказал.

— Если не ошибаюсь, — ответил тот, — это Александрия!

— Александрия! — воскликнул шейх. — Это мой сын; где он? Ты не говорил, что он звался Кайрамом? Какие у него глаза — темные? А волосы — черные?

— Да, такие, а в минуты откровенности он называл себя Кайрамом, а не Альмансором.

— Но, заклиная тебя Аллахом, скажи мне, отец купил его у тебя на глазах, ты говоришь, он сказал, что это его отец? Значит, это не мой сын!

Невольник ответил:

— Он сказал мне: «Благословен Аллах после столь долгих невзгод; это — рыночная площадь моего родного города». А немного спустя из-за угла показался вельможа, — тогда он воскликнул: «О, наши глаза поистине драгоценный дар небес! Мне привелось еще раз увидеть своего почтенного отца!» Человек же тот подошел к нам, оглядел всех и купил под конец того, с кем все это случилось; тогда он призвал Аллаха, горячо возблагодарил его и шепнул мне: «Вот я опять возвращаюсь в обитель счастья: меня купил мой родной отец».

— Стало быть, это не мой сын, не мой Кайрам! — молвил шейх, исполняясь печали.

Тогда юноша не мог дольше сдерживать свое волнение, слезы радости брызнули у него из глаз, он пал ниц перед шейхом и воскликнул:

— И все же это ваш сын — Кайрам-Альмансор, ведь это вы сами купили его.

«Аллах, Аллах! Чудо, великое чудо!» — восклицали вокруг и все старались протиснуться поближе. А шейх, онемев, глядел на юношу, который поднял к нему свое красивое лицо.

— Мустафа, друг мой, — наконец обратился шейх к старому дервишу, — глаза мне застилают слезы, и я не могу разглядеть, запечатлелись ли у него на лице черты его матери, в которую мой Кайрам уродился лицом, подойди и взглядишь в него.

Старик подошел, долго глядел на него, наконец положил руку на чело юноше и сказал:

— Кайрам, как гласит изречение, которое в тот скорбный день ты унес с собой в лагерь франков?

— Дорогой учитель, — ответил юноша, прикасаясь губами к его руке, — оно гласит: «Кто любит Аллаха и чист душой, тот не одинок и в пустыне горестей, ибо с ним двое спутников, они поддерживают и утешают его».

Тогда старик с благодарностью возвел очи к небу, поднял юношу, прижал его к груди и передал шейху со словами:

— Возьми его! Как верно то, что ты тосковал по нем десять лет, так верно и то, что это твой сын Кайрам.

Шейх не помнил себя от радости и счастья. Он не мог наглядеться на вновь обретенного сына, из черт которого явственно проступал образ бывшего Кайрама. И все присутствующие радовались вместе с ним, ибо они любили шейха, и каждому казалось, будто в этот день ему самому судьба подарила сына.

Песни и ликование снова огласили покой, как в дни счастья и радости. Юноше пришлось повторить свой рассказ, теперь уже более обстоятельно, и все восхваляли арабского ученого, и императора, и тех, кто был участлив к Кайраму. Гости разошлись только поздно ночью, и шейх щедро одарил всех своих друзей, дабы они сохранили память об этом дне радости.

Четырех же юношей он представил своему сыну и пригласил их посещать его, и было решено, что Кайрам будет читать с писцом, пускаться в недалекие странствия с художником, развлекаться пляской и пеннем в обществе купца, а четвертый будет ведать увеселениями при дворе шейха. Их щедро одарил шейх, и, радостные, покинули они его дом.

— Кого нам благодарить, — рассуждали они, — кого, как не старца? Кто мог бы это подумать, когда мы стояли тут у дома и судачили о шейхе?

— А ведь легко могло случиться, что мы пропустили бы мимо ушей речи старика, — молвил другой, — или, чего доброго, подняли бы его на смех. Он был в жалком рубище, и кто мог подумать, что это мудрец Мустафа?

— Как странно! — сказал писец. — Вот на этом самом месте

мы громко выразили свои желанья. Один мечтал о странствиях, другой — о пенье и плясках, третий — о веселых пирах с друзьями, а я — о чтении и сказках, и вот все наши мечты осуществились. Ведь я могу читать все книги шейха и приобретать любые, какие захочу.

— А я могу украшать его стол, распоряжаться всеми увеселениями и сам принимать в них участие,— молвил другой.

— А я? Как только западет мне на сердце желание послушать пенье и игру на лютне или посмотреть на пляску, я могу пойти к нему и попросить отпустить со мной его рабов.

— А я до сего дня был беден,— воскликнул художник,— и не мог и шагу ступить из города, теперь же я могу пуститься в далекий путь!

— Да,— подхватили все вместе,— хорошо, что мы последовали за старцем,— кто знает, что иначе случилось бы с нами?

Так сказали они и, радуясь и лгуя, разошлись по домам.

Много лет тому назад, когда дороги в Шпессартском лесу были еще плохи и мало езжены, шли по лесу два молодых ремесленника. Одному было лет восемнадцать, и был он машинный мастер, другому, обученному ювелирному делу, с виду никак пельзя было дать больше шестнадцати, и, надо думать, он впервые пустился в странствие.

Уже за вечерело, и от исполинских елей и буков на узкую дорогу, по которой они шли, легла густая тень. Машинный мастер шагал браво, насвистывал песенку, разговаривал с Резвым, своей собакой, и как будто не очень-то беспокоился, что скоро уже совсем стемнеет, а до ближней харчевни дойдешь не так-то скоро. А Феликс, золотых дел мастер, часто боязливо оглядывался. Когда ветер шелестел в листве, ему слышались шаги у него за спиной. А когда от ветра колыхались придорожные кусты, ему чудилось, будто за ветками кто-то притаился и следит за ними.

Вообще-то юный ювелир был не суеверен и не труслив. В Вюрцбурге, где прошли годы его ученичества, он слыл в среде учеников безбоязненным, храбрым малым, но сегодня он что-то трусил. Про Шпессартский лес он всего наслышался. Говорили, будто там хозяйничает большая разбойничья шайка, будто за последнее время ограблено много путешественников, рассказывали даже о зверских убийствах, не так давно имевших там место. Вот он и робел, ему было страшно за свою жизнь — ведь их-то всего двое, против вооруженных разбойников они бессильны. Он уже раскаивался, что послушался своего спутника и не заночевал на опушке.

— Это ты, мастер, будешь виноват, если сегодня ночью меня убьют и я лишусь жизни и всего, что у меня с собой, ведь это ты своими уговорами заманил меня в этот страшный лес.

— Нечего труса праздновать, — возразил мастер, — чего, собственно, бояться ремесленнику? Ты что думаешь? Думаешь, господа разбойники нападут на нас и убьют, окажут нам эту честь? Чего ради им утруждать себя? Может, ради воскресной одежды, что у меня в ранце, или ради тех грошей на харчи, что остались

у меня от талера? Нет, надо ехать в карете четверней, быть в шелках да кружевах, вот тогда им, разбойникам, есть ради чего убивать.

— Подожди! Слышишь, в лесу кто-то свистит? — боязливо шепнул Феликс.

— Это ветер свистит в листве, прибавь шагу, теперь уже недалеко.

— Да, тебе хорошо, — опять заговорил юный ювелир. — Они спросят, что у тебя с собой, обыщут и заберут воскресную одежду, гульден и тридцать крейцеров. А меня — меня они сразу убьют, и только потому, что у меня с собой всякие золотые вещицы и ожерелье.

— А чего ради им тебя убивать? Вот, представь себе, выйдут сейчас из-за тех вон кустов четверо или пятеро с заряженными ружьями, наводят дуло на нас и вежливо спрашивают: «Господа, что у вас есть? Не стесняйтесь, мы поможем вам донести ваши вещи», и так далее, все в том же приятном тоне. Ну, ты, конечно, не станешь дурака валять, откроешь свой рапец, любезно выложишь на землю желтый камзол, синий кафтан, ожерелье, браслеты, гребенки и все прочее да еще поблагодаришь за то, что они не покусились на твою жизнь.

— Да? Так, по-твоему, я должен отдать украшения, что изготовил для моей крестной матери, любезной моему сердцу графини? — горячо возразил Феликс. — Нет, я лучше расстанусь с жизнью, лучше дам изрубить себя на кусочки. Ведь она заменила мне мать, а когда мне пошел десятый год, позаботилась о моем воспитании! Все то время, что я жил в учениках, она платила и за учение, и за мою одежду, и за все прочее. А теперь, когда я имею возможность навестить ее и когда при мне драгоценные украшения, которые она заказала золотых дел мастеру, а изготовил я, теперь, когда она могла бы на деле убедиться, чему я выучился, теперь я должен все это отдать, да в придачу еще и желтый камзол, подаренный ею? Нет, лучше умереть, чем отдать дурным людям драгоценности моей крестной матери.

— Не глупи! — крикнул мастер. — Если тебя убьют, графиня все равно не получит своих драгоценностей. Значит, лучше отдать украшения и сохранить жизнь.

Феликс ничего не ответил. Теперь уже совсем стемнело, и при слабом свете молодого месяца в пяти шагах почти ничего не было видно. Феликс все больше и больше трусил, он ни на шаг не отходил от товарища и никак не мог решить, соглашаться или нет с его словами и доводами. Так шли они около часа, и наконец вдаль блеснул огонек. Но Феликс боялся идти на свет; а ну как это вертеп разбойников, думал он, однако мастер разъяснил ему, что разбойники живут в пещерах или землянках, а это, конечно, харчевня, о которой говорил им на опушке какой-то встречный.

Харчевня оказалась длинным, низким строением, перед ней стояла повозка, а рядом в конюшне ржали лошади. Мастер по-

мапил Феликса к окну, не закрытому ставнями. Став на дыпочки, можно было заглянуть внутрь. У печки спал в кресле мужчина, судя по одежде возчик, он же, вероятно, и хозяин повозки, что стояла во дворе. По другую сторону печки пряли женщина и девушка. За столом у стены сидел человек, перед которым стоял стакан вина, он сидел, подперев голову руками, так что лица его не было видно. Однако мастер решил, что, судя по одежде, он должен быть из благородных.

Они все еще подглядывали в окно, но тут в доме залаяла собака. Резвый, собака мастера, отозвалась, и в дверях появилась служанка посмотреть, что за люди пришли.

Их обещали покормить ужином и устроить на почлег. Они вошли, сложили в угол тяжелые узлы, шляпы и палки и подсади за стол к господину.

Они поздоровались с ним, он поднял голову, перед ними был изящный молодой человек; с приветливой улыбкой выразил он им признательность за их учтивый поклон и сказал:

— Ишь до какого позднего часа вы в дороге. И не побоялись в такую темь идти по Шпессартскому лесу? — сказал он. — А вот я предпочел поставить лошадь в конюшню и перепочевать на заезжем дворе, только бы лишний час не быть в пути.

— И вы были правы, сударь, — ответил мастер. — Топот копыт хорошего коня — желанная музыка для этой разбойничьей сволочи, они слышат ее на расстоянии доброго часа пути. Но когда лесом шагают два бедных малых, вроде нас, с которых и взять-то нечего, так ради них разбойники и пальцем не пошевелят.

— Так-то оно так, с бедного человека не много возьмешь, — согласился возчик, разбуженный приходом новых постояльцев и тоже подошедший к столу. — Но бывали случаи, что они убивали бедных просто из жажды крови, а не то принуждали их вступить в свою шайку и тоже заниматься разбоем.

— Ну, если эти люди так хозяйничают в лесу, — заметил золотых дел мастер. — то, по правде говоря, и здешний дом плохая для нас защита. Нас всего четверо да работник — пятый; а вдруг им вздумается напасть на нас вдесятером, что нам тогда делать? Да и кто поручится, что здешние хозяева честные люди? — шепотом прибавил он.

— Этого бояться нечего, — возразил возчик. — Я здешний заезжий двор больше десяти лет знаю и ни разу не заметил ничего подозрительного. Хозяин редко бывает дома, говорят, он торгует вином; хозяйка женщина тихая и безобидная, нет, вы, юноша, зря ее опасаетесь.

— И все же, — вступил в разговор молодой человек аристократического вида, — все же я не отмахнулся бы просто-напросто от его слов. Вспомните слухи о людях, что вдруг бесследно пропали в этом лесу. Многие из них перед тем говорили, что переночуют тут в харчевне, а когда две-три недели спустя о них ничего не было слышно и их начинали разыскивать, то наводили

справки и в харчевне, и выходило, что никого из них здесь не видали, согласитесь: это как-никак впускает подозрение.

— Бог его знает,— воскликнул мастер,— может, оно и вправду разумнее перепочевать в лесу, под первым попавшимся деревом, а не здесь в четырех стенах; ведь убежать отсюда и думать нечего, ежели они будут сторожить у дверей, на окнах-то решетки.

Эти разговоры навели всех на размышления. Теперь уже не казалось невероятным, что хозяева лесной харчевни, то ли по принуждению, то ли по доброй воле, стакнулись с разбойниками. Ночь внушала опасение, ведь не раз доводилось им слышать о путниках, застигнутых во время сна и убитых; некоторые из остановившихся сейчас на почлег в лесной харчевне были очень ограничены в средствах и, даже если бы дело не шло о жизни, потерять хоть часть добра было бы для них весьма чувствительно. Помрачнев, расстроившись, устались они в свои стаканы. Молодой человек думал: вот хорошо было бы скакать теперь на коне по спокойной, открытой долине; мастер думал о десятке своих подмастерьев, дюжих малых: было бы хорошо, если бы они, вооружившись дубинками, охраняли его; Феликс, золотых дел мастер, больше опасался за украшения своей благодетельницы, чем за свою жизнь; возчик, задумчиво попыхивая трубкой, сказал вполголоса:

— Господа, знаете, нельзя, чтобы они напали на нас спящих. Что до меня, я готов всю ночь не смыкать глаз, если только кто-нибудь составит мне компанию.

— И я, и я готов! — отозвались остальные.

— Заснуть я бы все равно не заснул,— добавил молодой человек.

— Ну, тогда, чтобы не заснуть, давайте чем-нибудь займемся,— предложил возчик.— Я думаю, раз нас четверо, мы могли бы сыграть в карты, за картами не заснешь, и время пройдет незаметно.

— Я в карты не играю,— сказал молодой человек,— так что составить вам компанию не могу.

— А я и вовсе не умею играть,— прибавил Феликс.

— А если мы не будем играть, чем же нам тогда заняться? — раздумывал мастер.— Петь? Нет, не годится, пением можно привлечь эту сволочь. Забавляться поговорками? Задавать и отгадывать загадки? Этого надолго не хватит. Знаете что? Не заняться ли нам рассказами? Веселыми или серьезными, правдой или вымыслом, не все ли равно, мы и не заснем, и время скоротаем не хуже, чем за игрой в карты.

— Я согласен, только начинайте вы,— с улыбкой заметил молодой человек.— Вы, господа ремесленники, бродите по всему свету, вам есть о чем рассказать, ведь что ни город, то свои предания, свои истории.

— Как же, как же, чего только не наслышишься,— заметил мастер.— Зато такие господа, как вы, усердно читают ученые книжки, где много всего интересного понаписано, и поумнее и

позанимательнее того, что может рассказать наш брат, простой ремесленник. Если я не ошибаюсь, вы студент, ученый?

— Ученый не ученый, — улыбнулся молодой человек, — по все же студент и еду на вакации домой. Но то, что написано в наших книгах, не очень-то перескажешь; и порой приходится слышать куда более любопытные истории. Так что начинайте вы свой рассказ, если остальные не возражают.

— По мне, слушать интересную историю куда занимательнее, чем играть в карты, — отозвался возчик. — Часто я еле-еле тащусь проселочной дорогой, только бы послушать человека, который шагает рядом и рассказывает что-нибудь интересное. Бывает, в дурную погоду я подсажу к себе в повозку того или иного прохожего, а он за это, глядишь, что-нибудь и расскажет. А одного своего приятеля я, верно, только потому так люблю, что он может рассказывать битых семь часов, а историй — все еще конца не видно.

— Вот так же и я, — добавил юный ювелир, — до смерти люблю слушать, когда рассказывают. Мой хозяин в Вюрцбурге строго-настрого запретил мне заглядывать в книжки, чтобы я не считывался и не забывал о работе. Ну, так расскажи нам что-нибудь хорошенькое, мастер, я знаю, ты можешь всю ночь до утра рассказывать, у тебя запаса хватит.

Мастер выпил для смелости и начал так:

СКАЗАНИЕ О ГУЛЬДЕНЕ С ОЛЕНЕМ

В Верхней Швабии и по сей день еще высится остов старинного замка, когда-то не знавшего себе равных в целом крае — это Вышний Цоллерн. Он стоит на вершине круглой крутой горы, и с его дерзкой высоты открываются взору окрестные дали. И повсюду, откуда видел был замок, и еще намного дальше, люди в старину побаивались воинственных рыцарей фон Цоллерн, имя это знали и почитали во всех немецких землях. Так вот: много сотен лет тому назад — сдается мне, что тогда еще только-только изобрели порох, — жил в этой твердыне один из Цоллернов, человек по натуре весьма странный. Нельзя сказать, чтобы он жестоко притеснял своих подданных или враждовал с соседями, однако никто не хотел с ним знаться из-за его мрачного взгляда, нахмуренного лба и брагчливой, отрывистой речи. Немногие, кроме слуг в его замке, сподобились слышать, чтобы он говорил связно, как все прочие люди. Когда он скакал верхом по долине и какой-нибудь простолудин, встретясь с ним, срывал с головы шапку, кланялся и говорил: «Добрый вечер, ваше сиятельство, хороша нынче погодка!», то граф отвечал: «Вздор!» или «Сам знаю!». А если кто, бывало, не угодит ему самому или не так обиходит его лошадей, или он встретит в ущелье крестьянина с возом, и тот не сразу уступит дорогу его коню, — граф давал

выход своему гневу, разражаясь громом проклятий, однако никому не случалось видеть, чтобы он когда-нибудь при подобной оказии ударил крестьянина. В округе его прозвали «Цоллерн-Грозовая Туча». Цоллерн-Грозовая Туча был женат, и жена его являла собой полную противоположность супругу, — она была кротка и приветлива, как майский день. Не раз приходилось ей добрым словом и ласковым обхождением примирять с графом людей, которых он обидел своей грубостью. Она, где только могла, помогала бедным, и не считала за труд в летний зной или в злейшую стужу спуститься с крутой горы в долину, чтобы повесить бедняков или больных детей. Когда ей доводилось встречать на пути графа, он бурчал: «Вздор! Сам знаю!» — и скакал дальше.

Всякую другую женщину столь угрюмый прав мужа остановил бы или запугал. Одна подумала бы: «Что мне за дело до бедных, ежели мой муж их ни во что не ставит!» У другой оскорбленная гордость и досада, пожалуй, вытеснили бы всякую любовь к гневливому супругу; но не такова была Гедвига фон Цоллерн. Она продолжала по-прежнему любить мужа, старалась своей прекрасной белой рукой разгладить морщины на его смуглом челе; да, она любила и почитала его. Когда же со временем небо даровало этой чете юного графа фон Цоллерн, графиня и тогда не перестала любить супруга, хотя и посвящала свои заботы маленькому сыну, как истинно любящая мать. Минуло три года; все это время граф фон Цоллерн видел мальчика только по воскресеньям после обеда, когда кормилица приносила ему ребенка. Он угрюмо смотрел на сына, бормотал что-то себе под нос и отдавал ей ребенка обратно. Однако, когда мальчик впервые произнес слово «отец», граф подарил кормилице гульден, но ребенку даже не улыбнулся.

Когда же малышу исполнилось три года, граф велел в первый раз падеть на него штанишки, парадить в бархат и шелк, затем приказал вывести во двор своего коня и еще одну красивую лошадь, взял сына на руки и, звеня шпорами, стал спускаться с ним по винтовой лестнице. Графиня Гедвига немало удивилась, увидев это; не в обычае у нее было спрашивать графа, куда и зачем он едет, но на сей раз страх за ребенка заставил ее разомкнуть уста.

— Вы намерены проехать верхом, граф? — спросила она. — Зачем вам брать с собой дитя? — продолжала она. — Куно погуляет со мной.

— Сам знаю! — отвечал, не останавливаясь, Цоллерн-Грозовая Туча.

Спустившись во двор, он быстро, за ножку, посадил мальчика в седло, крепко привязал его шалью, вскочил сам на своего коня и пустил обеих лошадей шагом к воротам, при этом он крепко держал поводья второй лошади.

Сперва ребенку как будто очень нравилось скакать вместе с отцом вниз по склону. Он хлопал в ладоши, смеялся и трепал

гриву лошади, чтобы она бежала быстрее, так что граф не мог на него парадовать и даже несколько раз воскликнул:

— Удалой будет мальй!

Но как только они выехали на равнину и граф, до сего времени ехавший шагом, перевел лошадей на рысь, у малыша занялся дух; сначала он робко попросил отца ехать потише, но когда лошади пустились вскачь и у маленького Куно перехватило дыхание от встречного ветра, он сперва тихо заплакал, потом стал нетерпеливо хныкать и наконец заревел во всю мочь.

— Вздор, сам знаю! — вскричал граф. — Экий мальчонка — чуть сел на коня и уже ревет! Замолчи, не то...

Однако в тот миг, когда он собирался подбодрить сына крепким ругательством, конь его взвился на дыбы, и, пытаясь укротить непокорное животное, он выпустил из рук поводья второй лошади. Когда же он наконец утихомирил своего скакуна и боязливо оглянулся в поисках сына, то увидел одну только лошадь, которая бежала к замку без своего маленького всадника. Как ни суров и сумрачен был граф фон Цоллерн, но в его сердце дрогнуло при этом зрелище; решив, что его мальчик лежит на дороге с разможженными костями, он застонал и принялся рвать на себе бороду. Но, проскакав довольно большое расстояние обратно, он нигде не обнаружил следов сына, и уже вообразил себе, что лошадь, испугавшись, сбросила его в наполненный водой ров, тянувшийся вдоль дороги. Вдруг он услышал позади себя детский голосок, звавший его по имени, — он мигом обернулся и — гляди-ка! — недалеко от дороги сидела под деревом старая женщина и держала на коленях его ребенка.

— Как очутился у тебя мальчик, старая ведьма? — закричал граф в неистовом гневе. — Сию же минуту отдай его мне!

— Поттише, поттише, ваша милость, — засмеялась безобразная старуха. — Не ровен час, вы и сами слетите с этого гордого коня. Как очутился у меня маленький юнкер, спрашиваете вы? Ну так вот: его лошадь понесла, он повис, привязанный только за пожку, почти касаясь волосиками земли, — я и подхватила его в свой передник.

— Сам знаю! — рявкнул фон Цоллерн. — Сейчас же давай его сюда, — я не могу слезть с коня, он у меня поровистый, как бы не зашиб дитя!

— Подарите мне гульден с изображением оленя! — смиренно попросила старуха.

— Вздор! — вскричал граф, швыряя ей под дерево несколько пфеннигов.

— А мне бы очень пригодился гульден с оленем, — твердила старуха.

— Ишь чего захотела! Гульден с оленем! Ты и сама его не стоишь! Сейчас же подай ребенка, не то я спущу на тебя собак!

— Ах, вот как? Я, значит, не стою гульдена с оленем? — ответила старуха с насмешливой улыбкой. — Ну что же, посмотрим, что из вашего наследства будет стоить гульдена с оленем! А эти

пфенниги оставьте себе! — Сказав это, она бросила графу обратно три медных монетки, да так метко, что все они угодили как раз в кожаный кошелек, который он все еще держал в руке.

Подобная ловкость так изумила графа, что несколько минут он не мог слова вымолвить, но потом его удивление сменилось яростью. Он схватил ружье, взвел курок и прицелился в старуху. Та продолжала как ни в чем не бывало ласкать и миловать маленького графа, но держала его перед собой так, что пуля первым делом попала бы в него.

— Ты добрый, смирный мальчик, — говорила она. — Оставайся таким всегда, и счастье не обойдет тебя! — С этими словами она отпустила мальчика, а графу погрозила пальцем. — Цоллерн, Цоллерн, гульден с оленем — за вами! — воскликнула она и побрела, опираясь на буковую палку, в глубь леса, не обращая ни малейшего внимания на брань графа.

Оруженосец Конрад, дрожа от страха, спрыгнул с лошади, посадил на нее своего маленького господина, вскочил в седло позади него и поскакал следом за графом.

То был первый и последний раз, когда Цоллерн-Грозовая Туча брал с собой маленького сына на прогулку верхом, ибо из-за того, что он кричал и плакал, когда лошади перешли на рысь, граф стал считать его изнеженным мальчиком, из которого уже ничего путного не выйдет, взирал на него с неудовольствием, а если мальчик, искренне любивший отца, радостно подбегал к нему и ласково обхватывал его колени, граф гнал его прочь и восклицал:

— Сам знаю! Вздор!

Графиня Гедвига готова была терпеть все дикие выходки своего супруга, но такое неласковое обхождение с ним в чем не повинным ребенком глубоко ранило ее, и не раз случалось ей тяжело занемочь от страха, когда граф-нелюдим за малую провинность жестоко наказывал ребенка, и в конце концов она умерла, в расцвете лет, оплакиваемая слугами и всеми окрестными жителями, а горше всех — ее собственным сыном.

С той поры сердце графа окончательно отвратилось от мальчика; он отдал его на воспитание кормилице и замковому капеллану и редко о нем вспоминал, тем более что вскорости снова женился на богатой барышне, которая спустя год подарила ему двух мальчиков-близнецов.

Куно с большой охотой навещал добрую старушку, когда-то спасшую ему жизнь. Она всякий раз подолгу рассказывала ему о его покойной матери и о том, сколько добра сделала графиня ей самой. Слуги и служанки не раз предостерегали Куно, чтобы не ходил он часто к Фельдгеймерше — так звали старуху, ибо она не кто иная, как ведьма, но мальчика это не испугало: капеллан внушил ему, что никаких ведьм на свете нет, а предания о том, что некоторые женщины умеют колдовать, летают по воздуху верхом на ухватах и скачут на Брокен, не что иное, как досужие выдумки. Правда, в доме у старой Фельдгеймерши он

видел всевозможные вещи, назначение которых было ему непонятно, а фокус с тремя пфеннигами, которые она некогда столь ловко метнула прямо в кошелек его отца, был ему еще хорошо памятен; кроме того, старуха искусно приготавливала всякие целебные мази и настойки, которыми она пользовала людей и скот, но в рассказни о том, что у нее-де есть волшебная сковорода,— стоит подвесить ее над огнем, как начинается страшная гроза,— он не верил. Она научила юного графа многому, что могло ему пригодиться; например, объяснила, что давать больным лошадям, как варить питье, излечивающее собак от бешенства, или готовить приманку для рыб и прочие полезные вещи. Вскоре Фельдгеймерша и вовсе стала единственной его собеседницей, ибо кормилица его умерла, а мачеха не обращала на него внимания.

По мере того, как подрастали его братья, жизнь Куно становилась все несносней: им посчастливилось при первом выезде верхом не свалиться с лошади, по этой причине Цоллерн-Грозовая Туча считал их толковыми и стоящими парнями, всю свою любовь отдал им, ежедневно выезжал с ними верхом и учил всему, что знал сам. Но ничему доброму они при этом не научились; читать и писать он не умел и сам, да и незачем было его дельным сыновьям тратить время на такое пустое занятие; зато к десяти годам они уже умели так же страшно ругаться, как их отец; с каждым встречным затевали ссору, друг с другом ладили как кошка с собакой, а объединялись и становились друзьями, лишь когда намеревались сыграть какую-нибудь злую шутку с Куно. Их мать это несколько не тревожило, в том, что мальчишки дерутся, она видела признак здоровья и силы, по один старый слуга однажды сказал об этом графу; и хотя тот, по обыкновению, отвечивал: «Сам знаю, вздор!», он все же решил измыслить средство, чтобы помешать сыновьям перебить друг друга. Угроза Фельдгеймерши, которую он в душе считал настоящей ведьмой: «Посмотрим, что из вашего наследства будет стоить гульдена с оленем!» — все еще звучала у него в ушах.

В один прекрасный день, когда он охотился в окрестностях своего замка, на глаза ему попались две горы, которые словно бы самой природой предназначены были служить подножием для замков, и он немедленно решил их построить. На одной он выстроил замок Шальксберг, названный так в честь младшего из близнецов, ибо за свои злые шутки тот давно уже получил от отца прозвание «Маленький Шальк», то есть плутишка, что касается второго замка, то поначалу он собирался назвать его Хиршгульденберг¹, по имени гульдена с оленем, в пасмешку над ведьмой, которая предрекла ему, что все его наследство не будет стоить и гульдена с оленем,— но удовольствовался более простым названием — Хиршберг; так обе эти горы называются и по сей день, и кому случится ехать по Альбу, пусть попросит, чтобы ему их показали.

¹ От нем.: Hirsch — олень.

Поначалу граф намеревался отказать по завещанию старшему сыну Цоллерн, Маленькому Шальку — Шальксберг, а третьему — Хиршберг; но жена до тех пор не давала ему покоя, пока он не изменил своего решения. «Глупый Куно, — так называла она бедного мальчика за то лишь, что он не был таким грубым и необузданным, как ее сыновья, — глупый Куно и без того богат, ибо немало унаследовал от матери, и ему же еще достанется прекрасный, богатый Цоллерн? А мои сыновья получат только замки безо всяких угодий, кроме леса?»

Напрасно граф толковал ей, что по справедливости нельзя лишать Куно права первородства; она плакала и бранилась до тех пор, пока Цоллерн-Грозовая Туча, не склонявшийся обыкновенно ни перед кем, не уступил ей ради мира в доме и не отписал в завещании Маленькому Шальку — Шальксберг, Вольфу — старшему из близнецов, — Цоллерн, а Куно — Хиршберг вместе с городком Балингеном. Вскоре после того, как граф распорядился таким образом, он тяжело захворал. Врачу, который сказал, что смерть его близка, он ответил: «Я сам знаю», а замковому капеллану, призывавшему его подготовиться к кончине, как подобает христианину, крикнул: «Вздор!», после чего продолжал бесповоротно и сквернословить и умер, как и жил, грубияном и нераскаянным грешником.

Но не успели еще предать его тело земле, как явилась графиня с завещанием и насмешливо сказала Куно, своему пасынку, ему-де представляется случай показать свою ученость и собственными глазами убедиться, что написано в завещании, а именно: что в Цоллерне ему больше делать нечего. Она и ее сыновья нескладно радовались своему богатству и двум замкам, отнятым у него, у первенца.

Куно безропотно подчинился воле усопшего; однако со слезами покидал он замок, где родился, где похоронена была его дорогая матушка, где жил добрый капеллан, а поблизости — единственная его старая приятельница, Фельдгеймерша. Замок Хиршберг, хотя он и был красив и внушителен с виду, казался ему пустынным и диким, и он едва не захворал с тоски по родному Цоллерну.

Однажды вечером графиня и ее сыновья-близнецы, которым было уже по восемнадцати лет, сидели на балконе и глядели вниз; вдруг они заметили стройного всадника, скакавшего вверх к замку, а за ним следовали носилки на двух мулах и множество слуг. Долго они гадали, кто бы это мог быть; вдруг Маленький Шальк воскликнул:

— Э! Да ведь это не кто иной, как наш братец из Хиршберга!

— Глупый Куно? — с удивлением спросила графиня. — Ах, он желает оказать нам честь и пригласить к себе в гости, эти красивые носилки он захватил с собой, чтобы доставить меня в Хиршберг; нет, право же, я не ожидала от моего сына, глупого Куно, такой доброты и учтивости; но любезность — за любез-

ность: давайте спустимся вниз к воротам, чтобы его встретить, будьте с ним поласковей, может быть, он что-нибудь подарит нам в Хиршберге, тебе — лошадь, а тебе — панцирь, а что до меня, то мне давно уж хотелось заполучить драгоценности его матери.

— Никаких подарков от глупого Куно мне не надо, — отвечал Вольф, — и ласково встречать его я тоже не желаю. По мне, так всего лучше бы ему вскорости последовать за нашим покойным батюшкой, тогда мы унаследуем Хиршберг и все остальное, а вам, матушка, за сходящую цену уступим драгоценности.

— Ах ты, негодник! — вскипела мать. — Мне покупать у вас драгоценности? Вот ваша благодарность за то, что я выхлопотала вам Цоллерн? Маленький Шальк, скажи хоть ты, ведь я получу драгоценности даром?

— Даром дается только смерть, дорогая матушка, — смеясь ответил ей сын. — Ежели правда, что эти драгоценности стоят не меньше иного замка, то мы ведь не такие дураки, чтобы просто повесить их вам на шею. Как только Куно закроет глаза, мы поскачем вниз, поделим его добро, и свою часть драгоценностей я продам. Коли вы дадите больше, чем жид-скушник, дорогая матушка, то они ваши.

Разговаривая таким образом, они достигли ворот замка, и графиня не без усилий поборолa свою досаду касательно драгоценностей, ибо в это время граф Куно как раз въезжал на подъемный мост. Когда он заметил мачеху и братьев, он придержал лошадь, спешился и вежливо приветствовал их. Ибо хотя они и причинили ему много зла, он все же помнил, что они его братья, а эту злую женщину любил его отец.

— Ах, как это мило, что наш сын приехал к нам в гости, — сказала графиня нежным голосом, с благосклонной улыбкой. — Как нам живется в Хиршберге? Привыкаем ли понемножку? Мы даже завели себе носилки? И какие роскошные! Императрица и та бы не отказалась в них сесть. Должно быть, теперь уж недолго ждать, что в Хиршберге появится хозяйка и станет разъезжать в этих носилках по всей округе.

— Об этом я еще даже не думал, достопочтенная матушка, — отвечивал Куно, — а потому и решил покамест, чтобы скрасить свое одиночество, пригласить к себе гостей, для них-то я и захватил с собой эти носилки.

— О, вы очень добры и заботливы, — перебила его мачеха и поклонилась ему с улыбкой.

— Ведь ему уже трудно сидеть в седле, — спокойно продолжал Куно. — Я говорю о патере Йозефе, замковом капеллане. Я намерен взять его к себе, это мой старый учитель, мы с ним так уговорились, когда я покидал Цоллерн. А внизу, у подножья горы, я прихвачу с собой и госпожу Фельдгеймер. Боже праведный! Старушка стала совсем дряхлой, а ведь она однажды спасла мне жизнь, когда я впервые выехал верхом вместе с покойным моим батюшкой. В Хиршберге у меня довольно комнат, пусть там

и окопчит свои дни.— Сказав это, он направился в глубь двора, туда, где жил капеллан.

Юнкер Вольф от гнева закусил губу, графиня пожелтела с досады, а Маленький Шальк громко расхохотался.

— Сколько вы мне дадите за коня, которого мне подарит Куно? — спросил он.— Братец Вольф, отдай мне за него свой панцирь, который ты получил от Куно! Ха-ха-ха! Попа и старую ведьму — вот кого он собирается взять к себе! Хорошенькая парочка, ничего не скажешь! Теперь он сможет по утрам брать уроки греческого у капеллана, а вечерами учиться колдовать у Фельдгеймерши. Ну и шутки выкидывает глупый Куно!

— Он пизкий человек, — отвечала графиня, — и тут не над чем смеяться, Маленький Шальк; это позор для семьи, мы будем краснеть перед всей округой, когда станет известно, что граф фон Цоллерн приказал посадить старую ведьму Фельдгеймершу в роскошные носилки, да еще на мулах, и поместил ее у себя в замке. Это у него от матери, она тоже вечно якшалась с больными и всякой швалью. Ах, узнай об этом его отец, он перевернулся бы в гробу!

— Да уж, — добавил Маленький Шальк. — Отец и в могиле сказал бы: «Вздор! Сам знаю!»

— Поглядите, вон он ведет старика и не стыдится поддерживать его под руку! — в ужасе воскликнула графиня. — Пойдемте, я не желаю больше его видеть!

Они удалились, а Куно проводил своего старого учителя до моста и помог ему сесть в носилки; у подножия горы процессия остановилась перед домом госпожи Фельдгеймер, которая уже сбралась в дорогу и ждала их с корзиной горшочков, банок, склянок и прочей утварью, включая неизменную буковую палку.

Случилось совсем не так, как предсказывала злая графиня фон Цоллерн — в округе ничуть не удивились поступку рыцаря Куно. Напротив того — все находили благородным и достохвальным, что он пожелал скрасить последние дни старой Фельдгеймерши, и превозносили его как человека набожного, ибо он взял к себе старого патера Йозефа. Только его братья и графиня держали на него зло и всячески охавали. Но это лишь служило во вред им самим; столь противное природе отношение к брату возбуждало всюду неприязнь, и, словно в противовес их паговорам, разнеслась молва, что они плохо обращаются с матерью и непрестанно с ней ссорятся, да и друг другу чипят всевозможные обиды. Граф фон Цоллерн-Хиршберг не раз делал попытки помириться с братьями, для него было нестерпимо, что они часто ездят мимо его крепости, а встречаясь с ним в лесу или в поле, не хотят разговаривать и здороваются холоднее, чем с каким-нибудь чужаком. Но все его попытки были напрасны, мало того — братья еще над ним издевались. В один прекрасный день ему вдруг пришло в голову, каким способом он мог бы завоевать их сердца, ибо ему известна была их жадность и алчность.

Между тремя замками, почти на равном расстоянии от них, был пруд, относившийся все же к владениям Куно. В этом пруду водились превосходнейшие щуки и карпы, которым не было равных в округе, но к великой досаде близнецов, любивших рыбачить, отец позабыл отписать этот пруд им. Гордость не позволяла им удить рыбу в пруду тайком от брата, а по-хорошему попросить у него разрешения они не желали. Но поскольку он прекрасно знал, что пруд не идет у них из ума, то и пригласил их однажды там с ним встретиться.

Было ясное весеннее утро, когда три брата, почти минута в минуту, подъехали к пруду, каждый из своего замка.

— Гляди-ка! — воскликнул Маленький Шальк. — Какое совпадение! Я выехал из Шальксберга ровно в семь часов.

«Я тоже. — И я», — ответили его братья — владельцы Хиршберга и Цоллерна.

— А это значит, что пруд лежит как раз посередине, — продолжал Шальк. — Прекрасный водоем.

— Да, поэтому я и позвал вас сюда. Я знаю, что вы большие любители рыбной ловли, и хоть я и сам не прочь иногда забросить удочку, рыбы здесь столько, что ее хватит на все три замка, а на берегу довольно места для троих, если бы даже нам вздумалось прийти сюда всем сразу. Поэтому я желаю, чтобы отныне сей водоем был нашим общим достоянием, и каждый из вас будет иметь на него такое же право, как я.

— О, сколь неслыханно милостив наш досточтимый братец, — с насмешливой улыбкой произнес Маленький Шальк, — он не шута дарует нам шесть моргенов воды и несколько сотен рыбок! Ну, а что он возьмет за это с нас? Ибо даром дается только смерть!

— Вы будете владеть им даром, — ответил Куно. — Ах, я только хотел бы время от времени видеться и говорить с вами возле этого пруда. Мы ведь сыновья *одного* отца.

— Нет! — возразил владелец Шальксберга. — Так не годится: нет ничего глупее, чем удить рыбу в компании; один непременно распугает рыбу у другого. Давайте лучше удить по очереди: скажем, в понедельник и четверг — ты, Куно; во вторник и в пятницу — Вольф, а в среду и в субботу — я; по мне это будет самое лучшее.

— А по мне — вовсе нет, — воскликнул угрюмец Вольф. — Я не намерен принимать что-либо в подарок, не намерен я также и с кем-либо делиться. Ты поступаешь справедливо, Куно, предлагая нам этот пруд, ибо все мы имеем в нем равную долю; но давайте бросим кости, кому владеть им впредь; если я окажусь счастливей вас, то вы всегда сможете попросить у меня разрешения поудить здесь.

— Я не играю в кости, — возразил Куно, опечаленный черствостью братьев.

— Уж конечно, — рассмеялся Маленький Шальк. — Братец у нас ведь такой богобоязненный и скромный, игра в кости для

него — смертный грех. Но я предложу вам кое-что другое, чего не устыдился бы и самый набожный отшельник. Давайте принесем лески и крючки, и кто за сегодняшнее утро, покуда часы в Цоллерне не пробьют двенадцать, паловит больше рыбы, тому и владеть прудом.

— Безумец я, да и только, — сказал Куно, — коли собираюсь разыгрывать то, что принадлежит мне по праву. Но дабы вы убедились, что я всерьез намеревался разделить с вами пруд, я схожу за своей рыболовной снастью.

И они разъехались по домам, каждый в свой замок. Близнецы поспешно разослали слуг — выворачивать старые камни и собирать червей для наживки, а Куно взял свою обычную снасть и ту приманку, которую его когда-то научила готовить Фельдгеймерша, и первым спова очутился у пруда. Когда туда прибыли оба брата-близнеца, он позволил им выбрать наиболее удобные и выгодные места и сам тоже закинул удочку.

И что же? Можно было подумать, что рыбы признали в нем хозяина. Целые стаи карпов и шук подплывали к его леске и прямо кишели вокруг нее; те, что постарше и покрупней отселились молодь, и Куно ежеминутно вытаскивал из воды рыбицу, а стоило ему спова забросить удочку, как уже два-три десятка рыб разевали пасть, чтобы заглотнуть острый крючок. Не прошло и двух часов, как вся трава вокруг него была завалена прекраснейшей рыбой. Тогда он перестал удить и пошел к братьям поглядеть, как идут дела у них. Маленький Шальк поймал одного небольшого карпа и две жалких уклейки, Вольф — трех усачей и двух маленьких пескарей, братья мрачно глядели в воду, — с их мест им хорошо видна была огромная куча рыбы возле Куно. Когда Куно подошел к своему брату Вольфу, тот в ярости вскочил, порвал леску, изломал удилице и побросал все в воду.

— Хотел бы я забросить тысячу крючков вместо одного и пусть бы на каждом билась одна из этих тварей, — вскричал он. — Но здесь дело нечисто, это все волшебство и колдовство. Как бы иначе тебе, глупый Куно, удалось за один час поймать больше рыбы, чем удается мне за целый год?

— Да, да, теперь я вспомнил, — подхватил Маленький Шальк. — Ведь это старуха Фельдгеймерша, гадкая ведьма, научила его ловить рыбу, а мы-то болваны вздумали с ним состязаться! Он скоро и сам заделается колдуном.

— Ну и негодяи же вы! — гневно вскричал Куно. — За сегодняшнее утро я довольно нагляделся на вашу жадность, грубость и бесстыдство. Ступайте прочь, и чтобы ноги вашей отпыне здесь не было. И поверьте, для спасения ваших душ было бы лучше, если бы вы оказались хоть вполовину так добры и благочестивы, как та женщина, которую вы ославили ведьмой.

— Ну, до настоящей ведьмы ей далеко, — насмешливо улыбаясь, заявил Шальк. — Ведьмы умеют предсказывать, а твою Фельдгеймершу столь же мало можно назвать предсказательщи-

цей, как гуся — лебедем. Вот же предсказывала она отцу, что добрую часть его наследства можно будет купить за гульден с оленем, — то есть, что он совсем обнищает, а ведь перед его кончиной ему принадлежало все, что открывается взору с башен замка Цоллерн! Нет, твоя Фельдгеймерша — просто выжившая из ума старуха, а сам ты — глупый Куно.

Сказав это, Шальк поспешно ускакал: он побаивался тяжелой руки брата, а Вольф последовал за ним, изрыгая все проклятья, которым он выучился у своего отца.

С печалью в душе отправился Куно домой. Теперь он ясно видел, что братья никогда не пойдут с ним на мировую. А их жесткие слова он принял так близко к сердцу, что на следующий день тяжело захворал, и только утешительные речи патера Йозефа и целебное питье госпожи Фельдгеймер спасли его от смерти.

Однако как только его братья прослышали, что Куно при смерти, они закатили веселую пирушку и, будучи под хмельком, сговорились: когда глупый Куно умрет, тот, кто первым узнает о его смерти, даст залп из всех своих пушек, дабы известить другого, а выстреливший первым получит право выкатить у Куно из погреба бочку самого лучшего вина. С того дня Вольф приказал, чтобы кто-нибудь из его слуг неизменно стоял в дозоре неподалеку от Хиршберга, а Маленький Шальк даже подкупил изрядной суммой денег одного из слуг Куно, чтобы тот сразу дал ему знать, когда его господин будет при последнем издыхании.

Но этот слуга был более предан своему доброму и благочестивому господину, нежели злому графу Шальксбергу. И вот однажды вечером он с участием осведомился у Фельдгеймерши, как себя чувствует его господин, и, узнав от нее, что граф уже почти поправился, поведал ей о сговоре братьев и о том, что они намереваются встретить кончину графа Куно пушечным салютом. Услыхав это, старуха пришла в ярость. Она тут же все пересказала графу, а поскольку тот ни за что не хотел поверить в такое бессердечие братьев, она посоветовала ему испытать их: распустить слух, будто он умер, вот тогда он и услышит, будут они стрелять или нет.

Граф призвал к себе слугу, подкупленного его братом, спросил его еще раз и приказал скакать в Шальксберг с известием о близкой своей кончине.

Когда оруженосец мчался вниз по склону Хиршберга, его увидел слуга графа Вольфа фон Цоллерн, остановил и спросил, куда это он так спешит.

— Ах, — отвечивал тот, — мой бедный господин не доживет, видать, до полуночи, ни у кого уже не осталось ни малейшей надежды.

— Вот как, значит, приспело время! — воскликнул слуга, подбежал к своей лошади, вскочил в седло и с такой быстротой понесся в гору к замку Цоллерн, что у ворот лошадь его пала, а сам он только и успел крикнуть: «Граф Куно умирает!» — и

свалился замертво. Тут с Вышнего Цоллерпа прогремел пушечный залп. Граф Вольф с матерью ликовали: их радовала и бочка доброго вина, и остальное наследство — пруд, драгоценности и громкое эхо пушечных выстрелов. Однако то, что они поначалу приняли за эхо, были пушки Шальксберга, и Вольф с улыбкой сказал матери:

— Стало быть, у Шалька тоже имелся шпион — придется нам поделить с ним также и виво, как и все прочее наследство.

Тут он поспешил сесть на коня, ибо подозревал, что Маленький Шальк постарается его опередить, дабы присвоить кое-какие ценности усопшего, прежде чем успеет приехать его брат.

Однако у пруда братья встретились, и оба покраснели от того, что каждый из них стремился первым попасть в Хиршберг. Продолжая свой путь вместе, они о Куно даже не вспоминали, а обсуждали по-братски, как им устроить свои дела и к кому из них должен отойти Хиршберг. Когда же они въезжали по мосту во двор замка, то увидели у окна своего брата, — он был живехонек и сверху глядел на них, но глаза его пылали гневом и негодованием. Увидав Куно, братья ужасно перепугались; сперва они подумали, что это привидение, и начали истово креститься; но когда убедились, что это их брат — человек из плоти и крови, — Вольф воскликнул:

— Вот те на! Экий вздор, я думал, ты умер!

— Ну, отложить — не значит отменить, — сказал Шальк, метавший на Куно злобные взгляды.

Куно же произнес грозным голосом:

— С этого часа все узы родства между нами порваны и расторгнуты. Я прекрасно слышал ваш мужеский салют; но взгляните-ка сюда — у меня во дворе тоже стоят пять кулеврин, и я приказал хорошенько зарядить их в вашу честь. Убирайтесь-ка отсюда подальше, — туда, где вас не достанут ядра моих пушек, не то узнаете, как умеют стрелять в Хиршберге.

Они не заставили просить себя дважды, так как поняли, что он не шутит, дали шпоры лошадям и наперегонки помчались вниз с горы, а Куно выпустил им вслед заряд, который просвистел у них над головой, вынудив отвести низкий учтивый поклон, — но он хотел только пугнуть их, не причинив вреда.

— Зачем же ты стрелял? — с досадой спросил Маленький Шальк. — Болван! Ведь я стрелял только потому, что услышал твои пушки!

— Совсем напротив, можешь спросить у матушки, — возразил Вольф. — Первым стрелял ты, это из-за тебя мы претерпели такой позор, молокосос ты этакий!

Младший не остался в долгу и в свою очередь наградил брата всевозможными почетными титулами, а когда они подъехали к пруду, то в довершение всего осыпали друг друга ругательствами, которые оставил им в наследство Цоллерн-Грозная Туча, и расстались, пылая ненавистью и злобой.

День спустя Куно составил завещание, и госпожа Фельдгеймер сказала патеру:

— Бьюсь об заклад, не очень-то приятный подарок приготовил он этим пушкарям.

Но сколь ни была она любопытна и как ни выспрашивала у своего любимца, он не открыл ей, что написано в завещании; так она этого и не узнала, ибо год спустя добрая женщина скончалась, и не помогли ей ее бальзамы и отвары, потому что умерла она не от болезни, а от своих девяноста восьми лет, а годы в конце концов сведут в могилу и самого здорового человека. Граф Куно устроил ей такие похороны, словно она была его матерью, а не простой, бедной женщиной, и он почувствовал себя еще более одиноко в своем замке, тем более что и патер Йозеф вскоре последовал за госпожой Фельдгеймер.

Но недолго пришлось ему страдать от одиночества: добрый Куно умер на двадцать восьмом году, и злые языки утверждали, что причиной тому был яд, который подослал ему Маленький Шальк.

Как бы то ни было, через несколько часов после его смерти слова загремели пушки: в Цоллерне и Шальксберге дали по двадцать пять выстрелов.

— На сей раз он и вправду отдал богу душу,— сказал Шальк, когда оба брата встретились на дороге в Хиршберг.

— Да,— ответил Вольф.— А если он паче чаяния воскреснет и примется ругаться из окна, как в тот раз, то у меня при себе ружье, уж оно-то заставит его стать повежливее и умолкнуть.

Когда они ехали вверх по склону Хиршберга, к ним присоединился какой-то незнакомый всадник со свитой. Они подумали, что это, наверное, друг их покойного брата, и едет он на похороны. Поэтому они притворились опечаленными, восхваляли перед ним покойного, скорбели о его преждевременной кончине, а Маленький Шальк даже пролил несколько крокодиловых слезинок. Однако рыцарь не отвечал им, а только молча скакал с ними рядом.

— Так, а теперь погуляем вволю, подавай-ка нам, кравчий, вина, да самого лучшего! — воскликнул, спешиваясь, Вольф.

Они поднялись по винтовой лестнице и вошли в зал, по молчаливый рыцарь последовал за ними и туда, а когда близнецы по-хозяйски расселись за столом, вытащил из кармана серебряную монету, швырнул ее на каменную столешницу, так что она покатилась со звоном, и сказал:

— Вот, получайте ваше наследство, гульден с оленем, и это вполне законно.

Тут братья удивленно переглянулись, засмеялись и спросили рыцаря, что он хочет этим сказать.

Но рыцарь достал пергамент с должным количеством печатей, в котором глухой Куно перечислял обиды, причиненные ему братьями за всю его жизнь, и в конце изъявлял свою волю, чтобы

в случае его смерти все его наследие, все достояние, кроме драгоценностей его покойной матери, было продано Вюртембергу, и ни более ни менее как за один жалкий гульден с оленем! А на драгоценности он завещал построить в городе Балингене приют для бедных.

Вот уж когда братья удивились так удивились, по теперь им было не до смеха, они только стиснули зубы от злости,— где им было тягаться с Вюртембергом. Так они потеряли прекраснейшее имение, лес и поле, и город Балинген, и даже обильный рыбой пруд, а унаследовали всего-навсего жалкий гульден с оленем. Вольф с надменным видом засунул его в карман камзола, не проронив ни слова, пахлобучил па голову берет, надменно, не прощаясь, прошествовал мимо вюртембергского комиссара, вскочил на коня и поскакал в Цоллерн. Когда же на другое утро мать принялась бранить его за то, что они с братом проворонили имение и драгоценности, он поскакал в Шальксберг.

— Что мы сделаем с наследством,— прошьем или проиграем? — спросил он брата.

— Давай лучше прошьем,— сказал Шальк.— Тогда мы оба им попользуемся. Поедем-ка в Балинген, покажемся там всем назло, хоть и лишились мы этого городка так глупо.

— А в «Ягненке» отменное красное вино — лучшего не пивал и сам император! — добавил Вольф.

Итак, они вдвоем отправились в Балинген, к «Ягнешку», спросили, сколько стоит штоф красного, и пили до тех пор, пока не пропили весь гульден. Тогда Вольф поднялся, вытащил серебряную монету с вычеканенным на ней скачущим оленем и бросил ее на стол со словами:

— Вот вам гульден, и мы в расчете!

Но хозяин взял гульден, оглядел его сначала с одной, потом с другой стороны и, улыбаясь, сказал:

— Да, были бы в расчете, ежели бы на этом гульдене не было оленя, но вчера к нам прибыл гонец из Штутгарта, а сегодня глашатаи с барабанным боем возвестили именем герцога Вюртембергского,— к нему ведь теперь отошел городок,— что деньги эти вышли из обращения, так что уж давайте другие!

Братья побледили и переглянулись.

— Плати-ка ты! — сказал один.

— А у тебя разве нет других денег? — спросил второй.

Короче говоря, они задолжали этот гульден «Ягнешку» в Балингене. Молча ехали они своей дорогой, погруженные в задумчивость, а когда достигли развилки, где путь направо вел в Цоллерн, а налево — в Шальксберг, Шальк сказал:

— Как же быть? Выходит, мы унаследовали меньше, чем ничего? Да и вино было дрянное.

— Верно,— ответил Вольф.— Вот и исполнилось то, что предсказала Фельдгеймерша: «Посмотрим, что из вашего наследства будет стоить гульдена с оленем!» А теперь нам не дали за него и штофа вина!

— Сам знаю! — отвечал владелец Шальксберга.

— Вздор! — сказал тот, что владел Цоллерном и, озлившись на себя и на весь мир, поскакал в свой замок.

— Вот вам сказание о гильдене с изображением оленя, — закончил мастер, — и, говорят, это не вымысел. Хозяин заезжего двора в Дюрвангене, что недалеко от трех замков, рассказал его моему приятелю, который часто ходит проводником через Швабский Альб и всегда заворачивает в его харчевню.

Собравшиеся похвалили рассказчика.

— Чего только не наслушаешься на свете! — воскликнул возчик. — Вот теперь я рад, что мы не потратили времени зря на игру в карты, так, право же, лучше; я запомнил это предание и могу завтра пересказать его моим товарищам, не пропустив ни единого слова.

— Пока вы рассказывали, я тоже припомнил одну легенду, — сказал студент.

— Расскажите, расскажите, пожалуйста, — принялись просить его мастер и Феликс.

— Хорошо, — согласился он, — сейчас ли мой черед или после, не важно: должен же я расплатиться за то, что слышал. То, что я хочу рассказать, говорят, действительно было.

Он сел поудобнее и хотел уже начать свой рассказ, но тут хозяйка отставила прялку и подошла к столу, где сидели гости.

— А теперь, господа, пора и на покой, — сказала она. — Пробыло девять, а завтра опять день будет.

— Ну и ступай себе спать! — сказал студент. — Принеси нам бутылку вина, а потом ты нам уже ни к чему.

— Нет, так не водится, — недовольно буркнула она. — Пока в зале гости, ни хозяйке, ни прислуге уйти нельзя. Коротко и ясно: отправляйтесь по своим комнатам, господа, я устала, а после девяти у меня в доме бражничать не полагается.

— Да что это вы, хозяйка? — удивился мастер. — Чем мы вам помешаем, ежели засидимся здесь, а вы уже ляжете спать? Мы люди честные, ничего не унесем и не уйдем, не расплатившись. А так попутать меня я не позволю ни в какой гостинице.

Хозяйка бросила на него гневный взгляд.

— Так, по-вашему, я из-за всякого жалкого подмастерья, из-за всякого побродяжки, с которого и заработаю-то всего каких-нибудь двенадцать крейцеров, стану менять весь распорядок в доме? В последний раз говорю: своевольничать я не позволю!

Мастер хотел было возразить, но студент многозначительно посмотрел на него, а остальным подмигнул.

— Хорошо, — сказал он, — раз хозяйка того хочет, то пойдем к себе в комнаты. Только можно попросить у вас свечи, чтобы нам не блуждать?

— Этим служить не могу, — нахмурилась, ответила она. — Вот огарочек, вам его хватит, а остальные и впотьмах не заблудятся. Свечами я не богата.

Студент молча взял огарок и встал из-за стола. Остальные тоже поднялись, ремесленники захватили свои пожитки, и все последовали за студентом, который светил им на лестнице.

Когда они были наверху, студент попросил их ступать потише, отпер свою комнату и поманил всех к себе.

— Теперь сомнения быть не может,— сказал он.— Она заодно с разбойниками. Вы заметили, как она боялась, что мы не ляжем, не заснем, что будем долго сидеть и разговаривать? Она, верно, думает, что теперь мы заснем, а тогда уж нетрудно будет с нами справиться.

— А что, если нам убежать? — спросил Феликс.— В лесу легче рассчитывать на спасение, чем здесь, в четырех стенах.

— Здесь на окнах тоже решетки,— грустно сказал студент, тщетно пытаясь вырвать один из железных прутьев оконной решетки.— Если мы вздумаем спастись бегством, у нас остается только дверь, *другого* выхода у нас нет, но не думаю, что они дадут нам уйти.

— Надо попытаться,— решил возчик,— я сейчас посмотрю, можно ли пройти во двор. Если можно, я вернусь за вами.

Все одобрили его предложение, возчик разулся и на цыпочках прокрался к лестнице. Остальные со страхом прислушивались. Благополучно, никем не замеченный, спустился он уже до половины лестницы, обогнул столб на повороте, и вдруг перед ним вырос огромный дог, положил передние лапы ему на плечи, и возчик у самого своего лица увидел оскаленную пасть с двумя рядами длинных и острых зубов. Он не смел пошевелиться, ведь при малейшем движении страшная собака вцепилась бы ему в горло. Собака подняла лай, стала выть, и тут же появились работник и хозяйка со свечами в руках.

— Куда вы? Что вам надо? — крикнула женщина.

— Мне надо еще кое-что принести из повозки,— ответил возчик, дрожа всем телом, потому что, когда открылась дверь, он заметил в трактире каких-то подозрительных мужчин, вооруженных и загорелых.

— О чем вы раньше думали! — недовольно проворчала хозяйка.— Хватай, на место! Запри ворота, Якоб, и посвети ему до повозки.

Собака отодвинула свою страшную морду от лица возчика, сняла с его плеч лапы и опять улеглась поперек лестницы, работник запер ворота и теперь светил возчику. О бегстве нечего было и думать. Тем временем он стал размышлять, что бы такое взять из повозки, и тут ему вдруг вспомнилось, что у него там фунт восковых свечей, который он должен был отвезти в соседний город. «Огарка, что у нас есть, на четверть часа и то вряд ли достанет,— подумал он,— а свет нам необходим!» Итак, он взял две свечи, сунул их в рукав, а для вида прихватил еще плащ, чтобы укрыться ночью, как он сказал работнику.

Благополучно вернулся он обратно в комнату. Рассказал об огромной собаке, сторожащей лестницу, о людях, которых видел

мельком, о мерах, принятых хозяйкой против постояльцев, и со вздохом прибавил:

— Нет, сегодняшней ночи нам не пережить.

— Я этого не думаю,— возразил студент,— не так уж они глупы, чтобы, польстившись на столь малый прибыток, который они получают с нас, убить четырех человек. Но сопротивляться не следует. Что до меня, то я, должно быть, потеряю больше всех: моя лошадь уже в их руках, всего месяц тому назад я уплатил за нее пятьдесят дукатов. Кошелек и одежду я добровольно им отдам, ведь в конце концов жизнь мне дороже.

— Хорошо вам говорить,— возразил возчик,— то, что вы, возможно, потеряете, вам легко восстановить, а вот я посыльный, еду из Ашафенбурга, и в повозке у меня всякая всячина, а в здешней копяшше единственное мое достояние — два добрых коня.

— Представить себе не могу, чтобы они причинили вам зло,— заметил Феликс.— Ограбление посыльного вызовет слишком много толков и шума. А с тем, что сказали вы, господин студент, я вполне согласен: я лучше все сразу отдам и клятвенно пообещаю ничего никому не говорить, никогда даже не пожаловаться, и ради того немногого, что имею, не буду сопротивляться людям, вооруженным нарезными ружьями и пистолетами.

Возчик тем временем вытащил свои восковые свечи, прилепил их к столу и зажег.

— Ну что же, посмотрим, что с нами будет,— сказал он,— усядемся опять рядком и постараемся за разговорами позабыть о сне.

— Да, так и сделаем,— поддержал его студент,— а так как очередь теперь за мной, то я и расскажу вам одну историю.

ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ

Часть первая

Кому доведется побывать в Швабии, пусть непременно взглянет и в Шварцвальд,— но не ради леса, хотя такого несметного числа рослых могучих елей в других местах, верно, и не сыщешь, а ради тамошних жителей, которые удивительно не похожи на всех прочих людей в округе. Они выше обычного роста, широки в плечах и обладают недюжинной силой, как будто живительный аромат, по утрам источаемый елями, с юных лет наделил их более свободным дыханием, более зорким взглядом и более твердым, хотя и суровым, духом, нежели обитателей речных долин и равнины. Не только ростом и сложеннем, но также обычаями своими и одеждой отличаются они от тех, кто живет за пределами этого горного края. Особенно нарядны жители баденского Шварцвальда: мужчины носят окладистую бороду, какую их наградила

природа, а их черные куртки, широченные сборчатые шаровары, красные чулки и островерхие шляпы с большими плоскими полями придают им вид слегка причудливый, зато внушительный и достойный. В тех местах большинство людей занимается стекольным промыслом, делают они также часы, которые расходятся по всему свету.

В другой части Шварцвальда живут люди того же племени, однако иное занятие породило у них иные нравы и привычки, чем у стекловаров. Они промышленляют лесом: валят и обтесывают ели, сплавляют их по Нагольду в верховья Неккара, а из Неккара — вниз по Рейну, до самой Голландии; и тем, кто живет у моря, примелькались шварцвальдцы с их длинными плотами; они останавливаются на всех речных пристанях и с важностью ожидают, не купят ли у них бревна и доски; по самые толстые и длинные бревна они продают за хорошие деньги «мингерам», которые строят из них корабли. Люди эти привыкли к суровой кочевой жизни. Спускаться на плотах по течению рек для них истинная радость, возвращаться по берегу пешком — истинная мука. Потому-то их праздничный наряд так отличен от наряда стекловаров из другой части Шварцвальда. Они носят куртки из темной парусины; на широкой груди — зеленые помочи шириной в ладонь, штаны черной кожи, из кармана которых, как знак отличия, торчит латунный складной метр; однако их красу и гордость составляют сапоги, — должно быть, больше нигде на свете не носят таких огромных сапог, их можно натянуть на две пяди выше колена, и плотовщики свободно шагают в этих сапогах по воде глубиной в три фута, не промочивши ног.

Еще совсем недавно жители здешних мест верили в лесных духов, и только в последние годы удалось отвратить их от этого глупого суеверия. Но любопытно, что и лесные духи, согласно легенде обитавшие в Шварцвальде, тоже разнились между собой в одежде. Так, например, уверяли, что Стекланный Человечек, добрый дух ростом в три с половиной фута, всегда является людям в островерхой шляпе с большими плоскими полями, в курточке и шароварах и в красных чулочках. А вот Голландец Михель, который бродит в другой части леса, сказывают, огромный широкоплечий детина в одежде плотовщика, и многие люди, якобы видевшие его, твердят, что не хотели бы из своего кармана платить за телят, чья конка пошла ему на сапоги. «Уж такие высокие, что обыкновенный человек уйдет в них по горло», — уверяли они и божились, что несколько не преувеличивают.

Вот с этими-то лесными духами, говорят, и приключилась у одного парня из Шварцвальда история, которую я хочу вам рассказать.

Жила некогда в Шварцвальде вдова — Барбара Мункиха; муж ее был угольщик, и после его смерти она исподволь готовила их шестнадцатилетнего сына к тому же ремеслу. Юный Петер Мунк, рослый статный малый, безропотно просиживал всю неделю у дымящейся угольной ямы, потому что видел, что и отец его де-

дал то же самое; затем, прямо как был, чумазый и закопченный, сущее пугало, спускался вниз, в ближний город, чтобы продать свой уголь. Но занятие угольщика таково, что у него остается много свободного времени для размышлений о себе и о других; и когда Петер Мунк сидел у своего костра, мрачные деревья вокруг и глубокая лесная тишина наполняли его сердце смутной тоской, вызывая слезы. Что-то печалило, что-то злило его, а вот что, он и сам толком не понимал. Наконец он смекнул, что его злит — его ремесло. «Одинокий, чумазый угольщик! — сетовал он. — Что это за жизнь! Каким уважением пользуются стекловары, часовые мастера, даже музыканты по праздникам! А вот появится Петер Мунк, добела отмытый, нарядный, в отцовской праздничной куртке с серебряными пуговицами и в новехоньких красных чулках, — и что же? Пойдет кто-нибудь за мною следом, подумает сперва: «Что за ладный парень!», похвалит про себя и чулки, и молодецкую статью, но едва лишь обгонит меня и заглянет в лицо, сразу и скажет: «Ах, да это всего-навсего Петер Мунк, угольщик!»

И плотовщики из другой части леса тоже возбуждали в нем зависть. Когда эти лесные великаны приходили к ним в гости, богато разодетые, навесив на себя добрых полцентнера серебра в виде пуговиц, пряжек и цепочек; когда они, широко расставив ноги, с важным видом глядели на танцоров, ругались по-голландски и, подобно знатным мингерам, курили аршинные кельнские трубки, — Петер смотрел на них с восторгом; такой вот плотовщик представлялся ему образцом счастливого человека. А когда эти счастливцы, запустив руку в карман, пригоршнями вытаскивали оттуда полновесные талеры и, поставив какой-нибудь грош, проигрывали в кости по пять, а то и по десять гульденов, — у него мутилось в голове, и он в глубоком унынии брел в свою хижину; в иной воскресный вечер ему случалось наблюдать, как тот или другой из этих «лесных торгашей» проигрывал больше, нежели бедный папаша Мунк зарабатывал за целый год. Среди этих людей особенно выделялись трое, и Петер не знал, которым из них восхищаться больше. Первый был краснолицый рослый толстяк, он слыл богатейшим человеком в округе. Его прозвали Толстяк Эзехпл. Два раза в год он возил в Амстердам строевой лес и был так удачлив, что продавал его намного дороже, чем остальные, оттого и мог позволить себе возвращаться домой не пешком, как все, а плыть на корабле, словно важный барин. Второй был самый высокий и худой человек во всем Шварцвальде, его прозвали Долговязый Шлуркер. Мунк особенно завидовал его необыкновенной смелости: он перечил самым почтенным людям, и будь трактир даже битком набит, Шлуркер занимал в нем больше места, нежели четыре толстяка, — он либо облакачивался на стол, либо клал на скамью одну из своих длинных ног, — по никому не смел ему и слова сказать, потому что у него было неслыханно много денег. Третий был красивый молодой человек, который танцевал лучше всех во всем крае, за что и получил прозвище Короля Танцев. Он был когда-то бедным парнем и служил работ-

ником у одного из «лесных торгашей», но вдруг и сам стал неслетно богат; одни говорили, будто он нашел под старой елью горшок денег, другие утверждали, будто острой, которой плотвщики ловят рыбу, он выудил из Рейна, невдалеке от Белингена, мешок золота, а мешок этот-де был частью схоропешного там сокровища Нибелупгов; короче говоря, он в одночасье разбогател, за что и стар и млад теперь почитали его, словно принца.

Вот об этих-то людях и думал без конца Петер Мунк, когда в одиночестве сидел в еловом лесу. Правда, им был свойствен один порок, за который их все ненавидели, — то была их нечеловеческая алчность, их бессердечное отношение к должникам и к бедным; надо вам сказать, что шварцвальдцы — народ добродушнейший. Но известно, как оно бывает на свете: хотя их и ненавидели за алчность, все же весьма почитали за богатство, ведь кто еще, кроме них, так сорил талерами, словно деньги можно просто нарвать с елок?

«Так дальше продолжаться не может, — решил однажды Петер, охваченный печалью: накануне был праздник и весь народ собрался в трактире, — если мне вскорости не повезет, я паложу на себя руки. Эх, был бы я так же уважаем и богат, как Толстяк Эзехиль, или так же смел и силен, как Долговязый Шлуркер, или так же знаменит, как Король Танцев, и мог бы, как он, бросать музыкантам талеры, а не крейцеры! Откуда только взялись у него деньги?» Петер перебрал в уме все способы добывания денег, но ни один не пришелся ему по душе, наконец ему вспомнились предания о людях, которые в стародавние времена разбогатели с помощью Голландца Михеля или Стеклянного Человечка. Пока еще был жив его отец, к ним часто зааживали другие бедняки, и они, бывало, подолгу судили и рядили о богатых и о том, как к ним привалило богатство, нередко помнили они Стеклянного Человечка; да, хорошенько подумав, Петер смог восстановить в памяти почти весь стишок, который надо было произнести на Еловом Бугре, в самом сердце леса, чтобы Человечек появился. Стишок этот начинался словами:

Хранитель Клада в лесу густом!
Средь елей зеленых таится твой дом.
К тебе с надеждой всегда взывал...

Но сколько он ни напрягал память, последняя строка никак не шла ему на ум. Он уже подумывал, не спросить ли кого-нибудь из стариков, какими словами кончается заклинание, но его всегда удерживала боязнь выдать свои мысли; к тому же — так он считал — предание о Стеклянном Человечке знают немногие, стало быть, и заклинание мало кто помнит; у них в лесу богатые люди наперечет, да и отчего тогда его отец и другие бедняки не попытались счастья? Однажды он навел на разговор о Человечке свою мать, и она рассказала ему то, что он уже знал сам, она тоже помнила только первые строки заклинания, но под конец все же поведала сыну, что старичок-лесовичок показывается лишь тем,

кто родился в воскресенье между одиннадцатью и двумя часами. Сам Петер, знай он заклинание, как раз и мог быть таким человеком, ибо он родился в воскресенье в половине двенадцатого.

Как только Петер услышал это, он чуть не спятил от радости и нетерпения поскорее осуществить свой замысел. Хватит и того, думал Петер, что он родился в воскресенье и знает часть заклинания. Стекланный Человечек непременно ему явится. И вот однажды, продав свой уголь, он нового костра разжигать не стал, а надел отцовскую праздничную куртку, новые красные чулки и воскресную шляпу, взял можжевельный посох длиною в пять футов и сказал на прощанье: «Матушка, мне надо сходить в город, в окружную канцелярию, подходит срок тянуть жребий, кому из нас идти в солдаты, вот я и хочу напомнить начальнику, что вы вдова и я у вас единственный сын». Мать похвалила его за такое намерение, да только Петер отправился прямехонько на Еловый Бугор. Место это находится на высочайшей из шварцвальдских гор, на самой ее вершине, и в те времена на два часа пути вокруг не было не то что селения — ни одной хижинки, ибо суеверные люди считали, что там нечисто. Да и лес, хоть и росли на Бугре прямо-таки исполинские ели, в тех местах валили неохотно: у дровосеков, когда они там работали, топор иной раз соскакивал с топорща и вонзался в ногу или деревья падали так быстро, что увлекали за собой людей и калечили их, а то и вовсе убивали, к тому же и самые прекрасные деревья из тех, что росли на Еловом Бугре, можно было пустить только на дрова, — плотовщики ни за что не взяли бы ни одного бревна оттуда в свой плот, ибо существовало поверье, что и люди и плоты гибнут, если с ними плывет хоть одно бревно с Елового Бугра. Вот почему на этом заклятом месте деревья росли так густо и так высоко, что там и днем было темно, как ночью, и Петера Мунка стала пробирать дрожь, — он не слышал здесь ни человеческого голоса, ни чьих-либо шагов, кроме своих собственных, ни стука топора; казалось, птицы и те не отваживаются залетать в густой мрак этой чащи.

Но вот Петер-угольщик взобрался на самый верх бугра и стоял теперь перед елью чудовищной толщины, за которую любой голландский корабельщик, не моргнув глазом, выложил бы сотню гульденов. «Здесь-то, наверно, и живет Хранитель Клада», — подумал Петер, снял свою воскресную шляпу, отвесил ели низкий поклон, откашлялся и дрожащим голосом проговорил:

— Добрый вечер, господин стекольный мастер!

Но ответа не последовало, вокруг царил такая же тишина, что и раньше. «Может быть, я все же должен сказать стишок?» — подумал Петер и пробормотал:

Хранитель Клада в лесу густом!
Средь елей зеленых таится твой дом.
К тебе с надеждой всегда зывал...

Когда он говорил эти слова, то, к великому своему ужасу, заметил, что из-за толстой ели выглядывает какая-то странная

крохотная фигурка; ему показалось, что это и был Стекланный Человечек, как его описывали: черная курточка, красные чулочки и шляпа, все было в точности так, Петеру почудилось даже, что он видит тонкое и умное личико, о котором ему случалось слышать. Но увы! Стекланный Человечек исчез столь же мгновенно, как появился.

— Господин стекольный мастер! — немного помедлив, позвал Петер Мунк. — Будьте так добры, не дурачьте меня!.. Господин стекольный мастер, если вы думаете, что я вас не видел, то изволите очень ошибаться, я заметил, как вы выглядывали из-за дерева.

Но ответа все не было, лишь иногда из-за ели Петеру слышался легкий хриплый смешок. Наконец нетерпение пересилило страх, который до сих пор еще удерживал его. «Погоди, малыш, — крикнул он, — я тебя мигом сцапаю!» Одним прыжком достиг он толстой ели, но никакого Хранителя Клада там не было и в помине, только крохотная пригожая белочка взбегала вверх по стволу.

Петер Мунк покачал головой: он понял, что дело ему почти удалось, вспомнить бы только еще одну-единственную строчку заклинания, и Стекланный Человечек предстанет перед ним, но, сколько он ни думал, сколько ни старался, все было тщетно. На нижних ветвях ели снова появилась белочка, казалось, она подзадоривает его или смеется над ним. Она умывалась, помахивала своим роскошным хвостом и глядела на него умными глазками; но под конец ему даже стало страшно наедине с этим зверьком, ибо у белки то вдруг оказывалась человеческая голова в треугольной шляпе, то она была совсем как обыкновенная белка, только на задних лапках у нее виднелись красные чулки и черные башмаки. Короче говоря, забавный это был зверек, однако у Петера-угольщика душа теперь совсем ушла в пятки, — он понял, что *дело тут нечисто*.

Обратно Петер мчался еще быстрее, чем шел сюда. Тьма в лесу, казалось, делалась все непроглядней, деревья — все гуще, и страх охватил Петера с такой силой, что он пустился бежать со всех ног. И только слышав вдали лай собак и вскоре после того завидев меж деревьев дымок первого дома, он немного успокоился. Но когда он подошел поближе, то понял, что с перепугу побежал не в ту сторону и вместо того, чтобы прийти к стекловарам, пришел к плотовщикам. В том доме жили дровосеки: старик, его сын — глава семьи, и несколько взрослых внуков. Петера-угольщика, попросившегося к ним на ночлег, они приняли радушно, не любопытствуя ни как его звать, ни где он живет; угостили яблочным вином, а вечером поставили на стол жареного глухаря, любимое кушанье шварцвальдцев.

После ужина хозяйка и ее дочери уселись за прялки вокруг большой лучины, которую сыновья разожгли с помощью превосходной еловой смолы; дед, гость и хозяин дома курили и смотрели на работающих женщин, парни же занялись вырезыванием из

дерева ложек и вилок. В лесу тем временем разыгралась буря, ветер выл и свистел среди елей, то тут, то там слышались сильные удары, порой казалось, будто с треском валятся целые деревья. Бесстрашные юноши хотели выбежать, чтобы понаблюдать вблизи это грозно-прекрасное зрелище, но дед остановил их строгим взглядом и окриком.

— Никому бы я не посоветовал выходить сейчас за дверь, — сказал он, — как бог свят, кто б ни вышел, назад не вернется, ведь нынешней ночью Голландец Михель рубит себе деревья для нового плота.

Младшие внуки вытаращили глазенки: они и раньше слышали о Голландце Михеле, но теперь попросили дедушку рассказать о нем поподробнее; да и Петер Мунк присоединил к ним свой голос, — в его краях о Голландце Михеле рассказывали очень туманно, — и спросил у старика, кто такой этот Михель и где обитает.

— Он хозяин здешнего леса, и ежели вы в ваши годы еще об этом не слыхивали, значит, живете вы за Еловым Бугром, а то и дальше. Так уж и быть, расскажу я вам о Голландце Михеле, что знаю сам и что гласит предание. Тому назад лет сто, — так по крайней мере рассказывал мой дед, — на всем свете не было народа честнее шварцвальдцев. Теперь, когда в нашем краю завелось столько денег, люди стали дурными и бессовестными. Молодые парни по воскресеньям пляшут, горлапят песни и сквернословят, да так, что оторопь берет; но в те времена все было поиному, и пусть бы он сам заглянул сейчас вон в то окно, я все равно скажу, как говорил уже не раз: во всей этой порче виноват Голландец Михель. Так вот, сто лет тому назад, а быть может и раньше, жил-был богатый лесоторговец, державший у себя много работников; он сплавливал лес до самых низовьев Рейна, и господь помогал ему, потому что был он набожным человеком. Однажды вечером постучался к нему какой-то детина — таких он сроду не видывал. Одет, как все шварцвальдские парни, только ростом на голову выше их, — даже трудно было поверить, что живет на свете такой великан. Значит, просит он лесоторговца взять его на работу, а тот, приметив, что малый на редкость сильный и может таскать тяжести, тут же уговорился с ним о плате, и они ударили по рукам. Михель оказался таким работником, какие лесоторговцу и не снились. Когда рубили деревья, он управлялся за троих, а если ношу с одного конца поднимали шестеро, за другой брался он один. Прошло с полгода, как он рубил лес, и вот в один прекрасный день является он к хозяину и говорит: «Хватит уж мне рубить лес, хочу я наконец поглядеть, куда уплывают мои бревна, — что, коли вы и меня разок отпустите с плотами?»

Лесоторговец отвечал: «Я не стану тебе препятствовать, Михель, если тебе захотелось повидать свет. Хоть и нужны мне на рубке леса сильные люди, а на плотам важнее ловкость, нежели сила, на сей раз пусть будет по-твоему».

На том и порешили; плот, с которым предстояло ему плыть,

составлен был из восьми вязок, а последняя — из огромных строевых балок. И что же дальше? Накануне вечером приносит Михель к реке еще восемь бревен — таких толстых и длинных, каких свет не видывал, а он их несет играючи, словно это всего-навсего шесты — тут всех прямо в дрожь бросило. Где он их срубил — так до сих пор никто и не знает. Увидал это лесоторговец, и сердце у него взвырвало: он быстро прикинул в уме, сколько можно выручить за эти бревна, а Михель и говорит: «Ну вот, на этих-то я и отправлюсь, не на тех же щепочках мне плыть!» Хозяин хотел было дать ему в награду пару сапог, какие носят плотовщики, да Михель отшвырнул их и припес невесть откуда другие, невиданные; дед мой уверял, что весили они добрых сто фунтов и были в пять футов длиной.

Плот спустили на воду, и ежели раньше Михель удивлял дровосеков, то теперь пришел черед дивиться плотовщикам: они-то думали, что плот их из-за тяжелых бревен пойдет медленно, а он, как только попал в Неккар, понесся стрелой; там же, где Неккар делал излучину и плотовщики обыкновенно с превеликим трудом удерживали гонку на быстрине, не давая ей врезаться в прибрежный песок или гальку, Михель всякий раз соскакивал в воду, одним толчком вправо или влево выправлял плот, так что он без помех скользил дальше; а где река текла прямо, перебегал вперед на первую вязку, приказывал всем положить весла, втыкал в дно реки свой огромный шест, и плот с маху летел вперед, — казалось, будто деревья и села на берегу стремительно проносятся мимо. Таким-то манером они вдвое быстрее обычного достигли города Кельна на Рейне, где всегда сбывали свой груз, но теперь Михель им сказал: «Ну и купцы! Хорошо же вы понимаете свою выгоду! Неужто вы думаете, что кельнцы сами потребляют весь лес, который им пригоняют из Шварцвальда? Нет, они скупают его у вас за полцены, а потом перепродают подороже в Голландию. Давайте мелкие бревна продадим здесь, а большие отвезем в Голландию; все, что мы выручим сверх обычной цены, пойдет в наш карман».

Так говорил злокозненный Михель, и остальным это пришлось по душе: кому хотелось повидать Голландию, кому взять побольше денег. Нашелся среди них один честный малый, который отговаривал их рисковать хозяйским добром или обманывать хозяина в цене, да они его и слушать не стали и сразу позабыли его слова, только Голландец Михель не позабыл. Вот и поплыли они со своим лесом дальше, вниз по Рейну, Михель управлял плотом и быстро доставил их в Роттердам. Там предложили им цену, вчетверо больше прежней, а за огромные Михелевы балки отвалили целую кучу денег. Когда шварцвальдцы увидели такую уйму золота, они прямо с ума посходили от радости. Михель поделил выручку — одну четверть лесоторговцу, три четверти — плотовщикам. И тут пошла у них гульба; с матросами и со всякой прочей швалью шатались они денно и нощно по кабакам, пропивали да проигрывали свои денежки, а того честного парня, который их удерживал, Голландец Михель продал торговцу живым товаром,

и никто больше о нем не слыхал. С той поры и стала Голландия раем шварцвальдских парней, а Голландец Михель — их повелителем; лесоторговцы долгое время ничего не знали об этой тайной торговле, и мало-помалу сюда, в верховья Рейпа, стали притекать из Голландии деньги, а с ними сквернословие, дурные нравы, игра и пьянство.

Когда правда наконец вышла наружу, Голландец Михель как в воду канул; однако он жив и поныне. Вот уже сто лет творит он бесчинства в здешнем лесу и, сказывают, многим помог разбогатеть, да только ценою их грешной души — больше я ничего не скажу. Одно верно: и по сию пору в такие вот бурные ночи высккивает он на Еловом Бугре, где никто леса не рубит, самые отменные ели, и мой отец своими глазами видел, как ствол толщиной в четыре фута переломил он, словно тростинку. Эти бревна он дарит тем, кто сошел с пути истинного и стакнулся с ним: в полночь они спускают плоты на воду, и он плывет с ними в Голландию. Только будь я государем в Голландии, я бы приказал разнести его в куски картечью, — ведь все корабли, где есть хоть одна доска из тех, что поставил Голландец Михель, неминуемо идут ко дну. Потому и приходится слышать о стольких кораблекрушениях: отчего бы ипаче вдруг затонул красивый крепкий корабль высотой с церковь? Но всякий раз, когда Голландец Михель в такую бурную ночь рубит ель в Шварцвальде, одна из прежних его досок выскакивает из пазов корабля, в щель затекает вода, и судно с людьми и товаром идет ко дну. Вот вам предание о Голландце Михеле, и то истинная правда — вся порча в Шварцвальде пошла от него. Да, он может дать человеку богатство, но я бы не стал у него что-нибудь брать, ни за что на свете не хотел бы я быть на месте Толстяка Эзехиля или Долговязого Шлуркера, говорят, что и Король Танцев предался ему!

Пока старик рассказывал, буря улеглась; напуганные девушки засветили лампы и ушли к себе, а мужчины положили на лавку у печки мешок, пабитый листьями, вместо подушки для Петера Мунка и пожелали ему спокойной ночи.

Никогда еще Петеру не снились такие страшные сны, как в эту ночь: то ему чудилось, будто огромный, страшный Голландец Михель распахивает окна в горнице и своей длинной ручищей сует ему под нос мешок с деньгами, легонько встряхивая его, так что монеты бренчат ласково и звонко; то ему снилось, будто добрый Стекланный Человечек скачет по компате верхом на громадной зеленой бутылке, и опять слышалось хриповатое хихиканье, как давеча на Еловом Бугре; кто-то прожужжал ему в левое ухо:

За золотом, за золотом
В Голландию плыви,
Золото, золото
Смело бери!

Тут в правое ухо ему полплась знакомая песенка про Хранителя Клада в еловом лесу, и нежный голосок прошептал: «Глупый Петер-угольщик, глупый Петер Мунк, не можешь найти риф-

му на «взывал», а еще родился в воскресенье, ровно в полдень. Ищи, глупый Петер, ищи рифму!»

Он кряхтел и стопал во сне, силясь найти рифму, но так как он еще сроду не сочинял стихов, все его усилия были напрасны. Когда же с первыми лучами зари он проснулся, сон этот показался ему очень странным; он сел за стол и, скрестив на груди руки, стал размышлять о словах, которые слышались ему во сне,— они все еще звучали у него в ушах. «Ищи, глупый Петер, ищи рифму!» — повторил он про себя и постучал себе пальцем по лбу, но рифма упорно не шла. Когда он по-прежнему сидел в той же позе и мрачно глядел перед собой, неотступно думая о рифме на «взывал», мимо дома в глубь леса прошли трое парней, и один из них на ходу распевал:

С горы в долипу я взывал,
Искал тебя, мой свет.
Платочек белый увидал —
Прощальный твой привет.

Тут Петера словно молнией прозило, он вскочил и выбежал на улицу,— ему показалось, что он недослышал. Нагнав парней, он быстро и цепко схватил певца за руку.

— Стой, приятель! — крикнул он. — Какая у вас там рифма на «взывал»? Сделайте милость, скажите мне слова той песни!

— Еще чего вздумал! — возразил шварцвальдец. — Я волен петь, что хочу! Ну-ка, отпусти мою руку, не то...

— Нет, ты мне скажешь, что пел! — в ярости кричал Петер, еще крепче сжимая парню руку.

Увидев это, двое других немедленно кинулись на Петера с кулаками и дубасили до тех пор, пока он от боли не выпустил рукав третьего и, обессилев, не рухнул на колени.

— Ну и поделом тебе! — смеясь, сказали парни. — А наперед запомни — с такими, как мы, шутки плохи!

— Запомнить-то я, конечно, запомню,— вздыхая, ответил Петер-угольщик. — Но теперь, когда вы все равно меня отдубасили, будьте так добры, скажите, что он пел!..

Они снова расхохотались и стали над ним издеваться; но парень, который пел песню, сказал ему слова, после чего они, смеясь и распевая, двинулись дальше.

— Значит, увидал,— пробормотал бедняга; весь избитый, он с трудом поднялся на ноги. — «Взывал» рифмуется с «увидал». Теперь, Стекланный Человечек, давай с тобой еще разок перемолвимся словом!

Он возвратился в дом, взял шляпу и посох попрощался с хозяевами и отправился опять на Еловый Бугор. Медленно и задумчиво шел он своей дорогой,— ведь ему непременно надо было вспомнить стихок; наконец, когда он уже всходил на бугор, где ели обступали его все теснее и становились все выше, стихок вдруг вспомнился сам собой, и он от радости даже подпрыгнул.

Тут из-за деревьев выступил огромный детина в одежде плотовщика, держа в руке багор длиной с корабельную мачту. У Пе-

тера Мунка подкосились поги, когда он увидел, что великап медленно зашагал рядом с ним, ибо он понял, что это не кто иной, как Голландец Михель. Страшный призрак шел молча, и Петер, в страхе, украдкой поглядывал на него. Он был, пожалуй, на голову выше самого высокого человека, которого Петер когда-либо видел, лицо его, хоть и сплошь изрытое морщинами, казалось не молодым и не старым; одет он был в парусиновую куртку, а огромные сапоги, натянутые поверх кожаных штанов, были знакомы Петеру из предания.

— Петер Мунк, зачем пришел ты сюда, на Еловый Бугор? — спросил наконец лесовик низким глухим голосом.

— Доброе утро, земляк, — отвечал Петер, делая вид, что ничуть не испугался, хотя на самом деле дрожал всем телом, — я иду через Еловый Бугор к себе домой.

— Петер Мунк, — возразил великап, метнув на юношу страшный, пронзительный взгляд, — через эту рощицу твой путь не лежит.

— Ну да, это не совсем прямой путь, — заметил тот, — но сегодня жарко, вот я и подумал, что здесь мне будет попрохладней.

— Не лги, Петер-угольщик! — громовым голосом вскричал Голландец Михель. — Не то я уложу тебя на месте вот этим багром. Думаешь, я не видел, как ты клячил деньги у гнома? — добавил он чуть мягче. — Положим, то была глупая затея, и хорошо, что ты позабыл стишок, ведь коротышка-то скупердый, много он не даст, а если кому и даст, тот не возрадуется. Ты, Петер, горемыка, и мне от души тебя жаль. Такой славный, красивый малый мог бы заняться чем получше, а не сидеть день-деньской возле угольной ямы! Другие так и сыплют талерами или дукатами, а ты едва можешь наскрести несколько грошей. Что это за жизнь!

— Ваша правда, жизнь незавидная, ничего тут не скажешь!

— Ну, для меня это суший пустяк, — я уже не одного такого молодца вызволил из нужды, — не ты первый. Скажи-ка, сколько сотен талеров понадобится тебе для начала?

Тут он потряс деньгами в своем огромном кармане, и они зазвенели как нынешней ночью в Петеровом сне. Но сердце Петера при этих словах тревожно и болезненно сжалось; его бросало то в жар, то в холод, не похоже было, что Голландец Михель способен дать деньги из жалости, ничего не требуя взамен. Петеру вспомнились таинственные слова старого дровосека о богатых людях, и, полный неизъяснимого страха, он крикнул:

— Большое спасибо, сударь, только с вами я не хочу иметь дело — ведь я вас узнал! — и побежал, что было прыти. Но лесной дух огромными шагами следовал за ним, глухо и грозно ворча:

— Ты пожалеешь об этом, Петер, на лбу у тебя написано и по глазам видно — меня тебе не миновать. Да не беги ты так быстро, послушай разумное слово, вот уже и граница моих владений!

Но как только Петер это услышал и заметил впереди неширокую канаву, он помчался еще быстрее, чтобы поскорее пересечь границу, так что Михелю под конец пришлось тоже прибавить шагу, и он гнался за Петером с бранью и угрозами. Отчаянным прыжком юноша перемахнул через канаву,— он увидел, как лесовик занес свой багор, готовясь обрушить его на голову Петера; однако он благополучно прыгнул на ту сторону, и багор разлетелся в щепы, словно ударясь о невидимую стену, только один длинный обломок долетел до Петера.

Торжествуя, подобрал он обломок, чтобы швырнуть его пазад грубяну Михелю, но вдруг почувствовал, что кусок дерева ожил в его руке, и, к ужасу своему, увидел, что держит чудовищную змею, которая тянется к нему, сверкая глазами и алчно высовывая язык. Он выпустил ее, но она успела плотно обвиться вокруг его руки и, раскачиваясь, понемногу приближалась к его лицу. Вдруг раздался шум крыльев, и откуда-то слетел огромный глухарь, он ухватил змею за голову своим клювом и взмыл с нею в воздух, а Голландец Михель, видевший с другой стороны канавы, как змею унес некто посылнее его, завыл и затопал от ярости.

Едва отдышавшись и еще весь дрожа, Петер продолжал свой путь; тропа делалась все круче, а местность все пустышнее, и вскоре он снова очутился возле громадной ели. Он принялся, как вчера, отвешивать поклоны Стеклянному Человечку, а потом произнес:

Хранитель Клада в лесу густом!
Средь елей зеленых таится твой дом.
К тебе с надеждой всегда зывал,
Кто в воскресенье свет увидал.

— Хоть ты и не совсем угадал, Петер-угольщик, но тебе я покажусь, так уж и быть,— проговорил тонкий, нежный голосок близости от него.

Петер в изумлении оглянулся: под красивой елью сидел маленький старичок в черной курточке, красных чулочках и огромной шляпе. У него было тонкое приветливое личико, а борода нежная, словно из паутины, он курил — чудеса, да и только! — синюю стеклянную трубку, а когда Петер подошел поближе, то еще больше удивился; вся одежда, башмаки и шляпа Человечка были тоже из стекла, но оно было мягкое, словно еще не успело остыть, ибо следовало за каждым движением Человечка и облегало его, как материя.

— Тебе, значит, повстречался этот разбойник, Голландец Михель? — сказал Человечек, странно покашливая после каждого слова.— Он хотел тебя хорошенько напугать, да только я отобрал у злыдня его хитрую дубинку, больше он ее не получит.

— Да, господин Хранитель Клада,— ответил Петер с глубоким поклоном,— я было здорово испугался. А вы, значит, и были тот глухарь, что заклевал змею,— низжайшее вам спасибо. Я пришел сюда, чтобы просить у вас совета и помощи, уж больно мне худо живется, угольщик, он угольщиком и останется, а ведь я еще

молод, вот я и подумал, что из меня могло бы выйти кое-что по-лучше. Как посмотрю на других, сколько они пажили за короткое время,— взяты хотя бы Эзехиля или Короля Танцев — у них денег куры не клюют!

— Петер,— с величайшей серьезностью сказал Человечек, выпустив длинную струю дыма из своей трубки.— Петер, об этих двоих я и слышать не хочу. Какая им польза от того, что они несколько лет будут здесь слыть счастливыми, зато потом станут тем несчастнее? Не презирай свое ремесло, твой отец и твой дед были достойные люди, а ведь они занимались тем же делом, что и ты, Петер Мунк! Не хотел бы я думать, что тебя привела сюда любовь к праздности.

Серьезный тон Человечка испугал Петера, и он покраснел.

— Нет, господин Хранитель Клада,— возразил он,— я знаю, что праздность — мать всех пороков, но ведь вы не станете на меня обижаться за то, что другое занятие мне больше по душе, нежели мое собственное. Угольщик — ничтожнейший человек на земле, вот стекловары, плотовщики, часовых дел мастера — те будут попочтенней.

— Надменность нередко предшествует падению,— ответил Человечек уже немного приветливей.— Что вы, люди, за странное племя! Редко кто из вас бывает доволен тем положением, которое занимает по рождению и воспитанию. Ну, станешь ты стекловаром, так тебе непременно захочется стать лесоторговцем, а станешь лесоторговцем, тебе и этого будет мало, и ты пожелаешь себе место лесничего или окружного начальника. Но будь по-твоему! Если ты мне обещаешь прилежно трудиться, я помогу тебе, Петер, зажить получше. Я имею обыкновение каждому, кто родился в воскресенье и сумел найти путь ко мне, исполнять три его желания. В первых двух он волен, а в третьем я могу ему и отказать, если желание его безрассудно. Пожелай и ты себе что-нибудь, Петер, но смотри не ошибись, пусть это будет что-нибудь хорошее и полезное!

— Ура! Вы замечательный Стеклопный Человечек, и не зря вас зовут Хранителем Клада, вы и сами суций клад! Ну, раз уж я могу пожелать, чего душа моя просит, то я хочу, во-первых, уметь танцевать еще лучше Короля Танцев и всякий раз приносить с собой в трактир вдвое больше денег, чем тот!

— Глупец! — гневно вскричал Человечек.— Что за пустое желание — хорошо танцевать и выбрасывать как можно больше денег на игру! Не стыдно ли тебе, безмозглый Петер, так прозевать свое счастье! Что пользы тебе и твоей бедной матери от того, что ты будешь хорошо танцевать? Что пользы вам от денег, раз ты пожелал их себе только для трактира и все они будут там оставаться, как деньги ничтожного Короля Танцев? Всю остальную неделю ты опять будешь сидеть без гроша и по-прежнему терпеть нужду. Еще *одно* твое желание будет исполнено — но подумай как следует и пожелай себе что-нибудь дельное!

Петер почесал в затылке и, немного помедлив, сказал:

— Ну тогда я желаю себе самый большой и самый прекрасный стекольный завод во всем Швардвальде, со всем, что положено, а также деньги, чтобы им управлять!

— И больше ничего? — озабоченно спросил Человекечек. — Ничего больше, Петер?

— Ну, можете добавить еще лошадь и повозочку...

— О, безмозглый Петер-угольщик! — вскричал Человекечек и с досады швырнул свою стеклянную трубку в ствол толстой ели так, что она разлетелась вдребезги. — Лошадь! Повозочку! Ума, ума — вот чего следовало тебе пожелать, простого человеческого разумения, а не лошадь и повозочку! Ну, да не печалься, постараемся сделать так, чтобы это не пошло тебе во вред, — второе твое желание в общем не так уж глупо. Хороший стекольный завод прокормит своего владельца-умельца, тебе бы еще только прихватить ума-разума, а уж лошадь и повозочка появились бы сами собой!

— Но, господин Храпитель Клада, у меня ведь остается еще одно желание. Вот я и мог бы пожелать себе ума, коль мне его так недостает, как вы говорите.

— Нет уж! Тебе еще не раз придется туго, и ты будешь рад-радехонек, что у тебя есть в запасе еще одно желание. А теперь отправляйся-ка домой! Вот, возьми, — сказал маленький владыка елей, вытаскивая из кармана мешочек, — здесь две тысячи гульденов, это все, и не вздумай еще раз являться ко мне за деньгами, не то я повешу тебя на самой высокой ели. Так уж у меня заведено с тех пор, как я живу в этом лесу. Три дня тому назад умер старый Винкфриц, которому принадлежал большой стекольный завод в нижнем лесу. Сходи туда завтра утром и предложи наследникам свою цену, честь по чести. Будь молодцом, прилежно трудись, а я время от времени стану навещать тебя и помогать тебе советом и делом, раз уж ты ума себе так и не выпросил. Но говорю тебе не шутя — твое первое желание было дурно. Смотри, Петер, не вздумай зачистить в трактир, это еще никого не доводило до добра.

Сказав это, Человекечек достал новую трубку из прекраснейшего прозрачного стекла, набил ее сухими еловыми шишками и сунул в свой беззубый рот. Потом он вытащил огромное зажигающее стекло, вышел на солнце и зажег трубку. Управившись с этим, он ласково протянул руку Петеру, напутствовал его еще несколькими добрыми советами, а затем принялся все сильнее пыхать своей трубкой и пускать дым все чаще, пока и сам не скрылся в облаке дыма, который пах настоящим голландским табаком и понемногу рассеивался, клубясь меж верхушек елей.

Когда Петер пришел домой, он застал мать в большой тревоге, — добрая женщина думала, что ее сына не иначе как забрали в солдаты. Но он вернулся в самом лучшем расположении духа и рассказал, что повстречал в лесу доброго друга, который ссудил его деньгами, чтобы он, Петер, сменил ремесло угольщика на другое, получше. Хотя мать Петера уже тридцать лет жила в хижине угольщика и привыкла к черным от сажи лицам, как жена мельника привыкает к белому от муки лицу своего мужа, все-таки она

была достаточно тщеславна, чтобы сразу, как только Петер расписал ей блестящее будущее, исполниться презрения к своему сословию. «Да,— сказала она,— мать владельца стекольного завода — это не какая-нибудь кумушка Грета или Бета, теперь я в церкви буду садиться на передние скамьи, где сидят порядочные люди».

Сын ее быстро поладил с наследниками стекольного завода. Он оставил всех прежних рабочих, но теперь они должны были денно и нощно выдувать для него стекло. Поначалу новое дело ему нравилось. Он взял за привычку неторопливо спускаться вниз на завод и важно расхаживать там, заложив руки в карманы, заглядывая то туда, то сюда и отпуская замечания, над которыми рабочие иной раз немало потешались; но самым большим удовольствием для него было смотреть, как выдувают стекло. Нередко он тоже брался за работу и выделывал из мягкой стекольной массы диковишнейшие фигуры. Но вскоре это занятие ему наскучило, и он стал заходить на завод сперва только на часок, потом через день, а там — и раз в неделю, и его подмастерья делали все, что им вздумается. А причиной этому было то, что Петер зачастил в трактир. В первое же воскресенье после того, как он побывал на Еловом Бугре, Петер отправился в трактир и увидел там своих старых знакомцев — и Короля Танцев, который лихо отплясывал посреди зала, и Толстяка Эзекиля — этот сидел за пивной кружкой и играл в кости, то и дело бросая на стол звонкие талеры. Петер поспешно сунул руку в кармап, проверить, не обманул ли его Стекланный Человечек,— и гляди-ка! — кармап его оказался битком набит золотыми и серебряными монетами. Да и ноги у него так и чесались, будто сами просились в пляс, и вот, как только кончился первый танец, Петер со своей парой стал впереди, рядом с Королем Танцев, и когда тот подпрыгивал на три фута вверх, Петер взлетал на четыре, когда тот выкидывал самые замысловатые и невиданные коленца, Петер выписывал погами такие вензеля, что зрители были вне себя от изумления и восторга. Когда же в трактире прослышали, что Петер купил стекольный завод, и увидали, что, поравнявшись во время танца с музыкантами, он всякий раз бросает им по нескольку крейцеров, удивлению не было границ. Одни думали, что он нашел в лесу клад, другие — что получил наследство, но и те и эти отныне смотрели на него как на человека, который чего-то добился в жизни, и оказывали ему всяческое уважение — а все оттого только, что у него завелась деньги. И хотя в тот вечер Петер проиграл целых двадцать гульденов, в кармане у него по-прежнему звенело, словно там оставалась добрая сотня талеров.

Когда Петер заметил, сколь почтительно с ним обходятся, он от радости и гордости совсем потерял голову. Он бросал теперь деньги целыми пригоршнями и щедро раздавал их бедным, ибо еще не забыл, как его самого прежде угнетала бедность. Искусство Короля Танцев было посрамлено сверхъестественной ловкостью нового танцора, и этот высокий титул перешел отныне к Петеру.

Самые завязтые воскресные игроки не делали таких дерзких ставок, как он, но зато и проигрывали они куда меньше. Однако чем больше Петер проигрывал, тем больше у него появлялось денег. Все происходило в точности так, как он того требовал от Стеклянного Человечка. Он желал всегда иметь в кармане ровно столько денег, сколько было их у Толстяка Эзехиля, а ему-то он и проигрывал. И когда ему случалось проиграть двадцать-тридцать гульденов зараз, он тотчас же вновь оказывались у него в кармане, стояло только Эзехилю спрятать свой выигрыш. Мало-помалу он перещеголял в игре и разгуле самых отпетых парней во всем Шварцвальде, и его чаще называли Петер-игрок, чем Король Танцев, потому что теперь он играл и в будни. Зато его стекольный завод постепенно пришел в упадок, и виной тому было неразумие Петера. Стекла по его приказанию делали все больше, да только Петер не сумел вместе с заводом купить и секрет, куда это стекло выгодней сбывать. Под конец он не знал, что ему делать со всем этим товаром, и за полцены продал его бродячим торговцам, чтобы выплатить жалованье рабочим.

Однажды вечером он плелся домой из трактира и, хотя немало выпил, чтобы развеять печаль, все же с тоской и страхом думал о предстоящем ему разорении. Вдруг он заметил, что рядом с ним кто-то идет, оглянулся — вот тебе на! То был Стеклянный Человечек. Злоба и ярость обуяли Петера, он стал запальчиво и дерзко бранить маленького лесовика — он-де виноват во всех его, Петера, несчастьях.

— На что мне теперь лошадь и повозочка? — кричал он. — Какой мне толк от завода и от всего моего стекла? Когда я был простым чумазым угольщиком, мне и то веселее жилось, и я не знал забот. А теперь я со дня на день жду, что придет окружной начальник, опишет мое добро за долги и продаст с торгов.

— Вот, значит, как? Выходит, я повинен в том, что ты несчастлив? Такова твоя благодарность за все мои милости? Кто тебе велел загадывать такие дурацкие желания? Ты захотел стать стеклоделом, а куда продавать стекло, и понятия не имел. Разве я тебя не предупреждал, чтобы ты был осмотрителен в своих желаниях? Ума, смекалки — вот чего тебе не хватает, Петер.

— При чем тут ум и смекалка! — вскричал тот. — Я ничуть не глупее других, ты еще в этом убедишься, Стеклянный Человечек. — С этими словами он грубо схватил лесовичка за шиворот и закричал: — Попался, господин Хранитель Клада! Я нынче же назову свое третье желание, а ты изволь мне его исполнить. Так вот, я желаю тут же на месте получить дважды по сто тысяч талеров и дом, а сверх того... ой-ой-ой! — завопил он и задергал рукой: Стеклянный Человечек превратился в расплавленное стекло и огнем жег ему руку. А сам Человечек бесследно исчез.

Еще много дней спустя распухшая рука напоминала Петеру о его неблагодарности и безрассудстве. Но потом он заглушил в себе голос совести и подумал: «Ну и пусть они продают мой завод и все остальное, у меня ведь еще остается Толстяк Эзехиль. Пока

у него по воскресеньям водятся в кармане денежки, они будут и у меня».

Верно, Петер! Ну, а как их у него не станет? Так в конце концов и случилось, и то был удивительный арифметический казус. Однажды в воскресенье подъехал он к трактиру, все любопытные повывисывались из окон, и вот один говорит: «Петер-игрок прикатил», другой ему вторит: «Да, Король Танцев, богатый стеклодел», а третий покачал головой и сказал: «Было богатство, да сплыло; поговаривают, что у него куча долгов, а в городе один человек сказывал, будто окружной пачальник вот-вот назначит торги».

Петер-богач важно и церемонно раскланялся с гостями, слез с повозки и крикнул:

— Добрый вечер, хозяин! Что, Толстяк Эзехиль уже пришел?

Ему ответил низкий голос из дома:

— Заходи, заходи, Петер! Твое место свободно, а мы уж заехали за карты.

Петер Мунк вошел в трактир и сразу полез в карман: должно быть, Эзехиль имел при себе изрядный куш, потому что Петеров карман был набит доверху. Он подсел за стол к остальным и начал играть; то проигрывал, то выигрывал, так и сидели они за карточным столом до вечера, покуда весь честный люд не стал расходиться по домам, а они все продолжали играть при свечах; тут двое других игроков сказали:

— На сегодня хватит, нам пора домой, к жепе и детям.

Однако Петер-игрок стал уговаривать Толстяка Эзехиля остаться. Тот долго не соглашался, но под конец воскликнул:

— Ну ладно, сейчас я сосчитаю свои деньги, а потом мы бросим кости; ставка — пять гульденов; меньше — не игра.

Он вытащил кошелек и сосчитал деньги — набралось ровно сто гульденов, так Петер-игрок узнал, сколько есть у него — ему и считать не надо было. Однако если раньше Эзехиль выигрывал, то теперь он терял ставку за ставкой и при этом сыпал страшнейшими ругательствами. Стоило ему бросить кость, как следом за ним бросал и Петер, и всякий раз у него оказывалось на два очка больше. Наконец Эзехиль выложил на стол последние пять гульденов и воскликнул:

— Попробую еще разок, но коли опять проиграю — все равно не брошу; тогда ты, Петер, дашь мне взаймы из своего выигрыша! Честный человек всегда помогает ближнему.

— Изволь, хоть сто гульденов, — отвечал Король Танцев, который не мог парадоваться своему везению.

Толстяк Эзехиль встряхнул кости и бросил: пятнадцать. «Так! — крикнул он. — Поглядим теперь, что у тебя!» Но Петер выкинул восемнадцать, и тут у него за спиной раздался знакомый хриплый голос: «Все! Это была последняя ставка».

Он оглянулся — позади него во весь свой огромный рост стоял Голландец Михель. От испуга Петер выронил деньги, которые только что сгрел со стола. Но Толстяк Эзехиль не видел Михеля и

требовал у Петера-игрока десять гульденов, чтобы отыграться. Словно в забытый карман, да только оттуда не выпало ни единого геллера, и лишь теперь Петер вспомнил первое свое желание — всегда иметь столько денег, сколько их у Толстяка Эзехиля. Богатство развеялось как дым. Эзехиль и трактирщик с удивлением глядели, как он роется в карманах и не находит денег, — им не верилось, что у него их больше нет; но когда они сами обшарили его карманы и ничего не нашли, то впали в бешепство и стали кричать, что Петер — колдун, что весь выигрыш и остаток своих денег он колдовским способом переправил домой. Петер стойко защищался, но все было против него; Эзехиль объявил, что разнесет эту ужасную историю по всему Шварцвальду, а трактирщик пригрозил завтра с рассветом отправиться в город и заявить на Петера Мунка, как на колдуна; он надеется еще увидеть, добавил трактирщик, как Петера будут сжигать. Тут они, озверев, набросились на Петера, сорвали с него кафтан и вытолкали за дверь.

Ни одной звездочки не горело на небе, когда Петер, в полном унынии, брел домой; однако он все же различил рядом с собой угрюмого великана, который не отставал от него ни на шаг и наконец заговорил:

— Доигрался ты, Петер Мунк. Копец твоему барскому житью, я бы мог предсказать это еще тогда, когда ты не желал со мной зпаться и побежал к глупому стекляшному гному. Теперь ты и сам видишь, что бывает с теми, кто не слушает моего совета. Что ж, попытай теперь счастья со мной — мне тебя жаль. Никто еще не раскаивался в том, что обратился ко мне. Так вот, ежели дорога тебя не пугает, завтра я целый день буду на Еловом Бугре — стоит тебе только позвать.

Петер прекрасно понял, кто с ним говорит, но его охватил ужас. Ничего не ответив, он бросился бежать к дому.

На этих словах речь рассказчика была прервана какой-то суетней внизу. Слышно было, как подъехал экипаж, как несколько человек требовали принести фонарь, как громко стучали в ворота, как лаяли собаки. Комната, отведенная возчику и ремесленникам, выходила на дорогу, все четверо постояльцев побежали туда посмотреть, что случилось. Насколько позволял свет фонаря, они разглядели перед заезжим двором большой дормез; рослый мужчина как раз помогал выйти из экипажа двум дамам в вуалях; кучер в ливрее выпрягал лошадей, а лакей отстегивал кофр.

— Да поможет им бог, — вздохнул возчик. — Если эти господа выберутся из харчевни целы и невредимы, тогда и мне нечего бояться за мою повозку.

— Тсс! — прошептал студент. — Мне сдается, что подстерегают не нас, а этих дам. Должно быть, тем, что внизу, уже заранее было известно об их приезде. Ах, если бы только можно было их предупредить! А, знаю! Тут во всем доме, кроме моей, только

одна комната, приличествующая этим дамам, и как раз рядом с моей. Туда их и проводят. Сидите в этой комнате и не шумите, а я постараюсь предупредить их слуг.

Молодой человек тихонько пробрался к себе в комнату, погасил свечи, оставив гореть только тот огарок, что дала хозяйка. Затем стал подслушивать у дверей.

Вскоре хозяйка проводила дам паверх, указала отведенную им комнату, приветливо и ласково уговаривая их поскорее лечь спать после столь утомительной дороги. Затем она сошла вниз. Скоро студент услышал тяжелые мужские шаги. Он осторожно приоткрыл дверь и увидел в щелочку того рослого мужчину, что помогал дамам выйти из дормеза. Он был в охотничьем костюме, с охотничьим ножом за поясом, и, как видно, был штальмейстером или егерем, выездным лакеем двух неизвестных дам. Увидев, что он один поднимается по лестнице, студент быстро открыл дверь и поманил его к себе. Тот в недоумении подошел ближе, но не успел спросить, в чем дело, как студент сказал ему шепотом:

— Милостивый государь, вы попали в разбойничий притон.

Незнакомец испугался. Студент потянул его за собой в комнату и рассказал, какой это подозрительный дом.

Егерь был очень обеспокоен его словами. Студент услышал от него, что дамы — графиня и ее камеристка — сначала хотели ехать всю ночь, но приблизительно за полчаса отсюда им повстречался всадник, он окликнул их и спросил, куда они держат путь. Узнав, что они намерены всю ночь ехать Шпессартским лесом, он им это отсоветовал, потому что сейчас здесь пошаливают. «Ежели вы хотите послушаться доброго совета, — прибавил он, — то откажитесь от этой мысли: отсюда недалеко до харчевни, как бы плоха и неудобна она ни была, все же переночуйте лучше там, не следует без нужды подвергать себя темной ночью опасности». Человек, что дал такой совет, казался, по словам егеря, очень честным и благородным, и графиня, боясь нападения разбойников, приказала заночевать в этой харчевне.

Егерь счел своей обязанностью предупредить дам о грозящей опасности. Он прошел в смежную комнату и через некоторое время отворил дверь, которая вела из комнаты графини в комнату студента. Графиня, дама лет сорока, бледная от страха, вышла к студенту и попросила его повторить ей все сказанное егерю. Затем они посоветовались, что делать в их рискованном положении, и решили как можно осторожнее позвать двух графининых слуг, возчика и обоих ремесленников, чтобы в случае нападения держаться всем вместе.

Когда все были в сборе, ту дверь, что из комнаты графини вела в коридор, заперли и заставили комодами и стульями. Графиня с камеристкой уселись на кровать, а двое их слуг стали на страже. А егерь и те, что остановились на заезжем дворе раньше, в ожидании нападения разместились за столом в комнате студента. Было около десяти вечера, в доме все затихло, и казалось, никто не собирается нарушать покой постояльцев.

— Чтобы не заснуть, давайте делать то же, что и перед этим,— предложил мастер.— Мы рассказывали разные истории, и, если вы, сударь, не возражаете, мы и сейчас займемся тем же.

Но егерь не только не возражал, а даже, чтобы доказать свою готовность, предложил сам что-нибудь рассказать. Он начал так:

ПРИКЛЮЧЕНИЯ САИДА

Во времена Гаруна аль-Рашида, повелителя Багдада, жил в Бальсоре человек по имени Бенезар. У него хватало достатка, чтобы жить спокойно и в довольстве, не занимаясь торговлей или каким другим делом. И когда у него родился сын, он тоже не изменил образа жизни. «Зачем мне в моем-то возрасте торговать и пахиваться,— говорил он соседям,— уж не для того ли, чтобы оставить моему сыну Саиду на тысячу золотых больше, ежели мне повезет, а ежели не повезет, на тысячу меньше? Где двое сыты, там и третий голодным не будет, говорится в пословице, только бы сын вырос добрым юношей, а все остальное приложится». Так сказал Бенезар и сдержал свое слово. Он и сына не обучил торговле или какому-нибудь ремеслу. Но он не забывал читать с ним книги мудрости, и, памятуя, что кроме учености и уважения к старости ничто так не украшает юношу, как меткая рука и мужество, он рано обучил его владеть оружием, и Саид скоро прослыл среди своих сверстников и даже среди юношей старше его годами смелым воином, а в верховой езде и плавании ему не было равных.

Когда Саиду минуло восемнадцать лет, отец послал его в Мекку, поклониться гробу пророка и, как то повелевают обычай и завет Магомета, совершить молитву и положенные обряды. Перед отъездом отец призвал его к себе, похвалил за благоправье, еще раз напутствовал добрым словом, снабдил деньгами, а затем сказал:

— И вот еще что я скажу тебе, сын мой Саид! Я не придерживаюсь предрассудков темного люда. Правда, я охотно слушаю рассказы про фей и волшебников, это очень красит досуги, но я далек от того, чтобы, как многие невежественные люди, верить, будто гении или какие другие сверхъестественные силы оказывают воздействие на жизнь людей. Но твоя мать,— уже двенадцать лет, как она умерла,— твоя мать верила в них столь же свято, как в Курап. Скажу больше, однажды она, взяв с меня суровую клятву, никому, кроме ее дитяти, не открывать этой тайны, призналась мне, что со дня своего рождения общается с феей. Я высмеял ее, но все же, должен признаться, что твое рождение, Саид, ознаменовалось поразившими меня явлениями. Весь день лил дождь и гремел гром, небо заволокли черные тучи, и читать, не зажегши света, было невозможно. В четыре часа дня мне сообщили, что родился мальчик. Я поспешил в покои твоей матери, чтобы увидеть и благословить моего первенца, но все ее прислужницы стоя-

ли перед дверью и на мои вопросы ответили, что никому не позволено входить в комнату роженицы; Земира, твоя мать, приказала всем выйти, ибо хотела остаться одна. Напрасно стучал я в дверь — дверь не открылась.

Недовольный, остался я ждать вместе с прислужницами, по тут тучи рассеялись так внезапно, как мне еще ни разу не доводилось видеть, а всего удивительнее было то, что только над любезной нашему сердцу Бальсорой сияла небесная лазурь, а вокруг все заволокли черные тучи, прорезанные зигзагами сверкающих молний. В то время как я с любопытством наблюдал это явление, распахнулись двери в покои моей жены. Я оставил служанок ждать за дверью и вошел один к твоей матери, чтобы спросить, почему она заперлась в своей опочивальне. Когда я вошел, на меня повеяло таким одуряющим ароматом роз, гвоздик и гиацинтов, что я словно опьянел. Твоя мать поднесла мне тебя и показала серебряную дудочку на тонкой, как шелковинка, золотой цепочке, висевшую у тебя на шее. «Добрая женщина, о которой я тебе уже говорила, была здесь, — сказала твоя мать, — вот что она подарила твоему сыночку». «А, так, значит, эта самая ведьма и разогнала непогоду и напоила твою опочивальню благоуханием роз и гвоздик, — сказал я, недоверчиво усмехнувшись. — Могла бы поднести мальчику что-нибудь поценней дудочки, — хотя бы мешок с золотом, коня или еще что в том же роде!» Твоя мать заклинала меня не издеваться над феями, ведь они вспыльчивы, и в их власти сделать так, что подарок на счастье принесет несчастье.

Она была больна, поэтому я не стал перечить и умолк. Больше про это удивительное происшествие мы ни разу не поминали, только шесть лет спустя, когда твоя мать почувствовала, что, несмотря на свою молодость, скоро умрет, она дала мне ту дудочку и поручила в день, когда тебе исполнится двадцать лет, отдать ее тебе, и ни в коем случае не отпускать тебя из дому хотя бы на час раньше этого дня. Она умерла. Вот этот подарок, — продолжал Бенезар, достав из ларчика серебряную дудочку на длинной золотой цепочке, — тебе сейчас только восемнадцать, не двадцать лет, но я даю ее тебе, потому что ты уезжаешь, а я могу отойти к праотцам еще до твоего возвращения. Я не вижу разумного основания два лишних года удерживать тебя здесь, как того хотела заботливая твоя мать. Ты добрый, рассудительный юноша, оружием владеешь не хуже двадцатичетырехлетнего, и я уже сейчас могу считать тебя совершеннолетним, все равно, как если бы тебе уже минуло двадцать. А теперь, поезжай с миром и в счастье и в несчастье, от которого да хранит тебя небо, помни о своем отце!

Так сказал Бенезар из Бальсоры, отпуская сына в путь. Саид растрогался, прощаясь с отцом, надел цепочку на шею, засунул дудочку за кушак, сел на коня и поскакал туда, откуда отправлялся караван в Мекку. Вскорости караван в восемьдесят верблюдов и несколько сот всадников тронулся в путь, и Саид выехал из

ворот Бальсоры, своего родного города, который ему не скоро суждено было снова увидеть.

Вначале его развлекала новизна путешествия и разные разности дотеле им невиданные, но по мере приближения каравана к пустыне местность становилась все более голой и безлюдной, и Саидом овладели разные мысли, между прочим задумался он и над прощальными словами Бенезара, своего отца.

Он вытащил из-за кушака дудочку, осмотрел ее со всех сторон и под конец приложил к губам, ожидая, что она издаст громкий красивый звук, но — вот так штука! — она не зазвучала; он надул щеки и стал дуть что было мочи, но звука так и не извлек; недовольный ненужным подарком, сунул он дудочку опять за кушак. Однако вскоре снова задумался над таинственными словами матери. Ему доводилось слышать о феях, но ни разу не слышал он, чтобы тот или иной из его соседей вступал в общение с сверхъестественными силами; сказания о духах обычно относили к далеким странам и давно минувшим временам, вот он и полагал, что в наши дни фей не бывает, или же они перестали являться людям и принимать участие в их судьбе. Но хотя он так думал, все же им снова и снова овладевало желание поверить в то таинственное и сверхъестественное, что могло произойти с его матерью, вот потому-то он почти целый день ехал словно во сне, не принимая участия в беседе спутников, и не обращал внимания на их пение и смех.

Саид отличался редкой красотой; взгляд его был смел и отважен, рот приятно очерчен, и, несмотря на молодость, во всем его облике было такое достоинство, какое не часто встретишь в столь юные годы, а та осанка, та легкость, та уверенность, с которой он в полном воинском снаряжении сидел на коне, привлекали к нему взоры многих путников.

Старику, ехавшему с ним рядом, он очень поправился, и тот решил расспросить его и узнать его мысли. Саид, которому отец с детства внушил почтительность к старости, отвечал скромно, но умно и обдуманно, чем весьма порадовал старика. Поскольку Саид целый день размышлял все об одном и том же, разговор вскоре перешел на таинственное царство фей, и Саид задал старцу откровенный вопрос, верит ли тот в существование фей и добрых и злых духов, которые охраняют или преследуют человека.

Старик погладил бороду, покачал головой и затем ответил:

— Начисто отрицать, что такое возможно, нельзя, хотя мне до сего дня не довелось еще видеть духов ни в образе гнома, ни в образе великана, а также не встречал я волшебников и фей.

Потом старик принялся рассказывать Саиду столько разных историй о чудесах, что вскружил юноше голову, и тот теперь уже думал, будто все, что творилось при его рождении — перемена погоды, сладостный аромат роз и гиацинтов — великое и счастливое предзнаменование; верно, его охраняет могучая, добрая фея, и дудочка подарена ему именно для того, чтобы оповестить фею,

ежели он попадет в беду. Всю ночь ему снились дворцы, волшебные кони, духи и все такое, он поистине жил в волшебном царстве.

Но, к сожалению, уже на следующий день ему пришлось убедиться, сколь тщетны все его грезы и во сне, и наяву. Караван, медленно выступая, шел уже больше чем полдня по пустыне, Саид все так же ехал рядом со стариком, своим спутником, как вдруг далеко на горизонте показались какие-то темные тени; одни сочли их за песчаные холмы, другие — за облака, а кое-кто за встречный караван, но старик, которому уже не раз приходилось пересекать пустыню, громко крикнул, что надо принять меры: приближается разбойничья орда арабов-кочевников. Мужчины взяли за оружие и кольцом окружили женщин и товары, все приготовились отразить нападение. Темная масса медленно подвигалась к ним и напоминала огромную стаю аистов, собравшуюся для отлета в дальние края. Затем орда стала приближаться быстрее и быстрее, и не успели путники различить всадников, вооруженных копьями, как арабы с быстротой ветра налетели на караван.

Мужчины храбро оборонялись, но разбойников было больше четырех сотен, они окружили караван со всех сторон, многих еще издалека застрелили из луков, а потом пустили в ход копыя. В эту страшную минуту Саид, все время отважно сражавшийся в первых рядах, вспомнил о своей дудочке, он быстро вытащил ее, приложил к губам, дунул и... и грустно опустил, — она не издала ни звука. Разъяренный, жестоко разочарованный он прицелился и пустил стрелу в грудь арабу, выделявшемуся среди прочих богатой одеждой; тот закачался и упал с лошади.

— Аллах! Что вы наделали, юноша! — воскликнул старик, ехавший рядом. — Теперь всем нам конец!

И так оно и случилось. Как только разбойники увидели, что тот человек упал, они озверели, с неистовыми криками набросились на караван и быстро справились с немногими еще не ранеными мужчинами. Саида в мгновение ока окружили пять-шесть арабов. Он так ловко владел копьем, что никто не смел к нему подступить; наконец один араб натянул лук, прицелился и уже хотел спустить тетиву, но тут другой подал ему знак. Саид приготовился к повому патиску, но не успел он опомниться, а уж другой разбойник набросил ему на шею петлю, и, как Саид ни старался разорвать веревку, все усилия его были тщетны, петля затягивалась все туже и туже, — Саид оказался пленником.

Караван был частью уничтожен, частью взят в плен. Арабы, принадлежавшие к разным племенам, поделили между собой пленников и добычу, а затем ускакали одни на юг, другие на восток. Саида сопровождали четыре вооруженных всадника, они часто окидывали его злыми взглядами и осыпали проклятиями. Он понял, что убил знатного человека, может даже сына вождя. Рабство, которое предстояло ему, было горше смерти. Поэтому он втайне радовался, что навлек на себя гнев всего племени, ведь он был уверен, что, вернувшись на становище, арабы его убьют. Вооруженные всадники следили за каждым его движением и, как

только он оглядывался, грозили ему копыями; но раз, когда лошадь одного из них споткнулась, Саид быстро оглянулся и с радостью увидел старика, своего спутника, которого считал убитым.

Наконец вдали показались деревья и палатки, а когда подъехали ближе, павстречу прибывшим хлынула целая толпа женщин и детей; но при первых же словах разбойников они, громко плача, злобно глядели на Саида, выкрикивали проклятия и угрожающе размахивали руками. «Так это он убил великого Альмансора, храбреца из храбрецов! — кричали они. — Он повинен смерти, мы бросим его тело на съедение шакалам». Потом, озверев, схватив все, что попало под руки, — обломки дерева, камни, — кинулись они к Саиду с таким остервенением, что разбойникам пришлось вмешаться. «Прочь, молокососы! Женщины, куда вы лезете? — кричали они, копыями разгоняя толпу. — Он сразил великого Альмансора в бою, он повинен смерти, но не от руки женщины, а от меча храбрых».

Выбравшись на свободное от палаток место, они остановились; пленных связали по двое, добычу внесли в палатки, а Саида связанному отвели в большую палатку. Там сидел старик в роскошном одеянии, серьезная, гордая осанка которого говорила, что он возглавляет эту орду. Те арабы, что привели Саида, предстали пред ним, печально склонив головы.

— Громкий плач женщин оповестил меня о случившемся, — промолвил величественный муж, окинув взглядом одного за другим всех разбойников, — по вашим лицам я вижу, что догадка моя подтвердилась — Альмансор пал в бою.

— Да, Альмансор пал в бою, — ответили разбойники, — но тут, о Селим, владыка пустыни, пред тобой тот, кто его убил, вот он, суди его. Какой смертью должен он умереть? Пронзить ли его стрелами, прогнать ли сквозь строй копий, а, может, ты пожелаешь его повесить или привязать к лошадям, чтоб они разорвали его?

— Кто ты? — спросил Селим, бросив мрачный взгляд на пленного, мужественно стоявшего перед ним в ожидании смерти.

Саид кратко и без утайки ответил на его вопрос.

— Как ты убил моего сына — нанес ему удар в спину, предательски пронзив стрелой или копьём?

— Нет, господин, — отвечивал Саид, — я убил его в честном бою, когда кочевники напали на наш караван, я пустил стрелу ему в грудь, потому что у меня на глазах от его руки пали восемь моих спутников.

— Все так, как он говорит? — спросил Селим тех, кто привели Саида.

— Да, повелитель, он убил Альмансора в честном бою, — ответил один из них.

— Значит, он поступил так, как поступил бы каждый из нас, — возразил Селим, — он сразился с врагом, который хотел отнять у него свободу и жизнь, и убил его; поэтому немедленно развяжите его!

Разбойники с удивлением взглянули на своего вождя и пехота, перешително исполнили приказание.

— Значит, убийца твоего сына, храброго Альмансора, не повипен смерти? — спросил один из них, бросив гневный взгляд на Саида. — Лучше бы мы его сразу убили!

— Оп не повипен смерти! — изрек Селим. — Больше того, я беру его к себе в палатку как по закону положенную мне долю добычи, пусть будет при мне слугой!

Саид не находил слов благодарности, но его провожатые роптали, покидая палатку, а когда женщины и дети, не уходившие в ожидании казни Саида, услышали решение Селима, они подняли плач и вопли, кричали, что отомстят убийце за смерть Альмансора, раз родной отец не желает соблюсти обычай кровной мести.

Остальных пленных войны поделили между собой; одних отпустили, чтобы получить выкуп за более богатых, других послали пасти стада, а некоторых, коим до сего дня служили не меньше десяти рабов, назначили на самую черную работу. Не так обстояло дело с Саидом. То ли помог его мужественный, героический облик, то ли таинственное волшебство доброй феи, сказать трудно, но, так или иначе, Саид завоевал расположение старика Селима. Оп жил в его палатке скорее как сын, нежели как слуга, но непопятная привязанность старика-вождя возбудила неприязнь остальных слуг. Всюду Саид встречал враждебные взгляды, а когда шел один по лагерю, слышал брань и проклятия, несколько раз даже пролетала у самой его груди стрела, несомненно предназначенная ему, и то, что смерть миновала его, он приписывал таинственной дудочке, которую все еще носил на груди, веря, что это она охраняет его. Часто жаловался он Селиму на нападки, но тщетно пытался тот найти коварных арабов, покушавшихся на жизнь Саида; казалось, все племя объединяла вражда к чужеземцу, взысканному милостью вождя. И вот однажды Селим сказал:

— Саид, я надеялся, что ты, быть может, заменишь мне сына, погибшего от твоей руки; не твоя и не моя вина, что надежды мои не оправдались; все озлоблены против тебя, и даже я уже не смогу охранить тебя. Что пользы тебе или мне, если я осужу виновного, тайно тебя убившего? Поэтому, когда мои люди вернутся с набега, я скажу, что отец твой прислал за тебя выкуп, и повелю верным мне людям проводить тебя через пустыню.

— Но кому, кроме тебя, могу я верить? — спросил в смущении Саид. — Не убьют они меня дорогой?

— От этого охранит тебя клятва, которую я с них возьму, никто никогда еще не нарушал данной мне клятвы, — успокоил его Селим.

Спустя несколько дней в становище воротились те арабы, что ходили в набег, и Селим сдержал свое слово. Оп подарил Саиду оружие, одежду и коня, созвал воинственных мужей, выбрал пятерых ему в провожатые, взял с них страшную клятву, что они не убьют Саида, и со слезами отпустил его.

Дорогой все пятеро хранили мрачное молчание. Саид видел,

сколь неохотно выполняют они данное им поручение, немало заботило его и то, что двое из них участвовали в схватке, во время которой он убил Альмансора. Когда они были в пути уже почти восемь часов, Саид заметил, что они еще больше помрачнели и о чем-то перешептываются. Он напряг слух и уловил, что шепчутся они на тайном языке, который в ходу только в этом племени, да и то только при обсуждении особо опасных дел. Селим, лелея мечту навсегда удержать юношу у себя в палатке, не один час посвятил обучению его этому языку. Ничего отрадного Саид не услышал.

— Вот здесь, здесь, мы напали на караван,— сказал один из провожатых,— и здесь отважнейший из мужей пал от руки юнца.

— Ветер развеял следы его коня, но я не забыл их,— заметил другой.

— И к нашему позору тот, от чьей руки пал Альмансор, жив и отпущен на свободу. Слыханное ли это дело, чтобы отец не отомстил за смерть единственного сына? Но Селим постарел и впадает в детство.

— Ежели отец не выполняет своего долга, то друг обязан отомстить за смерть убитого друга. Здесь, на этом самом месте мы должны были бы его зарубить. Так с незапамятных времен велят закон и обычай.

— Но мы же поклялись старику Селиму,— возразил пятый,— мы не можем его убить, клятву нарушить нельзя.

— Это правда, мы поклялись,— отозвались остальные,— и убийца должен уйти невредимым из рук своих врагов.

— Стойте! — воскликнул один, самый мрачный из всех.— Старик Селим умен, но все же не так умен, как полагают. Разве мы поклялись ему доставить юношу в то или другое место? Нет, он взял с нас клятву, что мы не лишим его жизни, и жизни мы у него не отнимем. Но палящее солнце и острые зубы шакалов отомстят за нас. Мы свяжем его и оставим здесь, на этом самом месте.

Так сказал разбойник, но Саид уже решился на крайнее средство, и не успел тот разбойник договорить, как Саид рванул своего коня в сторону, со всей мочи хлестнул его и птицей понесся по ровной пустыне. Все пятеро на минуту остолбенели от удивления, но преследовать беглеца было для них делом привычным, они разделились на две группы, одни стали обходить его справа, другие слева, и, будучи опытнее его в верховой езде в условиях пустыни, двое из них быстро обогнали Саида и поскакали ему наперерез. Он метнулся в сторону, но там его тоже ждали двое, а пятый преградил ему дорогу назад. Памятуя о данной клятве не убивать Саида, они не прибегли к оружию, и на этот раз ему опять набросили сзади петлю на шею, стащили с коня, безжалостно избили и, связав по рукам и ногам, оставили на раскаленном песке.

Саид умолял пощадить его, кричал, обещал большой выкуп, но они, громко смеясь, вскочили в седла и ускакали. Саид напряженно прислушивался, некоторое время до него еще долетал лег-

кий бег их коней, но потом он понял, что обречен на гибель. Он думал об отце, думал, как будет горевать старик, когда поймет, что сын не вернется. Думал о беде, постигшей его самого, о своем раннем уходе из жизни, ведь он был уверен, что или его ждет мучительная смерть от голода и жажды на раскаленном песке пустыни, или его растерзают шакалы. Солнце поднималось все выше и немилосердно жгло ему лоб. С невероятным трудом удалось ему повернуться на бок, но это не принесло облегчения. При этих усилиях из-за его кушака выпала дудочка, висевшая на петличке. Он долго мучительно старался дотянуться до нее ртом, наконец коснулся ее губами, попробовал подуть, но и сейчас, в его крайшей беде, она отказалась ему помочь. В отчаянии повалился он навзничь; пролежав сколько-то времени под палящими лучами солнца, он потерял сознание и впал в глубокое забытие.

Прошло несколько часов. Наконец Саид пробудил шорох у самого его уха, и тут же он почувствовал, что кто-то схватил его за плечо. Саид в ужасе завопил, думая, что это шакал и сейчас он его растерзает. Теперь кто-то тронул его за ноги, но он чувствовал, что не дикий зверь впился когтями ему в ногу, ее осторожно ощупывает рука человека, и человек этот говорит с другими. «Он жив, — шепчутся они, — да, но он принимает нас за врагов».

Наконец Саид открыл глаза и увидел, что над ним склонился низкорослый, пузатый человек, длиннобородый, с заплывшими глазками. Человек этот ласково с ним заговорил, помог ему приподняться, накормил и напоил и, пока Саид подкреплялся, рассказал, что он багдадский купец, что зовут его Калум-бек и торгует он шальями и тонкими женскими чадрами. Он ездил по торговым делам, сейчас возвращается домой. Он увидел лежащего на песке изнемогшего, полумертвого человека, чье роскошное одеяние и сверкающий драгоценными камнями ятаган привлекли его внимание. Он сделал все, чтобы оживить его, и это ему удалось. Юноша поблагодарил вернувшего его к жизни купца, ибо отлично понимал, что без его помощи был обречен на мучительное умирание.

Не видя возможности самостоятельно двинуться в путь, да и не имея охоты в одиночку, пешком блуждать по безлюдной пустыне, он с благодарностью принял предложение купца сесть на одного из его тяжело нагруженных верблюдов и вместе со всем караваном отправиться в Багдад, а там ему, может, удастся с одним или другим караваном добраться до Бальсоры.

По дороге купец занимал своего спутника рассказами о Гаруне аль-Рашиде, славном повелителе правоверных. Рассказывал о его любви к справедливости, о его светлом уме, об умении удивительно просто разрешать самые запутанные и спорные дела. Упомянул историю о канатном мастере и другую — о горшке с оливами, истории, известные каждому ребенку, но поразившие Саида.

— Наш властелин, повелитель правоверных, — продолжал купец, — наш властелин человек, достойный удивления. Ежели вы думаете, что он спит по ночам, как прочие люди, вы жестоко оши-

баются. Два-три часа на рассвете — и это все. Я-то не могу не знать, ведь Месур, старший хранитель его казны, мне родня, и хотя, когда дело касается тайн его повелителя, он нем как могила, все же в угоду близким родственникам он, видя, что кто-нибудь из них просто сгорает от любопытства, нет-нет да что-нибудь и расскажет. Так вот, вместо того чтобы спать, как все люди, калиф ночью бродит по улицам Багдада, и редкая неделя обходится без приключения. Вы должны знать, — кстати это явствует и из истории про горшок с оливками, столь же истинной, сколь и слово про рока, — вы должны знать, что он не объезжает улицы верхом на коне, в полном параде, окруженный телохранителями и сотней факельщиков, а ведь, если бы он пожелал, он мог бы это сделать, нет, он ходит пешком, переодетый то купцом, то мореплавателем, то простым воином, то муфтием, и глядит, все ли спокойно и мирно.

Поэтому-то в Багдаде, как и в одном другом городе, ночью с любым встречным болваном отменно вежливы в обхождении. Ведь столь же легко можно натолкнуться на калифа, как на грязного араба-кочевника, а багогов у нас хватит, чтобы надавать по пяткам всем багдадским и окрестным жителям.

Так говорил купец, и Саид, хотя его и не оставляла тоска по отцу, все же радовался, что увидит Багдад и прославленного Гаруна аль-Рашида.

После десятидневного пути они прибыли в Багдад. Саид, пораженный величием города, в те дни как раз расцветшего во всей своей красе, не переставал им любоваться. Купец пригласил его к себе, Саид охотно принял его приглашение, ибо только сейчас в городской сутолоке он понял, что, кроме воздуха, воды из Тигра и ночлега на ступенях мечети, здесь ничего даром не получишь.

Наутро, когда Саид только-только оделся и, оглядев себя, решил, что в таком богатом одеянии и при доспехах не худо покрасоваться на улицах Багдада и, пожалуй, можно даже обратить на себя внимание, к нему вошел купец. Лукаво усмехаясь и поглаживая бороду, оглядел он молодого красавца и сказал:

— Все это прекрасно, молодой человек! Но что вы собираетесь делать дальше? Мне кажется, что вы большой мечтатель и не думаете о завтрашнем дне; или у вас хватит денег, чтобы жить под стать тому наряду, что на вас?

— Почтеннейший Калум-бек, — сказал юноша, краснея от смущения, — денег-то у меня как раз нет, но, может быть, вы мне сколько-нибудь одолжите, чтобы я мог вернуться домой. Мой отец, конечно, с вами честно расплатится.

— Твой отец, голубчик? — громко смеясь, воскликнул купец. — Не иначе, как солнце растопило тебе мозги. Так я и поверил тебе на слово, поверил тем сказкам, что ты плел мне дорогой: у тебя-де в Бальсоре богатый отец, а ты единственный сын, и про нападение арабов, и про твою жизнь в их становище, и пятое-десятое. Уже тогда возмущала меня твоя наглая ложь и нахальство.

Я знаю, что в Бальсоре все богатые люди — кушцы, сам со всеми дела веду я, конечно, слышал бы о некоем Бенезаре, даже если бы всего имущества у него было только на шесть тысяч туманов. Значит, или ты выдумал, что ты из Бальсоры, или твой отец бедняк и его беглому сыну я и медяка в долг не поверю. А нападение в пустыне! Да слыханное ли это дело, чтобы с тех пор, как мудрый калиф Гарун обезопасил торговые пути через пустыню, разбойники осмелились ограбить караван да еще увести пленных? Да слух об этом распространился бы сразу; а за весь мой путь, да и здесь, в Багдаде, куда отовсюду стекается народ, об этом никто не говорит. Это вторая бессовестная ложь, молодой человек!

Поблуднев от гнева и негодования, Саид хотел прервать речь злобного старика, но тот перекрикивал его, да к тому же еще размахивал руками.

— А третья ложь, дерзкий лгунишка, это рассказ о твоей жизни в стаповище Селима. Имя Селима хорошо известно всем, кто когда-либо имел дело с арабами. Селим известен как самый страшный и жестокий разбойник, а ты смеешь утверждать, что убил его сына; да тебя зарубили бы тут же на месте; ты так обнаглел, что рассказываешь всякие небылицы: Селим, видите ли, охранял тебя от своих же арабов, взял к себе в палатку и отпустил без выкупа, это оп-то! Да он вздернул бы тебя на первом попавшемся дереве; он часто вешал путников только ради удовольствия посмотреть на страшное лицо висельника. Ах ты, мерзкий лжец!

— Я могу сказать только одно,— крикнул юноша,— все это правда, клянусь моей душой и бородою пророка!

— Ах, так, ты клянешься твоей душой? — воскликнул купец.— Твоей черпой, лживой душой? Да кто тебе поверит? И борода пророка, когда у самого и борода-то еще не отросла! Да кто даст твоим словам веру?

— Свидетелей у меня правда нет,— продолжал Саид.— Но ведь вы же нашли меня связанным и полумертвым.

— Это еще ничего не доказывает,— возразил тот,— ты одет как знатный разбойник, и легко могло статься, что ты попал на более сильного, он тебя одолел и связал.

— Хотел бы я посмотреть на человека, который одолел бы меня в одиночку и, связав, бросил наземь, меня и двоим-то не одолеть, ведь они накинули мне сади петлю на шею,— возмутился Саид.— Вы у себя на базаре не знаете, как силен умело владеющий оружием человек, даже когда он один. Но вы спасли мне жизнь, и я вам благодарен. Что же вы теперь собираетесь со мной делать? Если вы мне не поможете, придется мне просить милостыню, а я не хочу просить у тех, кто мне равен. Я обращаюсь к калифу.

— Вот как? — сказал купец, насмешливо улыбаясь.— Только к нашему всемилостивейшему повелителю и ни к кому больше? Это я называю просить милостыню по-благородному! Да, да! Только не забывайте, благородный молодой человек, что по пути к калифу вам не миновать моего родственника Месура, хранителя казны, а мне довольно шепнуть ему слово и обратить его внима-

ние па то, что ты умелый лгун. Но ты так молод, Саид, мне жаль тебя. Ты можешь исправиться, из тебя еще может выйти толк. Я возьму тебя на базар к себе в лавку, прослужишь там год, а пройдет год и ты не захочешь остаться, я заплачу тебе, что причитается, и отпущу на все четыре стороны, хочешь в Алеппо или в Медину, в Стамбул или в Бальсору, по мне, хоть к неверным. Даю тебе срок для размышления до полудня, согласишься — отлично; не согласишься — я подчитаю по сходной цене, во что ты мне стал в пути, да прибавлю еще стоимость за место на верблюде, в уплату возьму твою одежду и все, что у тебя есть, и выгою на улице, тогда ступай просить милостыню, где тебе угодно; хочешь — у калифа или муфтия, хочешь — на ступенях мечети или па базаре.

С этими словами жестокосердый купец вышел. Саид с презрением посмотрел ему вслед. Он был так возмущен низостью кушца, который подобрал его и замапил к себе в дом намеренно, чтобы заполучить в свои руки. Он огляделся, нельзя ли сбежать, но окна были за решетками, а двери на запоре. Наконец, после долгого раздумья и колебаний, решил он на первое время согласиться на предложение кушца и послужить у него в лавке. Он понял, что другого выхода нет, ведь даже если бы ему удалось сбежать, без денег до Бальсоры все равно не добраться. Но он вознамерился при первой возможности попросить самого калифа взять его под защиту.

На следующий день Калум-бек повел своего нового слугу на базар к себе в лавку. Он показал ему шали, чадры и прочий товар и объяснил, в чем состоят его обязанности. С этого дня Саид в одежде приказчика, без всяких воинских доспехов, с роскошной чадрой в одной руке и шалью в другой, стоял в дверях лавки и зазывал проходящих мужчин и женщин, расхваливал товар, говорил его цену и предлагал купить. Скоро Саиду стало ясно, почему Калум-бек взял его в зазывалы. Сам Калум-бек был низкорослый, уродливый старик, и когда он стоял в дверях лавки и зазывал покупателя, то соседи, а то и прохожие, отпускали в его адрес насмешливое словцо, мальчишки дразнили его, женщины обзывали пугалом, а па молодого, статного Саида, который был вежлив в обращении и умел показать товар лицом, было приятно смотреть.

Когда Калум-бек увидел, что с тех пор, как у входа в лавку стоит Саид, у него прибавилось покупателей, он помягчел в обращении с ним, стал лучше кормить и одевать наряднее и к лицу. Но Саида мало трогали эти доказательства благосклонности хозяина, и днем и ночью, даже во сне, он и так и сяк прикидывал, как бы ему вернуться па родину.

Однажды, когда торговля в лавочке Калум-бека шла особенно бойко и все упаковщики, в обязанности которых входило доставлять покупателям товар па дом, были разосланы, в лавку вошла старая женщина и тоже что-то купила. Выбирала она недолго и, пообещав на чай, потребовала, чтобы ей донесли покупку до дому.

— Будьте любезны, потерпите с полчаса, и все вам будет доставлено,— сказал Калум-бек,— или наймите другого носильщика.

— Вы же купец и хотите, чтобы ваши покупатели пользовались услугами случайных носильщиков? — возразила женщина.— А что, если такой малый скроется в толпе с моей покупкой? Где мне тогда искать на него управу? По рыночному закону вы обязаны доставить покупку мне на дом, и я буду этого требовать.

— Только полчаса подождите, уважаемая,— просил купец, боязливо глядя вокруг.— Все мои люди разосланы.

— Лишь в жалких лавчонках не хватает людей для услуг,— возразила сердитая покупательница.— А вот там в дверях что за бездельник стоит? Иди сюда, малый, бери сверток и ступай за мной!

— Стойте, стойте! — закричал Калум-бек.— Да это мой зазывала, моя вывеска, мой магнит! Ему нельзя отходить от порога!

— Подумаешь! — возразила женщина и без долгих слов сунула свой сверток Саиду под мышку.— Плох тот купец и плохи его товары, раз они сами за себя не говорят и нуждаются в вывеске — в бездельнике зазывале, идем, идем, малый, заработаешь на чай!

— Ну тебя к Ариману и всем духам тьмы! Беги! — проворчал Калум-бек вслед своему магниту.— Да смотри скорей возвращайся. Старая ведьма чуть не вывела меня из себя, еще немного — и я поднял бы крик на весь базар!

Саид поспешил за женщиной, которая не по возрасту легко побежала по базару, а на улице еще прибавила шагу. Она остановилась у великолепного дома, постучала, двери распахнулись, женщина поднялась по мраморной лестнице и поманила за собой Саида. Они пришли в высокий просторный покой. Саиду еще не доводилось видеть столько богатства и роскоши. Там старая дама опустила в изнеможении на подушки, указала ему, куда положить сверток, дала мелкую серебряную монету и отпустила.

Он был уже в дверях, когда кто-то звонким нежным голосом окликнул его: «Саид!» Удивившись, что его здесь знают, он оглянулся — на подушке вместо старой дамы сидела окруженная рабами и прислужницами писаная красавица. Саид, онемев от восхищения, скрестил на груди руки и низко ей поклонился.

— Саид, милый мой юноша,— обратилась к нему красавица.— Я очень сожалею, что на пути в Багдад тебя постигло столько злоключений, но именно здесь, только здесь предназначено было судьбой развеяться тем чарам, под власть которых ты подпал, покинув родительский кров до того, как тебе исполнилось двадцать лет. Саид, дудочка еще у тебя?

— Да, у меня,— радостно воскликнул он и вытащил золотую пепочку,— уж не вы ли та добрая фея, что при моем рождении сделала мне этот подарок?

— Я была другом твоей матери, останусь и твоим другом,

если ты сам будешь добрым и хорошим. Ах, зачем твой отец столь легкомысленно не послушался моего совета! Ты избежал бы многих бед.

— Значит, так было суждено! — ответил Саид. — Но, милостивая фея, прикажите, чтобы сильный норд-ост впрягся в вашу облачную колесницу, подхватите меня и за две минуты домчите в Бальсору к отцу, и я терпеливо доживу там те полгода, что остались до моего двадцатилетия.

Фея улыбнулась.

— Ты умеешь разговаривать с нами, — сказала она. — Но, бедняжка Саид, это невозможно. Сейчас, когда ты не в родительском доме, помочь тебе я бессильна. Бессильна даже освободить тебя из-под власти презренного Калум-бека. Ему покровительствует враждебная тебе могущественная фея.

— Так, стало быть, у меня есть не только добрый друг, но и злой недруг? — спросил Саид. — Сдается мне, я уже не раз испытал на себе воздействие злых чар. Но помогите мне советом, ежели это в вашей власти! Пойти ли мне к калифу и попросить у него защиты? Он мудр, он защитит меня от Калум-бека.

— Да, Гаруп мудр, но, к сожалению, он всего только человек. Он, как самому себе, доверяет главному хранителю казны Месуру, и он прав, ибо испытал Месура и убедился, что это человек верный, а Месур, в свою очередь, как самому себе, верит твоему другу Калум-беку, и в этом он не прав, потому что Калум человек плохой, хоть он и родня Месуру. Калум хитер и, как только вернулся сюда, наговорил о тебе всякие были и небылицы Месуру, а тот пересказал его басни калифу, и ты будешь плохо принят, если явишься во дворец. Но есть другие возможности и пути к нему приблизиться, а тебе звездами предначертано завоевать его расположение.

— Да, что и говорить, дела мои плохи, — печально промолвил Саид. — Придется мне еще какое-то время стоять у лавки презренного Калум-бека. Но одну мою просьбу, глубокочтимая фея, вы, может быть, все же могли бы уважить. Я обучен ратному искусству, и для меня наибольшая радость — ристанье, где состязаются в метании копья, стрельбе из лука, сражениях тупыми мечами. Самые знатные багдадские юноши каждую неделю участвуют в подобных состязаниях. Но на ристалище могут выступать только свободные люди в богатых доспехах и одежде, и, уж конечно, не слуга базарного лавочника. Если бы только вы могли сделать так, чтобы раз в неделю я имел коня, богатое одеяние и доспехи и чтобы узнать меня было не так-то легко...

— Благородный юноша вправе высказать такое желание, — сказала фея. — Твой дед по матери был самым отважным мужем в Сирии, и его дух, видно, унаследовал и ты. Запомни этот дом; здесь каждую неделю будут ждать тебя два оруженосца верхами, с конем для тебя, здесь же найдешь ты одежду, доспехи и воду, умыв ею лицо, ты станешь ни для кого неузнаваем. А теперь, Саид, прощай! Запасись терпением, будь разумен и добродетелен!

Через полгода твоя дудочка издаст звук, и голос ее дойдет до слуха Зулимы.

С чувством благодарности и благоговения расстался юноша со своей чудесной покровительницей. Он запомнил дом и улицу и пошел обратно.

Саид вернулся на базар как раз вовремя и успел в последнюю минуту защитить своего хозяина Калум-бека и спасти ему жизнь. Перед лавкой толпился народ, мальчишки плясали и дразнили купца, старики покатывались со смеху. А он, дрожа от ярости, не зная, куда ему деться, стоял перед лавкой с чадрой в одной руке и шалью в другой. Эта неожиданная сцена была вызвана происшествием, случившимся после ухода Саида. Калум сам стал в дверях вместо своего красавца-слуги и зазывал покупателей, но народ не шел в лавку к уродливому старику. По базару бродили двое мужчин, желавших купить подарки для своих жен. Они уже несколько раз обошли базар, высматривая, на чем бы остановиться, и как раз сейчас опять проходили мимо лавки Калум-бека, разглядывая товары.

Калум-бек, приметивший их, подумал, что не худо бы извлечь из их нерешительности выгоду.

— Сюда, сюда, государи мои! — крикнул он. — Что вам приятно? Вот отличные шали, отличный товар!

— Товар у тебя, почтеннейший, возможно, хороший, — ответил один из них, — но жены у нас привередницы, а в Багдаде все теперь покупают чадры только у красавца зазывалы, у Саида. Мы уже исходили весь базар, разыскивая его, и никак его не найдем. Скажи, где он может быть, и в другой раз мы у тебя что-нибудь купим.

— Аллах, Аллах! — воскликнул Калум-бек, любезно осклабившись. — Пророк привел вас, куда вам требуется. Вы ищете красавца зазывалу, чтобы купить чадры? Входите, входите — вот его лавка.

Подумав, что неказистый, пузатый Калум выдает себя за красавца зазывалу, один из мужчин окинул его насмешливым взглядом и громко расхохотался. А другой счел, что Калум над ним издевается и, не желая оставаться в долгу, крепко выругался. Это вывело Калум-бека из себя; он призвал в свидетели соседей, что именно его лавку, а не какую другую называют лавкой красавца зазывалы, но соседи, с завистью видевшие, как с некоторых пор успешно идет его торговля, отнекивались и отговаривались незнанием, тогда оба человека накинулись на старого вруна, как они его называли. Калум защищался скорее не кулаками, а криком и руганью, и этим привлек к своей лавке кучу народа; полгорода знали его как жадного, подлого скареда, и окружающие радовались сыпавшимся на него тумакам; один из обидчиков уже вцепился ему в бороду, но тут кто-то схватил его самого за руку и рывком бросил на землю с такой силой, что с головы у него свалился тюрбан, а туфли отлетели далеко в сторону.

Толпа, которая охотно смотрела на расправу с Калум-беком,

громко выразила свое недовольство, приятель поваленного оглянулся на того, кто посмел отшвырнуть его друга, но, увидя высокого сильного юношу с отважно сверкающим взором, побоялся схватиться с ним, да к тому же Калум, которому спасение показалось поистине чудесным, громко крикнул, указывая на юношу:

— Ну, чего вам еще нужно? Вот он перед вами, это и есть Саид, красавец зазывала.

В толпе засмеялись, ведь все знали, что Калум-бек пострадал незаслуженно. А тот человек, которого отшвырнул Саид, чувствуя себя посрамленным, хромая, заковылял прочь вместе со своим приятелем, так и не купив ни чадры, ни шали.

— О звезда всех зазывал, краса базара! — воскликнул Калум, войдя с Саидом в лавку. — Поистине, это называется поспеть вовремя, протянуть человеку руку помощи, иначе не скажешь. Ведь он лежал, как подкошенный, словно и на ногах-то никогда не стоял! А я, я — да опоздай ты хоть на минуту, мне и брадобрей больше не понадобился бы, нечего было бы расчесывать и умащивать. Скажи, как мне тебя вознаградить?

Рукою и сердцем Саида руководило чувство минутной жалости. Теперь, успокоившись, он почти раскаивался, что помешал проучить зловредного старика. «Будь у него вырван десяток волос, он бы десять дней был шелковым и покладистым», — подумал Саид; все же он решил воспользоваться благосклонным настроением Калум-бека и испросить в награду дозволить ему раз в неделю проводить вечер по собственному усмотрению — то ли на прогулке, то ли еще как-нибудь.

Калум дал свое согласие, он ведь знал, что его подневольный слуга слишком рассудителен и не сбежит без денег и хорошей одежды.

Так Саид вскоре получил желаемое. В ближайшую среду — день, когда самые родовитые юноши собирались на одной из городских площадей для ратного состязания, Саид сказал Калуму, что этот вечер он хотел бы провести по собственному желанию, и с соизволения купца пошел на ту улицу, где жила фея, постучался, и ворота в тот же миг распахнулись. Слуги, казалось, были предупреждены о его приходе, не спросив, что ему угодно, поднялись они с ним по лестнице в красивый покой; там ему подали воду для умывания, которая должна была сделать его неузнаваемым. Он омочил в ней лицо, затем погляделся в металлическое зеркало и сам себя не узнал: на загорелом лице росла красивая черная борода, он выглядел по крайней мере на десять лет старше.

Затем они повели его в другой покой, где для него было приготовлено великолепное одеяние, которое не посрамило бы самого багдадского калифа в день, когда он во всем блеске своего величия делает смотр войскам. Кроме тюрбана тончайшей ткани с алмазным аграфом и длинными перьями цапли и кафтана из тяжелой алой парчи, затканной серебряными цветами, там была еще серебряная кольчуга столь тонкой работы, что она повторяла все

движения тела, и в то же время столь крепкая, что ей не были страшны удары копий и мечей. Дамасский клинок в богато украшенных ножнах, с бесценными, как показалось Саиду, самоцветными камнями на рукоятке, завершал его наряд. Когда он в доспехах покинул покой, один из слуг подал ему шелковый платок и сказал, что платок посылает ему повелительница этого дома: стоит утереть им лицо, борода и загар исчезнут.

Во дворе стояли три породистых коня, на самого красивого сел Саид, на двух других — его оруженосцы, и он весело поскакал на площадку, отведенную под ристалище. Пышность его наряда и великолепие доспехов привлекали к нему взоры всех, а когда он появился на площадке, по толпе, обступившей ристалище, пробежал шепот восхищения. Здесь собирался весь цвет багдадской молодежи, самые отважные и знатные юноши; даже братья калифа гарцевали на конях и потрясали копьями. Когда появился никому не известный Саид, сын великого визиря с несколькими приятелями поехал ему навстречу, почтительно поклонился, пригласил принять участие в состязании и спросил, как его зовут и откуда он родом. Саид назвал Альмансором, сказал, что родом он из Каира, а сейчас путешествует и, наслышавшись об отваге и доблестях благородных багдадских юношей, не преминул воспользоваться возможностью увидеть их и познакомиться с ними. Юношам понравились обходительность и храбрая осанка Саида — Альмансора; они велели подать ему копьё и предложили выбрать себе соратников, потому что они уже разделились на две группы и будут состязаться и один на один, и всем отрядом.

Если внешность Саида уже привлекла к нему внимание, то теперь все еще больше дивились его необычайной ловкости и быстроте. Копьё его носился птицей, а свистящий меч мелькал и того быстрее. Копьё он бросал с такой легкостью, так далеко и так метко, словно это не копьё, а стрела, пущенная из лука. Он победил самых отважных смельчаков, состязавшихся с ним, и по окончании ристания был единодушно признан победителем; один из братьев калифа и сын великого визиря, сражавшиеся на стороне Саида, попросили его помериться силами и с ними. Али, брата калифа, Саид победил, но сын великого визиря не уступал ему в доблести и после длительной борьбы они сочли за лучшее отложить решение до будущей встречи.

На следующий день в Багдаде только и речи было что о богатом и доблестном красавце чужеземце. Все, кто его видели, даже те, кого он победил, были в восторге от его благородного обращения; Саид собственными ушами слышал разговоры о себе в лавке Калум-бека. Все сожалели только об одном: никто не знает, где он живет. В доме феи к следующему состязанию ему был приготовлен еще более роскошный наряд и еще более дорогие доспехи. На сей раз собралось пол-Багдада, сам калиф любовался с балкона этим зрелищем. Он тоже дивился на чужеземца Альмансора и, дабы выразить свое восхищение, когда игры закончились, повесил ему на шею большую золотую медаль на золотой

цепи. Эта вторая блестящая победа не могла не возбудить зависти багдадских юпошей. «Какой-то чужеземец приезжает к нам в Багдад,— говорили они,— и вырывает у нас из рук славу, почести и победу? И теперь пойдет похвастаться по другим городам, что среди цвета багдадской молодежи нет никого, кто хоть в какой-то мере может помериться с ним силою». Так говорили они и порешили на следующем ристании, будто случайно, залететь на него впятером или вшестером.

От острого взгляда Саида не ускользнула их недовольство; он видел, что они шушукуются по углам и с неприязнью посматривают на него. Он догадывался, что все, не считая брата калифа и сына великого визиря, не очень-то дружелюбно к нему относятся, да и те двое своими расспросами: где можно с ним встретиться, чем он занимается, что ему, собственно, поправилось в Багдаде и другими подобными же — начинали его тяготить.

По страшной случайности, молодой человек, особенно злым оком взиравший на Саида — Альмансора — и как будто особенно враждебно против него настроенный, оказался тем самым человеком, которого Саид незадолго перед тем свалил с пог у лавки Калум-бека как раз в ту минуту, когда тот вцепился в бороду злощастному купцу. Этот человек все время внимательно, с завистью приглядывался к нему, правда, Саид уже несколько раз его побеждал, но это еще не было основанием для такой враждебности, и Саид опасался, не признал ли в нем тот по голосу или по росту зазывалу Калум-бека, а такое открытие сделало бы его мишенью для насмешек и мести. Злой умысел завистников потерпел неудачу как благодаря осторожности и отваге Саида, так и благодаря дружбе к нему брата калифа и сына великого визиря. Увидав, что его окружили не менее шести всадников и пытаются либо сбросить его с коня, либо обезоружить, они поскакали ему на помощь, разогнали нападающих и пригрозили за такой вероломный поступок удалить их с ристалища. Больше четырех месяцев Саид, на удивление всего Багдада, проявлял чудеса храбрости, и вот, как-то вечером, возвращаясь домой, он услышал, как говорили несколько человек, чьи голоса показались ему знакомыми. Впереди него медленно шли четверо и как будто о чем-то совещались. Саид осторожно подошел ближе и, прислушавшись, разобрал, что говорят они на тайном языке арабов из племени Селима; он догадался, что эти четыре араба замышляют какое-то разбойное нападение. Первым его побуждением было уйти, но, подумав, что ему, может, удастся предотвратить злодеяние, он решил подслушать их разговор и подкрался еще поближе.

— Привратник ясно сказал: по той улице, что справа от базара, по ней и ни по какой другой он пройдет с великим визирем этой ночью,— заметил один.

— Все это прекрасно,— отозвался другой.— Великий vizирь мне не страшен, он стар, да и не герой, но калиф, говорят, хорошо владеет мечом, и я не очень-то ему доверяю, уж конечно, за ним следом крадется с десятком, а то и больше телохранителей.

— За ним нет ни души,— возразил третий.— Если кто и узнавал его, встретив ночью, то видел его только с великим визирем или с хранителем казны. Сегодня ночью мы захватим его, но зла ему причинить нельзя.

— Я думаю, лучше всего набросить ему петлю на шею,— сказал первый.— Убивать его ни в коем случае нельзя, за его труп большого выкупа не дадут, да могут и никакого не дать.

— Значит, за час до полуночи! — уговорились они и разошлись, кто куда.

Саида немало встревожило готовящееся покушение. Он решил тут же поспешить во дворец и предупредить калифа о грозящей ему опасности. Но, уже пробежав по нескольким улицам, он вдруг вспомнил слова феи — ведь она сказала, что калифу его оговорили. Он подумал, что его могут высмеять или, еще того хуже, обвинить в желании вкрасься в доверие к повелителю Багдада, поэтому он замедлил шаг и счел за лучшее положиться на свой верный меч и самому спасти калифа от руки разбойников.

Поэтому он не вернулся домой к Калум-беку, а сел на ступени мечети и стал дожидаться наступления ночи. Когда окончательно стемнело, он прошел мимо базара на улицу, указанную разбойниками, и спрятался за выступом дома. Там он простоял, должно быть, около часа и вдруг услышал шаги двух людей, медленно идущих по улице; вначале он подумал, что это калиф с великим визирем, но один из мужчин хлопнул в ладоши, и сейчас же со стороны базара к ним бесшумно присоединились еще двое. Они пошептались, затем трое спрыгнули недалеко от Саида, а один принялся ходить взад и вперед по улице. Ночь была очень темная, но тихая, и Саиду пришлось положиться только на свой острый слух.

Прошло еще с полчаса, и опять со стороны базара послышались шаги. Разбойник, должно быть, их тоже услышал; он прошмыгнул мимо Саида к базару. Шаги приближались, и Саид уже мог различить в темноте двух людей; тут разбойник хлопнул в ладоши, и в то же мгновение из засады выскочили те трое, что спрятались там. Те, на кого они напали, были, по всей вероятности, вооружены, ибо Саид услышал звон скрестившихся мечей. Он не мешкая выхватил свой дамаский клинок и с криком: «Смерть врагам великого Гаруна!» — бросился на разбойников; первым ударом он сразил одного, затем налетел на двух других, которые набросили веревку на шею второму прохожему и пытались его обезоружить. Саид наугад ударил по веревке, но при этом так сильно хватил по руке разбойника, что отрубил ему кисть. Тот громко завopil и упал на колени. Теперь четвертый разбойник, который вел бой с другим человеком, бросился к Саиду, еще сражавшемуся с третьим разбойником. Но тот человек, что освобо­дился от веревки, выхватил ятаган и вонзил его сбоку в грудь нападающему. Увидев это, еще оставшийся в живых разбойник бросил саблю и обратился в бегство.

Саид недолго оставался в неведении, кому он спас жизнь, потому что к нему подошел более рослый из двух и сказал:

— И покушение на мою жизнь или на мою свободу, равно как и нежданная помощь и спасение, одинаково удивительны. Как вы узнали, кто я? Вы знали о покушении?

— Повелитель правоверных, ибо я не сомневаюсь, что это ты,— отвечив Саид,— сегодня вечером я шел по улице Эль-малек позади нескольких человек, чуждое и тайное наречие которых я в свое время научился понимать. Они говорили, что хотят тебя взять в плен, а твоего визиря, мужа достойного, убить. Предостеречь тебя было уж не успеть, и я решил оказать тебе помощь и пойти туда, где они хотели тебя подкараулить.

— Спасибо тебе,— сказал Гарун,— но лучше нам здесь не задерживаться. Вот тебе кольцо, и приходи с ним завтра ко мне во дворец, там мы потолкуем о тебе и оказанной мне помощи и обсудим, как мне вознаградить тебя. Идем, визирь, здесь оставаться опасно — как бы они не вернулись.

Так сказал Гарун, и, надев на палец юноше кольцо, хотел увести визиря; но тот попросил подождать минутку, обернулся и протянул изумленному Саиду туго набитый кошель.

— Молодой человек,— сказал он,— мой повелитель калиф властен многое для тебя сделать, властен даже, если пожелает, назначить тебя моим преемником, я же мало что могу, и потому предпочитаю сделать то, что могу, не завтра, а сегодня, вот возьми кошель! Этим, конечно, не оплатить моей благодарности. Всякий раз, как ты чего пожелаешь, смело иди ко мне!

Опынев от счастья, поспешил Саид домой. Но там ему был оказан плохой прием. Калум-бек сначала был недоволен, а затем озабочен его долгим отсутствием, потому что боялся лишиться красивой вывески для своей лавки. Он встретил Саида руганью и шумел и орал, как одержимый. Но Саид, заглянув в кошель и увидев, сколько там золота, решил, что теперь может вернуться на родину, даже не прибегая к милостям калифа, уж конечно, не менее щедрым, чем благодарность визиря, поэтому он не полез за словом в карман и коротко и ясно сказал купцу, что ни часу больше не пробудет в его доме. Вначале Калум-бек опешил, но потом стал насмеяться и сказал с издевкой:

— Ах ты, пройдоха, бродяга, жалкий оборвыш! Куда ты денешься без меня? Кто тебя накормит-напоит, кто приютит на ночь?

— Пусть это вас не заботит, хозяин,— упрямо возразил Саид.— Будьте здоровы, меня вам больше не видеть!

Так сказал Саид и выбежал на улицу, а Калум-бек, онемев от удивления, смотрел ему вслед. Но наутро, хорошенько поразмыслив о том, что случилось, он послал своих упаковщиков выследить, где скрывается беглец. Долго и тщетно искали они, наконец один вернулся и сказал, что видел, как Саид вышел из мечети и направился в караван-сарай. Но его не узнаешь, он прекрасно одет, в роскошном тюрбане, при ятагане и сабле,

Услышав такое, Калум-бек разразился бранью.

— Он обобрал меня и на мои деньги оделся! — воскликнул он. — Несчастный я человек!

Калум побежал к начальнику стражи, а тому было известно, что он родня Месуру, хранителю казны калифа, поэтому купцу не стоило большого труда добиться, чтоб начальник отрядил нескольких стражников для ареста Саида. Саид сидел у караван-сарая и спокойно договаривался со встреченным там купцом о путешествии в Бальсору, родной его город. Неожиданно на него набросилось несколько человек, и, как он ни сопротивлялся, ему связали за спиной руки. Он спросил, что дает им право на такое насилие, они ответили, что действуют по приказу как своего начальника, так и его, Саида, законного хозяина и господина Калум-бека. Тут подошел и сам противный злой купец, издеваясь и глумясь над Саидом, сунул он руку ему в карман и к удивлению окружающих с торжествующим видом вытащил кошель, набитый золотом.

— Смотрите! Вот сколько понемногу наворовал у меня этот мерзавец! — воскликнул он, и люди с презрением смотрели на пойманного вора и возмущались:

— Такой молодой, такой красивый и уже такой испорченный! На суд его, на суд, пусть проучат его батогами по пяткам!

Саида потащили к начальнику стражи, а следом за ними потянулась толпа людей всякого звания и состояния.

— Смотрите, это красавец зазывала с базара. Он обокрал своего хозяина и скрылся; он украл двести золотых! — кричали в толпе.

Начальник стражи встретил пойманного мрачным взглядом. Саид хотел было сказать несколько слов в свое оправдание, но судья приказал ему замолчать и выслушал только пузатого купца. Он предъявил тому кошель и спросил — эти ли деньги украдены у него?

Калум-бек поклялся, что это так, и хотя с помощью ложной клятвы он и присвоил чужое золото, но красавца зазывалу, которого ценил в тысячу золотых, ему не вернули, ибо судья сказал:

— Согласно закону, который всего несколько дней тому назад по воле калифа, моего полновластного повелителя, стал еще строже, каждая кража, превышающая сумму в сто золотых и совершенная на базаре, наказуется пожизненным изгнанием на пустынный остров. Этот вор попался очень кстати; он как раз дополнит до двадцати число таких же молодцов, как он сам. Завтра мы погрузим их на баржу и повезем в море.

Саид был в отчаянии, он умолял выслушать его, разрешить ему сказать хоть слово калифу, по такая милость не была ему оказана. Калум-бек, уже сожалевший о данной клятве, теперь заступался за Саида, но судья остановил его.

— Ты получил свое золото и будь доволен, ступай домой и веди себя смиренно, не то я возьму с тебя штраф по десять золотых за каждое слово, сказанное мне наперекор.

Озадаченный Калум замолчал, судья подал знак и злосчастного Саида увели.

Его заключили в мрачную сырую тюрьму, где валялись на соломе девятнадцать горемык, они встретили своего товарища по несчастью грубыми насмешками и бранью в адрес судьи и калифа. Как ни страшила Саида судьба, как ни ужасала мысль о ссылке на пустынный остров, он все же находил утешение в том, что уже завтра выйдет из этой проклятой тюрьмы. Но он очень ошибся, думая, что в море будет лучше. Всех двадцать преступников бросили в трюм, где нельзя было стоять во весь рост, они теснились и дрались за лучшее место.

Подняли якорь, и Саид горько заплакал, когда баржа, увозившая его от родины, закачалась на волнах. Только раз в день им давали кусок хлеба, немного овощей и глоток пресной воды. В трюме было так темно, что всякий раз, когда заключенных кормили, приходилось приносить свечи. Почти каждые два-три дня кто-нибудь умирал, такой спертый, нездоровый воздух был в этой морской темнице; Саида спасала только молодость и крепкое здоровье.

Две недели были они уже в море, и вот в один прекрасный день волны заходили сильнее, и на корабле поднялась необычная беготня и суматоха.

Саид догадался, что начинается буря; он даже был этому рад, надеясь, что теперь расстанется с жизнью.

Баржу все сильнее и сильнее качало на волнах, и наконец она с ужасным треском села на мель. В трюм доносился рев бури, с палубы долетали крики и вопли. Наконец все затихло, но тут кто-то из заключенных обнаружил течь, вода через пробойну проникла внутрь баржи. Узники принялись стучать в люк, но никто не отзывался. Когда воды заметно прибывало, они налегли на люк и общими усилиями высадили его.

Они поднялись на палубу, но там не было ни души. Весь экипаж спасся на шлюпках. Многие узники впали в отчаяние; буря свирепствовала все сильнее, баржа трещала и погружалась в воду. Несколько часов провели они еще на палубе и, пайдя съестные припасы, посидели за последней трапезой; потом буря усилилась, баржу снесло со скалы, на которой она сидела, и разбило.

Саид ухватился за мачту и все еще держался за нее, когда баржу уже разнесло в щепы. Его швыряло из стороны в сторону, но он греб ногами и удерживался на волнах. Так плыл он уже с полчаса, все время подвергаясь смертельной опасности; тут у него из-за кушака выпала дудочка на золотой цепочке, он захотел еще раз испробовать: вдруг она издаст звук. Одной рукой он крепче уцепился за мачту, другой поднес дудочку к губам, подул, и тут раздался ясный звонкий звук. Буря сразу утихла, волны улеглись, словно политые маслом. Не успел он вздохнуть с облегчением и оглядеться, не покажется ли где-нибудь земля, как мачта под ним странным образом раздулась и зашевелилась, и, к немалому своему испугу, он почувствовал, что сидит верхом не на бревне, а на

огромном дельфине; несколько мгновений спустя он совладал с охватившим его страхом и, убедившись, что дельфин хоть и быстро, но спокойно и уверенно продолжает плыть, приписал свое чудесное спасение серебряной дудочке и доброй фее и громко выразил свою горячую благодарность.

С быстротой стрелы неся он по волнам на своем чудесном коне, и еще не успело заветереть, как он увидел землю и широкую реку, в которую тут же устремился дельфин. Вверх по течению дело пошло медленнее, и, чтобы не отощать, Саид, припопив, как в таких случаях поступают в старых волшебных сказках, вытащил дудочку, громко и весело свистнул и пожелал вкусно покушать. Рыба тотчас остановилась, и из воды вынырнул стол, такой сухой, словно он неделю простоял на солнце, и весь уставленный вкусными яствами. Саид накинулся на еду, ведь пока он сидел под арестом, кормили его мало и скверно. Насытившись, он громко поблагодарил, стол нырнул в воду, а Саид ударил дельфина по боку, и тот сейчас же опять поплыл вверх по течению.

Солнце уже садилось, когда Саид различил в туманной дали большой город, минареты которого, как ему показалось, походили на багдадские. Мысль о Багдаде не очень его обрадовала, но он твердо верил в добрую фею и был убежден, что она и впредь уберет его от козней гнусного Калум-бека. В стороне, приблизительно за версту от города, у самой реки он заметил великолепный загородный дворец, и к его большому удивлению рыба поплыла к этому дворцу.

На крыше стояли несколько нарядно одетых мужчин, а на берегу множество прислужников, все смотрели в его сторону и всплескивали руками от изумления. Дельфин остановился у мраморной лестницы, которая вела от загородного дворца к реке; и не успел Саид ступить на берег, как дельфин бесследно исчез. Несколько прислужников с сухой одеждой поспешили вниз и от имени их господина пригласили Саида подняться к нему. Он быстро переоделся и последовал за прислужниками на крышу, где его встретили трое, один из них, самый рослый и красивый, приветливо и благосклонно улыбаясь, обратился к нему.

— Откуда ты, чудесный незнакомец? — спросил он. — Ты укрощаешь рыб морских и правишь ими не хуже, чем умелый седок боевым конем. Кто ты — волшебник или такой же человек, как и мы?

— Господин мой, — отвечивал Саид, — последние дни мне туго пришлось, но ежели вам любопытно, я все расскажу.

Он начал свой рассказ и поведал трем слушателям свои злоключения с того дня, как оставил отцовский дом и до дня своего чудесного спасения. Часто они прерывали его изумленными возгласами, дивясь его приключениям, когда же он кончил, хозяин дворца, так приветливо его встретивший, сказал:

— Я верю твоим словам, Саид! Но ты говорил, что за победу в ратных состязаниях получил цепь и что калиф подарил тебе кольцо. Можешь ты показать нам то и другое?

— Оба подарка я храню здесь, на сердце, — сказал юноша, — я отдал бы их тебе только вместе с жизнью, ибо славным и прекрасным деянием считаю то, что я спас калифа от рук разбойников. — С этими словами он вытащил из-за пазухи цепь и кольцо и подал хозяину дома.

— Клянусь бородою пророка, это он, это мое кольцо! — воскликнул высокий красавец. — Великий визирь, пред нами стоит наш спаситель, обнимем его.

Саиду казалось, что он видит сон, когда они заключили его в свои объятия, но, придя в себя, он пал ниц и сказал:

— Прости, повелитель правоверных, что пред твоим лицом я так свободно говорил, ведь ты Гарун аль-Рашид, славный багдадский калиф.

— Да, я калиф и твой друг! — ответил Гарун, — и с нынешнего дня твоя горестная судьба изменится. Ты поедешь со мной в Багдад, останешься в моей свите и будешь одним из самых моих верных советчиков, — в ту ночь ты доказал, что Гарун тебе не безразличен, а я не каждого из преданных мне слуг решил бы подвергнуть такому испытанию.

Саид поблагодарил калифа; он обещал остаться у него навсегда, но раньше просил позволения поехать домой, к отцу, который, верно, очень о нем печалится, и калиф нашел это желание законным и разумным. Вскоре они сели на коней и еще до захода солнца приехали в Багдад. Калиф повелел отвести Саиду во дворец целую анфиладу роскошных покоев и сверх того обещал дать приказ, чтобы для него был возведен прекрасный дом.

При первой вести о происшедшем к Саиду поспешили его бывшие братья по оружию — брат калифа и сын великого визиря. Они обняли его — спасителя дорогих им людей — и просили стать их другом. Но они онемели от изумления, когда он сказал: «Я уже давно ваш друг», — и с этими словами достал цепь — приз за победу на состязании — и напомнил о разных случаях на ристалище. Тогда они видели его загорелым и длиннородым, и только, когда он рассказал, как и почему он изменил свой облик, когда в подтверждение своих слов велел принести свои доспехи и сразился с ними тупым оружием, чем доказал, что он и есть тот самый Альмансор Отважный, только тогда они снова радостно обняли его и сочли за счастье иметь такого друга.

На следующий день, когда Саид и великий визирь сидели в покоях Гаруна, туда вошел Месур, старший хранитель казны калифа.

— Повелитель правоверных, — сказал он, — я хотел бы испросить у тебя одну милость, потому что не знаю, как ты на это помотришь.

— Я желаю сперва выслушать, о чем ты просишь, — ответил Гарун.

— У ворот дожидается мой кровный родственник, очень мною любимый Калум-бек, купец, известный всему базару, — сказал Месур, — у него произошла странная ссора с человеком из Бальсоры,

чей сын служил у Калум-бека, обворовал его и сбежал неизвестно куда. Теперь отец требует от Калума своего сына, а у Калума его нет. Поэтому ему хотелось бы, и он просит тебя об этом, чтобы ты оказал ему милость и с присущими тебе пронизательностью и мудростью рассудил спор между ним и человеком из Бальсоры.

— Хорошо, я рассужу их,— сказал калиф.— Пусть через полчаса твой почтенный родственник и тот, на кого он приносит жалобу, явятся в судебный покой на заседание дивана.

— Это не кто иной, как твой отец, Саид,— сказал Гарун, когда Месур, рассыпаясь в благодарностях, покинул покой,— по счастью, мне теперь все известно, поэтому судить я буду, как Соломон. Ты спрячешься за занавесом трона и не выходи, пока я не позову тебя, а ты, великий визирь, сейчас же вели привести нерадивого и опрометчивого судью! Он будет мне нужен во время допроса.

Как Гарун повелел, так оба и сделали. У Саида сильно забилось сердце, когда он увидел, как его отец, бледный и изнуренный печалью, неверной походкой вошел в судебный покой, а хитрая самоуверенная усмешка, с какой Калум шептал что-то на ухо своему родственнику, старшему хранителю калифовой казны, возмутила Саида, его так и подмывало выскочить из-за занавеса и накинуться на Калума, ведь ему, этому подлому человеку, он был обязан самыми тяжкими своими страданиями и огорчениями.

В покое собралось много людей, всем хотелось услышать, как будет творить суд калиф. Когда повелитель Багдада занял свое место на троне, великий визирь призвал всех к тишине, спросил, который из двух жалобщик и кто обращается за правосудием к своему повелителю.

Калум-бек самоуверенно выступил вперед и сказал:

— Несколько дней тому назад стоял я на базаре у дверей своей лавки, когда глашатай, держа в руке кошель, ходил вместе с этим человеком от лавки к лавке и выкрикивал: «Кошель золота тому, кто укажет, где Саид из Бальсоры». Этот Саид был у меня зазывалой, вот я и крикнул: «Сюда, друг! Я заслужил твой кошель!» Этот человек, который сейчас таким врагом смотрит на меня, тогда подошел ко мне как друг и спросил, что мне известно. Я ответил: «Вы, верно, Бенезар, его отец?» — и когда он с радостью это подтвердил, я рассказал, как нашел его сына в пустыне, спас ему жизнь, выходил его и привез в Багдад. С радостью сердца подарил он мне свой кошель. Но послушайте, что было дальше, когда я рассказал этому вздорному человеку, что его сын служил у меня, потом занялся темными делишками, обокрал меня и сбежал, он не поверил и вот уже несколько дней пристаёт ко мне, требует вернуть ему сына и золото, но я не могу вернуть ни того, ни другого, деньги принадлежат мне по праву за сообщенную весть, а его дурного сына я никак не могу ему предоставить.

Теперь заговорил Бенезар. Назвал сына благородным и добродетельным юношей, сказал, что Саид никогда не замарал бы рук воровством. Он взывал к калифу, прося строго расследовать дело.

— Надеюсь, ты исполнил свой долг и заявил о краже? — спросил Калум-бека калиф.

— Ну, разумеется, — усмехнулся тот. — Я отвел его к судье.

— Привести сюда судью! — повелел калиф.

Ко всеобщему удивлению, судья, как по мановению волшебной палочки, тут же предстал перед ним.

Калиф спросил его, помнит ли он о таком судебном деле, и тот ответил утвердительно.

— Ты допросил юношу, он в воровстве признался? — спросил Гарун.

— Нет, он был так упрям, что хотел повиниться только перед вами! — возразил судья.

— Но я не припомню, чтобы я его видел, — сказал калиф.

— А зачем? Тогда мне пришлось бы что ни день приводить к вам целую ораву всякого сброда, все желали бы, чтобы вы их выслушали.

— Ты же знаешь, я преклоняю ухо к словам любого, — возразил Гарун, — по, должно быть, улики были так очевидны, что юноше предстать пред моими очами было излишне. У тебя, Калум, верно, были свидетели, что украденные деньги принадлежат тебе?

— Свидетели? — переспросил Калум, бледнея. — Нет, свидетелей у меня не было, и вы, повелитель правоверных, сами знаете, что все золотые монеты похожи одна на другую. Откуда же было мне взять свидетелей, что именно *этих* сто золотых недостает у меня в кассе?

— А как же ты узнал, что эти золотые принадлежат тебе?

— По кошель, в котором они лежали, — ответил Калум.

— Кошель при тебе? — не прекращал допытываться калиф.

— Вот он, — ответил купец, достал кошель и вручил его великому визирю, чтобы тот подал его калифу.

Но великий визирь с притворным изумлением воскликнул:

— Клянусь бородою пророка! Так ты, паршивый пес, утверждаешь, что кошель твой? Кошель принадлежал мне, и я подарил его храброму юноше за то, что он спас меня от страшной опасности.

— Ты можешь в этом поклясться? — спросил калиф.

— Это так же верно, как то, что я надеюсь попасть в рай, — отвечал визирь, — кошель сделан руками моей дочери.

— Ай-ай-ай! — воскликнул Гарун. — Выходит, судья, показания-то были ложными. Почему же ты поверил, что кошель принадлежит купцу?

— Он поклялся, — ответил судья, оробев.

— Так, значит, ты дал *ложную* клятву! — с гневом обрушился калиф на дрожащего и побледневшего купца.

— Аллах, Аллах! — воскликнул тот. — Я, конечно, ничего не хочу сказать против великого визиря, он человек достойный доверия, но ведь кошель-то все-таки мой, и негодник Саид украл его. Я бы заплатил тысячу туманов, только бы Саид был сейчас тут.

— Скажи, куда ты упрятал Саида? — спросил калиф судью. —

Скажи, куда надо за ним послать, чтобы он мог дать мне свои показания?

— Я отослал его на пустынный остров, — ответил судья.

— О Саид! Мой сын, мой сын! — обливаясь слезами, приговаривал несчастный отец.

— Так, значит, он сознался в краже? — допрашивал Гарун.

Судья побледнел, он не знал, куда деть глаза, наконец он сказал:

— Если я не ошибаюсь, то — да.

— Значит, ты в этом не уверен? — грозно спросил калиф. — В таком случае спросим его самого. Выходи, Саид, а ты, Калум-бек, раз он здесь, заплати сейчас же тысячу золотых!

Калум и судья думали, что перед ними привидение. Они упали на колени и молили: «Смилуйся! Смилуйся!» Бенезар, обесилев от радости, поспешил в объятия вновь обретенного сына. Калиф с непреклонной строгостью спросил:

— Судья, Саид тут, он признал себя виновным?

— Нет, нет, — слезно вопил судья, — я выслушал только показания Калума, ведь он именитый купец.

— Разве для того я поставил тебя судьей надо всеми, чтобы ты выслушивал только знатных? — в порыве благородного гнева воскликнул Гарун аль-Рашид. — Я ссылаю тебя сроком на десять лет на пустынный остров в открытом море. Там у тебя будет время поразмыслить о справедливости; а ты, жалкий человек, ты возвращаешь к жизни умирающих не для того, чтобы их спасти, а для того, чтобы сделать их твоими рабами, ты, как уже было сказано, заплатишь тысячу туманов, ведь ты обещал их, если явится Саид и даст свои показания.

Калум обрадовался, что так дешево отделался, и уже собрался поблагодарить доброго калифа, но тот еще не кончил свою речь:

— За ложную клятву о ста золотых туманах получишь сто ударов по пяткам. А затем предоставляю Саиду на выбор — или забрать твою лавку, а тебя сделать упаковщиком и носильщиком, или же получить с тебя десять золотых за каждый день, что он прослужил у тебя.

— Отпустите негодяя, калиф! — воскликнул юноша. — Мне не надо ничего, что принадлежит ему.

— Нет, — возразил Гарун. — Я хочу, чтобы ты был вознагражден. Я выбираю вместо тебя: десять золотых за каждый день, а ты уж сам подсчитай, сколько дней был у него в лапах. А теперь уведите этих негодяев!

Их увели, а калиф пошел с Бенезаром и Саидом в другой покой; там он рассказал счастливому отцу о своем чудесном спасении, и только время от времени его прерывали вопли Калум-бека, которому во дворе как раз отсчитывали сто полновесных золотых по пяткам.

Калиф пригласил Бенезара на житье в Багдад. Тот согласился и только ненадолго съездил на родину за своим немалым добром. Саид зажил, как принц, во дворце, который ему построил

благодарный калиф. С братом калифа и сыном великого визиря он был в большой дружбе, и в Багдаде вошло в поговорку: «Быть бы мне таким добрым и счастливым, как Саид, сын Бенезара».

— При таком занимательном времяпрепровождении я не то что одну, а две, три ночи, а придется, так и больше, глаз не сомкну,— сказал мастер, когда егерь окончил,— и не раз уже я в этом убеждался. Работал я одно время подмастерьем у литейщика колоколов. Литейщик был человек богатый и не скряга. Но вот как-то, когда он получил крупный заказ, нас очень удивила совсем непривычная для него скупость. Отливали мы колокол для новой церкви, и мы, ученики и подмастерья, всю ночь должны были сидеть у горна и поддерживать огонь. Мы, конечно, ожидали, что мастер почнет свой заветный бочонок и поставит нам свое лучшее вино. Но не тут-то было. Он каждый час подносил нам круговую чарку, и только, а сам все рассказывал и о годах своих странствий, и всякие истории из своей жизни; его примеру последовал старший подмастерье, а потом по череду и все остальные. Мы и не заметили, как настал день. Тут-то мы поняли хитрость мастера: он хотел, чтобы за разговорами мы позабыли о сне. А когда колокол был готов, он не пожалел вина и с лихвой возместил то, что не дал той ночью.

— Ваш мастер был человек разумный,— заметил студент.— Против сна нет средства лучше, чем разговор. Мне потому не хотелось оставаться этой ночью в одиночестве, что к одиннадцати часам меня уже одолевает сон.

— И крестьяне тоже это смекнули,— сказал егерь.— Длинные зимними вечерами, когда пряхать уже приходится при свете, женщины и девушки не сидят по домам, потому что там они заснули бы за прялкой; нет, они собираются у кого-нибудь на посиделки и там за работой рассказывают друг другу всякую всячину.

— Да,— вступил в разговор возчик,— порой просто жуть берет, такие страхи они рассказывают об огненных духах, что бродят по свету, о домовых, что по ночам поднимают возню в кладовой, о привидениях, что пугают людей и скотину.

— Ну, это, конечно, не слишком приятное развлечение,— возразил студент.— Мне, должен признаться, ничто так не противно, как рассказы о привидениях.

— А по мне как раз наоборот,— сказал мастер.— Мне особенно приятно слушать страшные рассказы. Вроде как спать при дожде под крышей. Слышишь, как дождь стучит по черепицам: кап-кап... кап-кап, а ты лежишь в сухости и тепле. Когда при свете и в компании слушаешь рассказы о привидениях, тебе приятно и совсем не страшно.

— Ну, а потом как? — спросил студент.— Разве тот, кто питает нелепую веру в привидения, не будет дрожать от страха, ежели останется один впотьмах? Разве не будет он вспоминать всю ту жуть, что слышал? Когда я вспоминаю свое детство, рас-

сказы о привидениях и по сей день еще вызывают во мне неприязнь. Я был веселым, живым ребенком и, вероятно, не таким спокойным, как то хотелось бы моей кормилице. А она не придумала ничего лучше, как пугать меня, чтобы утихомирить. Она рассказывала страшные сказки про всякую нечисть, про ведьм, которые, как она говорила, водятся в доме, и, когда кошки подымали возню на чердаке, она боязливо шептала: «Слышишь, сынок? Вот он, мертвец-то, опять вверх и вниз по лестнице ходит. Голову свою он несет под мышкой, а глаза все равно горят не хуже фонарей, вместо пальцев у него когти, кого он поймает в темной комнате, тому свернет голову».

Собеседников его рассказ насмешил, а студент продолжал:

— Я был еще слишком мал и не мог понять, что все это не правда, а выдумки. Я не боялся самой большой охотничьей собаки, любого товарища моих детских игр мог повалить на песок, но в темной комнате зажимивал глаза, думая, что сейчас подкрадется мертвец. Дошло до того, что, когда стемнеет, я уже не соглашался один без свечи выйти за дверь. И как бывало отец меня наказывал за такое непослушание! Я долго не мог отделаться от этого детского страха, а виновата была только моя глупая кормилица.

— Да, это большая ошибка — забивать ребенку голову таким суемудрием, — заметил егерь. — Могу вас уверить, что знал смелых, решительных людей, охотников, которые не побоялись бы и трех врагов, а в ночную пору, когда они подкарауливали в лесу дичь или браконьеров, на них, случалось, вдруг напал страх; дерево представлялось им страшным привидением, куст — ведьмой, а два светлячка — глазами подстерегающего их в темноте чудовища.

— Я считаю подобные рассказы чрезвычайно вредными и глупыми для всякого, не только для детей, — сказал студент. — Ну станет ли здравомыслящий человек рассуждать о повадках и сущности тех, что живут лишь в воображении глупца? Привидения являются ему одному и никому больше. Но всего вреднее такие рассказы для сельского люда. В деревнях упорно живет твердая вера в подобные глупости, и поддерживается она за прялкой на посиделках и в трактирах, где подвигаются поближе друг к другу и прерывающимся от страха голосом рассказывают всякие жуткие истории.

— Да, сударь, может, вы и правы, — согласился возчик. — Такие рассказы принесли не одну беду, моя родная сестра по их милости лишилась жизни.

— Да ну? Из-за таких рассказней? — удивились остальные собеседники.

— Да, из-за таких рассказней, — подтвердил возчик. — В той деревне, где жил наш отец, женщины и девушки зимними вечерами прядут на посиделках, так уж там повелось. И молодые парни тоже приходят и болтают всякие небылицы. Вот как-то вечером зашел разговор о привидениях и выходах с того света, и парни

рассказали о старом лавочнике, который уже десять лет как умер, но все еще никак не найдет покоя в могиле. Каждую ночь сбрасывает он с гроба землю, встает из могилы, медленно крадется, покашливая; как и при жизни к себе в лавку, кладет на весы сахар и кофе и при этом бормочет:

Три четверти фунта в полночный час
К полудню потянут фунт как раз.

Многие уверяли, будто видели его собственными глазами, и девушки и женщины были очень напуганы. Но моя сестра, ей тогда было шестнадцать, захотела показать, что она умнее других, и заявила: «Ни во что такое я не верю, кто умер, тот уже не встанет из гроба!» Заявить-то она заявила, но убеждена в этом, к сожалению, не была. Тогда один из парней сказал: «Если ты так думаешь, ты его не испугаешься; его могила в двух шагах от могилы недавно умершей Кетхен. Докажи свою храбрость, пойди на кладбище, сорви цветок с могилы Кетхен и принеси нам, тогда мы поверим, что ты не испугалась лавочника!»

Моя сестра побоялась, что ее засмеют, и сказала: «Для меня это пустяки, какой цветок принести?»

«Во всей деревне нет белых роз, только на кладбище, вот и принеси нам оттуда букет белых роз», — ответила ей одна из ее подруг. Сестра встала и вышла на улицу, и все мужчины хвалили ее за храбрость, но женщины качали головой и говорили: «Только бы все хорошо кончилось!» Сестра пошла к кладбищу. Было полнолуние. Когда она отворяла кладбищенскую калитку, на часах как раз пробило двенадцать, ей стало страшно.

Она прошла мимо ряда знакомых могил, и чем ближе подходила она к белым розам Кетхен и к могиле лавочника, встающего по ночам из гроба, тем сильнее и сильнее замирало у нее от страха сердце.

Ее била дрожь, когда она, дойдя до могилы Кетхен, опустилась на колени и стала рвать цветы. Вдруг ей послышался где-то совсем рядом шорох. Она оглянулась: в двух шагах от нее из могилы вылетели комья земли, и вслед за землей появилась голова человека, бледного старика в белом ночном колпаке. Сестра страшно перепугалась; еще раз поглядела она в ту сторону, желая убедиться, что ее не обманывает зрение; когда же тот, что глядел из могилы, гнусавым голосом сказал: «Добрый вечер, девушка, откуда вы в такой поздний час?» — ее охватил смертельный страх, она вскочила и, перепрыгивая через могилы, побежала обратно; задыхаясь от ужаса, рассказала она о том, что видела; она так ослабела, что домой ее отнесли на руках. На следующий день мы узнали, что это был могильщик, он рыл там могилу и заговорил с моей сестрой, но нам от этого не стало легче. Еще до того, как она могла это узнать, у нее началась горячка, и на третий день она умерла. Цветы для венка на свою могилу она нарвала сама.

Возчик замолчал, и слезы выступили у него на глазах; все присутствующие с участием глядели на него.

— Итак, бедную девочку погубило суеверие, — сказал золотых дел мастер. — Мне вспомнилось в связи с этим предание, которое я охотно расскажу вам, к сожалению, и оно тоже грустно кончается.

СТИНФОЛЬСКАЯ ПЕЩЕРА

(Шотландская легенда)

Много лет тому назад на одном из скалистых шотландских островов жили в мире и согласии два рыбака. Оба они были холостые, родни у них тоже не было, а общая, хотя и не одинаковая, работа кормила обоих. По возрасту они были близки друг к другу, зато по облику и характеру столь же далеки, как орел от тюленя.

Каспар был толстенький коротышка с круглым, как луна, широким и жирным лицом, с добродушным веселым взглядом, казалось, далеким от печали и забот. Он любил поспать, был не только жирен, но и ленив, поэтому на его долю приходилась домашняя работа: он варил и пек, плел сети, как для собственного употребления, так и на продажу, обрабатывал большую часть их маленького поля. Его товарищ был полной его противоположностью; высокий и тощий, с ястребиным носом и смелым острым взглядом, на окрестных островах он прослыл самым деятельным и удачливым рыбаком, самым предприимчивым охотником за морскими птицами и их пухом, самым трудолюбивым земледельцем, а на рынке в Кирхуэле к тому же еще и самым жадным до денег торговцем, но товар у него был хороший, и торговал он без обмана, поэтому все охотно у него покупали. И Вильм Коршун и Каспар Колпак (так прозвали их в округе), с которым первый, при всей своей жадности, охотно делил тяжелым трудом заработанные деньги, не только были сыты, но находились на верном пути к известному достатку. Но Коршуну при его корыстолюбии просто достатка было мало. Он хотел разбогатеть, разбогатеть по-настоящему, и, когда он понял, что трудолюбием богатства не так-то легко нажить, он вбил себе в голову, что ему поможет какой-нибудь необычайный счастливый случай, и поскольку теперь эта мысль завладела его беспокойным умом, он уже не мог думать ни о чем другом и уже как о решенном говорил об этом с Каспаром Колпаком. А для Каспара то, что говорил Вильм Коршун, было непререкаемой истиной, вот он и пересказал все соседям, и вскорости пошел слух, будто Вильм Коршун не то уже продал душу дьяволу, не то получил такое предложение от князя тьмы.

Сперва Коршун смеялся над подобными слухами, но мало-помалу сжился с мыслью, что тот или иной дух откроет ему, где спрятан клад, и он уже не возражал, когда соседи над ним подшучивали. Он, правда, все еще занимался прежними своими делами, но уже не с прежним рвением и часто зря терял время, ко-

торое раньше потратил бы на рыбную ловлю или на какую другую полезную работу, в бесплодных поисках удачного случая, который поможет ему сразу разбогатеть. К несчастью, однажды, когда он стоял на безлюдном берегу и с твердой надеждой взирал на волны морские, словно оттуда ему должно привалить огромное счастье, большая волна, отхлынув обратно, оставила на берегу у его ног среди смытого мха и камешков желтый шарик — шарик золота.

Вильм стоял как замороженный; так, значит, его надежды не пустые мечтания, море подарило ему золото, прекрасное чистое золото, вероятно, остаток большого слитка, на дне морском обточенного волнами до величины ружейной пули. И теперь ему стало ясно, что некогда где-то здесь, у этого берега, затонул корабль с богатым грузом и что ему, именно *ему*, предназначено судьбой поднять с морского дна похороненное там сокровище. С этого дня это стало его единственной думой. Он тщательно скрывал свою находку даже от друга; опасаясь, как бы кто другой не напал на след его открытия, он забросил все свои дела и проводил и дни и ночи на том берегу, где не рыбу ловил сетью, а собственноручно для этого изготовленной им лопатой пытался выудить клад. Но привело это только к бедности, ведь сам он теперь ничего не зарабатывал, а сонный и медлительный Каспар Колпак, при всем старании, не мог своим трудом прокормить обоих. В погоне за сокровищем исчез не только найденный им кусочек золота, но постепенно все добро обоих холостяков. Как прежде Каспар молча предоставлял Вильму зарабатывать на сытую жизнь, так и теперь молча и безропотно сносил он то, что из-за бесцельных трудов своего друга терпит нужду, и такое кроткое долготерпение Каспара только пуще подстегивало Вильма не прекращать неустанных поисков богатства, но еще больше не давало ему утомиться то, что, как только он ложился спать и глаза его смыкались в дремоте, на ухо ему будто кто-то шептал, казалось ему, всегда одно и то же, явственно слышное слово, но, проснувшись, он так и не мог его припомнить. Он, правда, не знал, как это странное обстоятельство связано с одолевающими его теперь заботами, но при его умонастроении все оказывало на него свое действие, и это таинственное нашептывание укрепило его веру в то, что ему предопределено судьбой великое счастье, а он надеялся обрести его только в куче золота.

Однажды на берегу, где он нашел золотой шарик, его застала такая сильная буря, что он укрылся в ближайшей пещере. Эта пещера, которую местные жители называют Стинфольской, образует длинную подземную галерею, открытую в двух местах свободному доступу морских волн, и они, непрерывно с громким ревом, пенясь врываются в пещеру. Проникнуть в эту пещеру можно только в *одном* месте и только через расселину сверху, которой, кроме отчаянных мальчишек, редко кто пользовался, всех отпугивали не только опасности, связанные с самим местоположением, но и слава о том, что в пещере нечисто. С трудом протис-

нулся Вильм через расселину, спустился приблизительно на двадцать футов и устроился на выступающем камне под нависшей скалой. Под ногами у него с ревом перекатывались волны, над головой шумела буря, а он опять предался обычным своим размышлениям о затонувшем корабле и что за корабль это мог быть, ведь, несмотря на все расспросы, он ни от кого из местных жителей, даже от старожил, не мог получить сведений о корабле, когда-либо затонувшем на этом месте. Сколько времени он так просидел, он и сам не знал; когда же очнулся от своих грез, он увидел, что буря прошла, и хотел подняться наверх, но тут из глубины до него долетел чей-то голос и совершенно явственно прозвучало слово «Кар-мил-хан». В испуге вскочил он и посмотрел в пучину, где не было никого. «Господи боже!—воскликнул он.— Это же то слово, что преследует меня во сне! Ради всего святого, что оно значит?» «Кармилхан»,— еще раз вздохнула бездна морская, когда он уже вытащил одну ногу из расселины; и, как испуганная лань, помчался он к своей хижине.

Но Вильм не был трусом,— просто все произошло слишком неожиданно, да и очень уж корыстолюбив он был, и никакая опасность не могла отпугнуть его и принудить сойти с избранного им опасного пути. Однажды, когда он поздней ночью при лунном свете, причалив лодку как раз против пещеры, пытался своей самодельной лопатой выудить сокровище, лопата вдруг в чем-то застряла. Он потянул со всей мочи, но все его усилия были тщетны. Тем временем подул сильный ветер, темные тучи обложили небо; лодку сильно качало, и в любую минуту она могла перевернуться; но Вильма Коршуна это не смутило, он тянул и тянул, наконец ему удалось одолеть сопротивление, и, не ощущая никакой тяжести, он подумал, что оборвался канат на лопате. Но как раз в ту минуту, когда тучи заволакивали луну, на поверхности воды появилась круглая черная масса и прозвучало давно уже преследовавшее его слово: «Кармилхан»! Он поспешил схватить эту темную массу и уже протянул руку, но ночная тьма тут же поглотила ее, а Вильму от вдруг разразившейся бури пришлось укрыться под ближайшей скалой. От усталости он там заснул, но и во сне, терзаемый неудержной силой воображения, он снова переживал те же муки, что терпел днем из-за не покидавшей его алчности.

Когда Коршун проснулся, первые лучи восходящего солнца падали на уже успокоившуюся водную гладь. Он хотел опять приняться за привычную работу, как вдруг увидел, что издали приближается какой-то предмет. Вскоре он разглядел лодку, а в ней человека. Но что его удивило,— лодка шла вперед без ветрила и весел, и притом носом к берегу, а сидевший в ней человек как будто и не думал о руле, да и был ли там вообще руль. Лодка подходила все ближе и наконец остановилась у лодки Вильма. Там с закрытыми глазами, недвижимо, как покойник, сидел высохший сморщенный старичок в желтой холщовой одежде и в красном торчащем вверх ночном колпаке.

Напрасно Вильм кричал, напрасно расталкивал его, и тогда он решил привязать к лодке канат и отвезти ее, но тут старичок открыл глаза и зашевелился, да так, что даже храброго рыбака обьяла жуть.

— Где я? — глубоко вздохнув, спросил старичок по-голландски.

Вильм Коршун, научившийся от голландских ловцов сельдей понимать их язык, назвал остров и спросил, кто он и что привело его сюда.

— Я приехал взглянуть на «Кармилхана».

— На «Кармилхана»? Ради бога, скажите, что это? — воскликнул алчный рыбак.

— Я не отвечаю на вопросы, когда мне их так задают, — явно испугавшись, возразил старичок.

— Ну, так что же такое «Кармилхан»? — крикнул Коршун.

— «Кармилхан» теперь уже ничто, но в свое время это был красивый корабль, с таким огромным грузом золота, какой едва ли был на каком-либо другом корабле.

— Где и когда он затонул?

— Сто лет тому назад, а где — я точно не знаю. Я здесь, чтобы отыскать это место и выудить со дна золото; помоги мне, и мы разделим находку, хочешь?

— Всей душой хочу, скажи только, что я должен делать?

— То, что ты должен делать, требует мужества; ты должен незадолго до полуночи пойти в самую дикую и пустынную часть острова, взяв с собой корову, там ты ее зарежешь, но предварительно договорись с кем-нибудь, чтобы он завернул тебя в содранную коровью шкуру, а затем ушел, оставив тебя одного, и не пройдет и часа, как ты узнаешь, где лежат сокровища «Кармилхана».

— Таким же путем сын старого Энгроля погубил тело и душу! — в ужасе воскликнул Вильм. — Ты нечистый! — крикнул он, быстро гребя прочь. — Ступай к себе в преисподнюю! Я не хочу иметь с тобой дела!

Старичок, заскрежетав от злости зубами, посылал ему вслед ругательства и проклятия, но до слуха рыбака, взявшегося за весла, его голос уже не долетал, а когда Вильм обогнул скалу, старичок исчез и из его поля зрения.

Однако открытие, что злой дух хотел использовать его жадность и, обещав золото, заманить в свои сети, не излечило ослепленного рыбака, наоборот, он подумал, что теперь он сам воспользуется сообщением желтого старичка, не отдаваясь в руки дьяволу; итак, он продолжал поиски золота у пустынного берега, пренебрегая сулящими достаток богатыми уловами у других морских берегов, да и вообще всякой работой, хотя прежде отличался трудолюбием. Теперь они с другом день ото дня терпели все большую и большую нужду, так что под конец им уже не хватало самого насущного. И хотя это надо было приписать исключительно упрямству и алчности Вильма Коршуна, хотя пропитание обоих целиком лежало теперь на Каспаре Колпаке, тот

никогда ни в чем не упрекал Коршуна; больше того, он все так же выказывал ему покорность, все так же верил в превосходство его ума, как и прежде, когда Вильму Коршуну давалось все, за что бы он ни взялся. Это обстоятельство сильно усугубляло страдание Вильма, но оно же побуждало его к еще более упорным поискам золота, он надеялся, что в дальнейшем сможет вознаградить друга за теперешние лишения. К тому же во сне его все еще преследовало дьявольское нашептывание слова «Кармильхан». Коротко говоря, нужда, обманутое ожидание и жадность довели его до своего рода безумия, и в конце концов он решил сделать то, к чему склонял его старичок, хотя из давнего предания и знал, что это значит самому отдать себя во власть князю тьмы.

Все уговоры Каспара были напрасны. Чем больше он упрашивал друга отступить от его отчаянного замысла, тем горячее настаивал тот на своем. И добрый слабыхарактерный Каспар Колпак в конце концов сдался и согласился пойти с ним и помочь ему выполнить задуманное. У обоих холостяков больно сжалось сердце, когда они обмотали веревкой рога красивой коровы, их последнего достояния, которую они вырастили из теленка и никак не решались продать, потому что не могли примириться с мыслью отдать ее в чужие руки. Но дьявол, взявший власть над Вильмом, задушил в его сердце все добрые чувства, а Каспар своему другу ни в чем не перечил. Шел сентябрь, начались уже долгие ночи шотландской зимы. Облака, гонимые резким вечерним ветром, тяжело катились по потемневшему небу, громоздясь, как айсберги в стреме, густые тени залегли в ущельях между горным хребтом и сырыми торфяными болотами, смутно видные русла рек устрашали, как черная тьма адских бездн. Коршун шел впереди, а Каспар Колпак, содрогавшийся при мысли о собственной смелости, следом, и слезы навертывались ему на глаза всякий раз, как он взглядывал на бедную корову, которая доверчиво шла за ними, не ведая, что идет навстречу близкой смерти от руки человека, до тех пор кормившего ее. С трудом добрались они до узкой болотистой горной долины, кое-где поросшей мхом и вереском, усеянной большими камнями и опоясанной недостигаемыми горами, терявшимися в клубах тумана и почти недоступными для человека. По болотистой, уходящей из-под ног почве подошли они к большому камню посреди долины, с которого с громким клекотом взлетел испугнутый орел. Бедная корова глухо замычала, словно почуяв, какое это страшное место и какая ее ждет участь. Каспар отвернулся и утер ручьем бегущие слезы. Он глянул вниз, в скалистое ущелье, откуда они поднялись, оттуда долетал далекий шум прибоя, а потом глянул вверх, на горные вершины, на которые спустились черные тучи, оттуда временами доносились глухие раскаты. Когда он посмотрел на Вильма, тот уже привязал корову к камню и занес над бедняжкой топор.

Этого Каспар не выдержал, подчиниться воле друга казалось ему невыносимым. Ломая руки, с отчаянным воплем упал он на колени.

— Ради бога, Вильм Коршун! Пожалей себя, пожалей корову! Пожалей себя и меня! Пожалей свою душу! Пожалей свою жизнь! А если уж ты не боишься искушать бога, то подожди до завтра и лучше принеси в жертву другое животное, а не нашу ласковую коровушку!

— Каспар, да ты с ума сошел! — как обезумевший завопил Вильм, все еще не опуская топора. — Прикажешь мне пожалеть корову, а самому помереть с голоду?

— Ты не померьшь с голоду, — решительно ответил Каспар. — Покуда у меня есть руки, ты не померьшь с голоду. С утра до ночи буду я для тебя трудиться. Только не лишай свою душу вечного блаженства и не убивай нашу бедную корову!

— Тогда возьми топор и размозжи голову мне! — с отчаянием в голосе крикнул Вильм Коршун. — Я не сойду с этого места, пока не получу того, что мне надо. Ты можешь добыть для меня сокровища «Кармильхана»? Можешь своими руками заработать больше, чем на самую скудную жизнь? Но ты можешь своими руками положить конец и моим терзаниям. Вот топор, принеси в жертву меня!

— Вильм, убей корову, убей меня! Мне ничего не жаль, мне жаль только твою бессмертную душу. Ведь это же алтарь пиктов, и жертву ты принесешь князю тьмы.

— А что мне до того! — закричал Коршун, хохоча, как безумный, и твердо решив не слушать никаких доводов, никого, кто может отговорить его от раз им задуманного. — Каспар, ты помешался, с тобой помешаюсь и я. Но вот, — продолжал он, отбросив топор и взяв с камня нож с таким видом, будто собирается воткнуть его себе в грудь, — пусть вместо меня у тебя останется корова!

Во мгновение ока Каспар подскочил к нему, вырвал у него из рук смертоносное оружие, схватил топор, замахнулся и с такой силой опустил его на голову любимой им коровы, что она, даже не вздрогнув, мертвой упала к ногам хозяина.

Тут же сверкнула молния, загредел гром, а Вильм Коршун в недоумении уставился на своего друга, так взрослый глядит на ребенка, который решился на то, на что сам взрослый не отважился бы. Но Каспар Колпак, казалось, не испугался грома и молнии, не растерялся при виде недоуменно вззирающего на него друга, не говоря ни слова, он стал сдирать шкуру с коровы. Вильм, опомнившись, стал ему подсоблять, но с отвращением, столь же явным, как перед тем было явно, что при его корыстолюбии ему не терпится закончить жертвоприношение. Тем временем разразилась гроза, в горах грохотал гром, над камнем и мхом ущелья сверкали зигзаги молний, а ветер, еще не добравшийся до этих высот, дико завывал в нижних долинах и на морском берегу. Оба рыбака, пока сдирали шкуру, промокли до костей. Они расстелили шкуру на земле, Каспар завернул в нее своего друга и связал его, как тот ему повелел. Только когда это было сделано, он, бедняга, грустно глядя на своего ослепленного алчностью друга, прервал долгое молчание и спросил дрожащим голосом:

— Что еще могу я для тебя сделать?

— Ничего, — ответил тот, — прощай!

— Прощай! — сказал и Каспар. — Да хранит тебя господь и да простит тебе, как прощаю я!

Это были последние слова, которые Вильм услышал, — Каспар исчез в сгущавшейся темноте. И сразу разразилась ужаснейшая гроза, Вильм никогда еще не слышал такой. Началась она с молнии, при свете которой Вильм увидел не только ближние горы и скалы, но даже, как ему показалось, долину далеко внизу, и вспененное море, и скалистые острова, усеявшие бухту, и среди них ему почудился большой необычного вида корабль без мачт, который быстро скрыла мгновенно наступившая кромешная тьма. Гром гремел оглушительно. С гор срывались огромные, грозящие смертью камни. Дождь лил как из ведра и в одну минуту затопил узкую болотистую долину, вода уже доходила Вильму до плеч; по счастью, Каспар приподнял его и в полусидячем положении приклонил к кочке, не то он бы сразу захлебнулся. Вода подымалась все выше, и чем сильнее напрягался Вильм, чтобы освободиться от опасного пут, тем плотней облегала его коровья шкура. Напрасно звал он Каспара, Каспар был далеко. Взывать о спасении к богу он не смел. Мысль молить о помощи те силы, во власть которых он отдался, приводила его в ужас.

Вода уже заливала ему уши, уже доходила до рта. «Боже, я погиб!» — крикнул он, когда вода залила ему уже все лицо, но в то же мгновение до слуха его долетел шум, как от близкого водопада, и вода сразу схлынула с его лица. Поток проложил себе дорогу между камнями, дождь стал утихать, темное небо чуть осветлело, у Вильма несколько отлегло от сердца, и в душе его снова зародилась надежда. Но хотя он чувствовал себя обессиленным, как после смертного боя, и страстно желал освободиться от пут, все же цель его отчаянного стремления не была достигнута, и, когда исчезла прямая угроза жизни, его душой вновь овладела яростная алчность. Он был убежден, что добиться своего он может только запасшись терпением и потому лежал смиренно, наконец холод и утомление сморили его, и он заснул крепким сном.

Проспал он часа два, из блаженного забытья пробудил его холодный ветер, дувший в лицо, и шум, как от набегающих волн. Небо опять затянулось тучами. Молния, как и при первой грозе, осветила все вокруг, и ему снова почудился чужеземный корабль, на этот раз у самой Стинфольской пещеры, казалось, он повис на гребне высокой волны и вдруг стремительно низвергся в пучину. Непрестанные молнии озаряли море, и Вильм все еще глядел вслед исчезающему призраку, как вдруг в долине возник гигантский смерж и с такой силой отшвырнул его к скале, что он потерял сознание. Когда он пришел в себя, непогода уже улеглась, небо прояснилось, но зарницы все еще вспыхивали. Он лежал у подножия гор, обступавших долину, и не мог пошевелиться от слабости. Он слышал затихающий шум прибоя, перемежавшийся с торжественным, похожим на церковное, пением, сначала очень тихим,

и Вильм счел, что его обманывает слух. Но пение звучало все снова и снова, оно приближалось, с каждым разом становясь все внятнее. Наконец ему показалось, будто он уловил напев псалма, который прошлым летом слышал на борту голландского рыболовного судна.

Теперь он уже различал отдельные голоса, ему казалось, что он улавливает даже слова именно того песнопения. Голоса раздавались уже в долине, и, когда он с большим трудом подполз к камню и положил на него голову, он действительно увидел процессию поющих людей, надвигавшуюся прямо на него. Горе и ужас запечатлелись на лицах этих людей, с одежды которых, как ему показалось, струилась вода. Теперь они подошли совсем близко, пение прекратилось. Процессию возглавляли поющие, потом шли моряки, а за ними — рослый, величественный мужчина в старомодном, шитом золотом одеянии, он был опоясан мечом, в руке держал длинную крепкую бамбуковую трость с золотым набалдашником. Слева от него шел негритенок и время от времени подавал своему господину длинную трубку, тот с важным видом делал несколько затяжек и шествовал дальше. Выпрямившись во весь рост, остановился он перед Вильмом, а по обе стороны от него стали другие, менее роскошно одетые мужчины, все держали в руках трубки, но не столь богато украшенные, как та, что негритенок нес за своим хозяином. Дальше разместились остальные, среди них несколько дам — все в дорогих, необычных парядах; одни держали на руках младенцев, другие вели за ручки детей постарше, шествие замыкала кучка голландских матросов, у каждого рот был полон табака, а в зубах была зажата коричневая трубка, они курили в угрюмом молчании.

Рыбак с содроганием смотрел на это своеобразное сборище, однако в ожидании того, что должно воспоследовать, бодрился. Долго стояли они, обступив Вильма Коршуна, дым из их трубок собирался над ними в плотное облако, сквозь него мерцали звезды. Кольцо вокруг Вильма все суживалось и суживалось, матросы курили все яростнее и яростнее, от дыма из трубок облако над толпой все сгущалось, становилось все плотней и плотней. Коршун был смелым, бесстрашным человеком, он был готов ко всяким неожиданностям, но когда он увидел, что толпа все ближе надвигается на него, словно собираясь подмять под себя, мужество оставило его, на лбу выступили крупные капли пота, он думал, что умрет от страха. Но можно представить себе, как он перепугался, когда, случайно посмотрев в сторону, увидал у самой своей головы желтого старичка, застывшего в неподвижности, как и в тот раз, когда Вильм увидел его впервые, только теперь, словно насмехаясь над всем сборищем, он тоже держал во рту трубку. На рыбака напал смертельный страх, и он крикнул, обращаясь к главной персоне шествия:

— Именем того, кому вы служите, заклинаю вас, скажите, кто вы? И что вам от меня нужно?

Величественный мужчина с еще более важным видом, чем до

того, сделал три затяжки, отдал трубку своему прислужнику и отвечал до жути невозмутимо:

— Я Альфред Франц ван дер Свельдер, командир амстердамского корабля «Кармильхан», на обратном пути из Батавии затопившего со всем экипажем и грузом у этого скалистого берега; вот мои офицеры, вот мои пассажиры, а вот мои храбрые матросы, все потонули вместе со мной. Зачем вызвал ты нас наверх из нашего биталица на дне морском? Зачем нарушил наш покой?

— Я хочу знать, где лежат сокровища «Кармильхана».

— На дне морском.

— Но где?

— В Стинфольской пещере.

— Как мне их добыть?

— Гусь ныряет за сельдью в морскую пучину, — разве сокровища «Кармильхана» не стоят того же?

— Сколько достанется на мою долю?

— Больше, чем ты сможешь истратить за всю твою жизнь. — Желтый старичок издевательски осклабился, а все сборище громко расхохоталось. — Ты кончил? — спросил командир.

— Да. Будь здоров!

— Всего хорошего, до нового свидания, — отвечал голландец и двинулся обратно, хор снова занял место во главе процессии, и все удалились в том же порядке, в котором пришли, под то же торжественное песнопение, которое по мере их удаления звучало все тише и все невнятнее, и наконец его заглушил шум прибора.

Теперь Вильм Коршун напруг последние силы, чтобы освободиться от пут, и в конце концов он выпростал одну руку, а с ее помощью развязал стягивающие его веревки, и тогда ему удалось окончательно вылезть из шкуры. Без оглядки поспешил он в свою лачугу и увидел бедного Каспара, без сознания лежащего на полу. С трудом привел он его в чувство, и добряк Каспар расплакался от радости, когда увидел своего друга молодости, которого считал навеки потерянным. Но этот луч радости сразу погас, едва он услышал, какое опасное дело задумал Вильм Коршун.

— Лучше мне попасть в ад, чем и впредь видеть эти голые стены и жить в нищете. Я ухожу, все равно, пойдешь ты со мной или нет.

С этими словами Вильм взял факел, огниво и канат и убежал. Каспар со всех ног бросился за ним вдогонку и настиг его на выступе скалы, под которой Вильм в прошлый раз укрывался от бури. Тот уже собрался спуститься на канате в ревущую морскую пучину. Поняв, что уговаривать этого одержимого бесполезно, Каспар Колпак решил последовать за ним, но Вильм приказал ему остаться на скале и держать канат. Побуждаемый слепой алчностью, Вильм напруг все силы, призвал все свое мужество и спустился в пещеру, где встал на выступ скалы, под которым бушевали черные волны с белой пеной на гребнях. Он озирался, жадно всматриваясь в волны, и наконец узрел как раз под собою что-

то блеснувшее в воде. Он положил факел, спрыгнул со скалы, ухватил что-то тяжелое и вместе со своей находкой опять поднялся на выступ скалы. В руках у него был железный ларчик с золотом. Он сообщил Каспару, что он нашел, но не внял мольбам друга удовольствоваться этой находкой и подняться наверх. Он считал, что это первый плод его долгих усилий. Он снова бросился в воду — из морской пучины донесся громкий хохот, и Вильма Коршуна никто больше не увидел. Каспар один вернулся домой, но вернулся туда совсем другим человеком. Его слабая голова и чувствительное сердце не выдержали такого страшного потрясения, он помешался. Все и в доме и в огороде пришло в запустение, днем и ночью бродил он, бессмысленно глядя в землю и вызывая жалость тех, что водили с ним раньше знакомство, а теперь сторонились его. Один рыбак уверял, будто раз бурной ночью видел на берегу среди экипажа «Кармильхана» Вильма Коршуна, и той же ночью исчез Каспар Колпак.

Его тщетно искали повсюду. Он бесследно пропал. Но, по словам предания, его вместе с Коршуном не раз видели среди экипажа волшебного корабля, который с тех пор в определенные дни появляется возле Стинфольской пещеры.

— Полночь давно уже прошла,— сказал студент, когда молодой золотых дел мастер закончил свой рассказ,— теперь, я полагаю, опасность уже миновала, а что до меня, я так хочу спать, что посоветовал бы всем лечь в постель и спокойно уснуть.

— До двух часов утра я бы все-таки подождал,— возразил егерь.

— Недаром говорится: «С одиннадцати до двух — самое ровное время».

— И я так думаю,— заметил мастер,— если они что-то замышляют, то самое разлюбезное время после полуночи. Вот мне и кажется, что господин студиозус мог бы продолжить свой рассказ, еще далеко не законченный.

— Я не отказываюсь,— согласился студент,— хотя наш сосед, господин егерь, не слышал начала.

— Рассказывайте, рассказывайте, а начало я примыслию! — отозвался егерь.

— Итак,— начал было студент, но его прервал лай собаки.

Все затаили дыхание, прислушались, и тут же из комнаты графини вбежал лакей, он сообщил, что со стороны леса к харчевне подходят десять — двенадцать вооруженных людей.

Егерь схватил ружье, студент пистолет, ремесленники — палки, а возчик вытащил из кармана длинный нож. В нерешительности глядели они друг на друга, не зная, что предпринять.

— Выйдемте на лестницу! — предложил студент. — Мы убьем двух-трех этих мерзавцев, прежде чем они нас одолеют.

Он тут же дал мастеру свой второй пистолет и предложил не стрелять одновременно. Они подошли к лестнице. Студент и егерь

как раз заняли всю ее ширину; около егеря, несколько сбоку, стал храбрый мастер и, перегнувшись через перила, направил дуло пистолета на середину лестницы. Феликс и возчик поместились позади них, приготовившись, если придется сражаться один на один, не спасовать. Так в немом ожидании простояли они несколько минут. Затем услышали, что отворилась входная дверь, и уловили, как им показалось, людской шепот.

Теперь стали слышны шаги, к лестнице подошли несколько человек, они уже поднимались наверх, вот на повороте появились трое, надо думать, не ожидавшие встретить такой прием, потому что, как только они обогнули столб, егерь громко крикнул:

— Стой! Ни шагу дальше, если вы дорожите жизнью! Взведите курки, друзья, и цельтесь как следует!

Разбойники испугались, быстро спустились с лестницы и стали совещаться. Через некоторое время один из них вернулся.

— Господа,— сказал он,— неразумно с вашей стороны жертвовать жизнью, ведь нас достаточно, чтобы всех вас уничтожить; отойдите от лестницы; ни одному из вас мы не причиним никакого зла; мы не возьмем у вас ни пфеннига.

— Так чего же вы хотите? — крикнул студент. — Думаете, мы так и поверили всякому сброду? Нет! Если вам что-нибудь надо, милости просим, но первому, кто покажется на повороте, я всажу пулю в лоб и навсегда излечу его от головной боли!

— Выдайте нам добровольно даму! — ответил разбойник. — Ничего плохого мы ей не сделаем, увезем в надежное и удобное место, людей ее отпустим, пусть едут домой и попросят его сиятельство графа прислать за нее двадцать тысяч гульденов выкупа.

— И мы должны терпеливо выслушивать такие предложения? — скрежеща зубами от гнева, крикнул егерь и взвел курок. — Считаю до трех, и, если ты при слове «три» не уберешься, я нажму на курок, раз, два...

— Стой! — крикнул разбойник громовым голосом. — Разве это дело — стрелять в безоружного человека, который мирно с вами договаривается? И дурак же ты, как я посмотрю, пристрелишь ты меня, подумаешь, какой геройский поступок! Ведь тут двадцать моих сотоварищей, они отомстят за меня. Что пользы твоей графине от того, что вы будете валяться убитые или раненные? Верь мне, если она добровольно пойдет с нами, мы окажем ей должное уважение, но, если ты, пока я досчитаю до трех, не оставишь в покое курок, то ей придется плохо. Оставь в покое курок, раз, два, три!

— С этими собаками шутки плохи! — прошептал егерь, послушавшись приказа разбойника. — Жизнь своей я не дорожу, но если я убью одного из них, они, пожалуй, выместят это на графине. Я пойду, посоветуюсь с ее сиятельством. Объявим на полчаса перемирие, — громко крикнул он разбойнику, — я подготовлю графиню. Она может умереть от столь неожиданного сообщения.

— Согласен, — ответил разбойник и сейчас же велел шестерым разбойникам сторожить внизу, у лестницы.

Мрачно, в полном замешательстве последовали подавленные путешественники за егерем к графине; ее комната была почти у самой лестницы, а переговоры велись так громко, что графиня слышала все до единого слова. Она была бледна и сильно дрожала, и все же она твердо решила покориться судьбе.

— Зачем буду я напрасно рисковать жизнью стольких славных людей? — сказала она. — Зачем буду просить вас о тщетной защите, когда вы меня совсем не знаете? Нет, я вижу только один выход: согласиться на требование этих презренных негодяев.

Всех глубоко тронули мужество и несчастная судьба графини; егерь со слезами клялся, что не переживет такого позора. Студент негодовал на себя, на то, что он в шесть футов ростом.

— Будь я без бороды и хоть на полголовы ниже, — сетовал он, — я бы знал, что делать, я попросил бы у вашего сиятельства платье, и эти презренные негодяи нескоро бы обнаружили свой промах.

И на Феликса несчастье графини произвело сильное впечатление. И внешним и внутренним своим облик она так трогала, была так близка ему, что он невольно представлял себе, будто перед ним его рано умершая мать и будто это она попала в беду. Он чувствовал такой душевный подъем, такой прилив сил, что охотно бы отдал за нее жизнь. А когда он услышал слова студента, в мозгу у него блеснула мысль; он забыл страх, забыл все опасения и думал лишь о том, как бы спасти графиню.

— Если все дело только в этом, — сказал он, краснея и смущаясь, — если для спасения вашего сиятельства нужны только невысокий рост, безусое лицо и отважное сердце, то, может, пригужу я? Переоденьтесь в мой кафтан, спрячьте под моей шляпой ваши прекрасные волосы, возьмите за спину мой узел и под видом Феликса, золотых дел мастера, с богом в дорогу.

Все были поражены мужеством юноши, а егерь крепко обнял его.

— Золотой ты мой, — радостно воскликнул он, — так ты правда этого хочешь, хочешь переодеться в платье графини и спасти ее сиятельство? Сам бог внушил тебе эту мысль, но одного тебя я не отпущу, я тоже отдамся разбойникам, останусь с тобой, буду твоим преданным другом, и, пока я жив, они не посмеют обидеть тебя.

— Клянусь жизнью, я тоже не оставлю тебя! — воскликнул студент и заключил юношу в свои объятия.

Графиню пришлось долго уговаривать. Она не могла примириться с мыслью, что посторонний человек ради нее идет на такую жертву; ведь в случае, если в дальнейшем обман обнаружится, разбойники не пощадят несчастного юношу. Но в конце концов она уступила просьбам Феликса и твердо решила, что, уйдя от разбойников, приложит все старания вызволить своего спасителя. Она согласилась. Егерь и все остальные проводили Феликса в комнату, отведенную студенту, там он быстро переоделся в платье графини, а егерь, в довершение всего, надел ему на голову

дамскую шляпу, приколов к ней несколько фальшивых локонов камеристки, и все уверяли, что его не узнать. Даже мастер клялся, что, встретив его на улице, он поспешил бы снять шляпу, так и не догадавшись, что отвесил поклон своему храброму приятелю.

Тем временем графиня с помощью камеристки переоделась в одежду Феликса, лежавшую в рапце. Теперь ее нельзя было узнать, так изменили ее шляпа, надвинутая на самые брови, дорожная палка в руке, ставший несколько менее тяжелым узел за спиной. В другое время все бы от души посмеялись над таким забавным маскарадом. Повоиспеченный ремесленник со слезами на глазах поблагодарил Феликса и обещал приложить все старание, чтобы как можно скорее выручить его из беды.

— У меня еще только одна просьба,— сказал Феликс,— в рапце, что у вас за спиной, лежит футляр, спрячьте его получше, если он потеряется, я всю жизнь буду безутешен; я должен отдать его моей приемной матери и...

— Готфриду, егерю, мой замок известен,— ответила она.— Вы получите все в целости и сохранности, ибо я надеюсь, благородный юноша, что вы сами приедете к нам, в таком случае мой супруг и я могли бы лично выразить вам свою признательность.

Не успел Феликс ответить, как со стороны лестницы послышались грубые голоса разбойников; они кричали, что срок истек и все готово к отъезду графини. Егеря спустился к ним и заявил, что он не покинет ее сиятельства и лучше куда угодно поедет вслед за графиней, нежели без нее предстанет пред очи ее супруга. Студент тоже заявил о своем намерении сопровождать даму. Разбойники посоветались и в конце концов согласились под тем условием, что егеря сейчас же отдаст свое оружие. Всем остальным было приказано держаться спокойно и тихо, когда будут увозить графиню.

Феликс опустил на лицо вуаль, сел в уголок, склонил голову на руку и в позе глубоко опечаленного человека ждал разбойников. Остальные ушли в соседнюю комнату, но разместились так, чтобы видеть все происходящее. В другом углу той комнаты, где почевала графиня, сидел егеря, с виду очень грустный, на самом же деле он ничего не упускал из виду. Так просидели они несколько минут, затем отворилась дверь, и вошел красивый прекрасно одетый мужчина, лет тридцати пяти — тридцати шести на вид. Он был в мундире военного покроя, с орденом на груди и длинной саблей на боку, а в руке держал шляпу, с которой свешивались пышные перья. Сейчас же вслед за его приходом двое подчиненных ему разбойников стали на страже в дверях.

С низким поклоном приблизился он к Феликсу; казалось, его смущал предстоящий разговор со столь знатной дамой. Он несколько раз начинал, прежде чем ему удалось складно выразить свою мысль.

— Милостивая государыня,— сказал он,— бывают положения, когда надлежит терпеливо покориться судьбе. Так в данном случае обстоит дело с вами. Не подумайте, что я хоть на минуту

позабуду респект, коим обязан столь достойной особе. Вам будут предоставлены все удобства, вам ни на что не придется жаловаться, разве только на страх, пережитый этой ночью. — Тут он умолк, словно в ожидании ответа, но Феликс упорно молчал, и тогда разбойник опять заговорил: — Не считите меня просто вором и душегубцем. Я несчастный человек, вести такой образ жизни меня вынудили превратности судьбы. Мы решили навсегда покинуть здешние края, но на дорогу нужны деньги. Проще всего было бы напасть на купца или на почтовую карету, но тогда мы, возможно, навсегда повергли бы в горе не одного человека. Его сиятельство граф, ваш супруг, полтора месяца тому назад получил наследство в пятьсот тысяч талеров. Мы просим уделить нам двадцать тысяч гульденов, при таком огромном богатстве требование, несомненно, справедливое и скромное. Поэтому будьте так любезны и безотлагательно отправьте незапечатанное письмо вашему супругу, оповещая его, что мы захватили вас и что ему следует возможно скорее прислать нам выкуп, в противном случае... вы меня понимаете, в противном случае мы будем вынуждены к несколько более суровому обхождению с вами. Выкуп будет принят только при условии строжайшей тайны и если он будет доставлен нам одним-единственным человеком.

Все гости лесной харчевни с напряженным вниманием, а графиня со страхом, следили за этой сценой. Графине все время казалось, что юноша, который пожертвовал собой ради нее, вот-вот себя выдаст. Она твердо решила дать за него большой выкуп, но так же твердо было ее решение не сделать ни единого шага вместе с разбойниками. У Феликса, в кармане его кафтана, она нашла нож. Она судорожно сжимала его в руке, готовая скорее лишиться себя жизни, нежели претерпеть такой позор. Сам Феликс боялся не меньше, чем она. Правда, мысль, что, жертвуя собой ради помощи поставленной в безвыходное положение женщине, он совершает благородный, достойный мужнины, поступок, подкрепляла и утешала его, но он боялся выдать себя походкой или голосом. Страх его еще возрос, когда разбойник потребовал, чтобы он написал письмо.

Как, не выдавая себя, написать письмо, как, в какой форме обратиться к графу?

Но страх его достиг высшей точки, когда атаман разбойников, положив перед ним лист бумаги и перо, попросил его откинуть вуаль и приняться за письмо.

Феликс не знал, сколь к лицу ему наряд, который был на нем, знай он это, он ничуть не боялся бы, что обман будет обнаружен. Ведь когда он откинул вуаль, человек в мундире, пораженный красотой дамы и ее несколькими мужественными для женщины чертами, стал глядеть на нее с еще большей почитательностью. От зорких глаз юноши это не скрылось. Успокоившись, что хотя бы в эту минуту не грозит опасность быть узнанным, он взял перо и стал писать своему мнимому супругу по образцу письма, которое как-то прочитал в одной старинной книге. Он писал:

«Мой господин и супруг!

Меня, несчастную женщину, похитили ночью в пути люди, в добрые намерения которых я не верю. Они не отпустят меня, пока Вы, мой супруг, не внесете за меня выкуп в двадцать тысяч гульденов.

Их условия следующие: Вы ни в коем случае не должны подавать жалобы властям и не искать их помощи; деньги надлежит послать через одного-единственного человека в лесную харчевню в Шпессарте, в противном случае мне грозит более длительный срок пребывания в их руках и более суровое обхождение.

Вас умоляет о поскорейшей помощи

Ваша несчастная
супруга».

Феликс протянул это письмо атаману разбойников, тот прочитал его и одобрил.

— Теперь зависит всецело от вас, кого вы пожелаете оставить при своей особе — камеристку или егеря. Другого я пошлю с письмом к его сиятельству графу, вашему супругу.

— При мне останутся егерь и этот господин, — ответил Феликс.

— Хорошо, — согласился разбойник, он подошел к двери и позвал камеристку. — Так, а теперь разъясните этой женщине, что ей следует делать.

Дрожащая от страха камеристка вошла в комнату. И Феликс побледнел при мысли, как легко он может сейчас себя выдать. Но в такие опасные минуты ему придавало силы непонятно откуда бравшееся мужество, и сейчас оно тоже подсказало ему, что говорить:

— Я поручаю тебе только одно — попросить графа как можно скорей выручить меня из этого ужасного положения, — сказал он.

— Кроме того, — прибавил разбойник, — как можно настоятельнее и определеннее порекомендуйте его сиятельству молчать и не предпринимать никаких шагов против нас, пока его супруга не вернется к нему. Наши лазутчики безотлагательно обо всем сообщат нам, и тогда я ни за что не ручаюсь.

Перепуганная камеристка обещала, что выполнит все в точности. Ей было еще приказано атаманом достать и связать в узел несколько платьев и кое-какое белье для графини, взять с собой много багажа они не могут. Когда это было сделано, атаман, с низким поклоном, пригласил даму следовать за ним. Феликс встал, егерь и студент тоже поднялись и в сопровождении атамана разбойников все трое сошли вниз.

Перед заезжим домом стояло много лошадей; одна предназначалась для егеря, другая, красивая лошадка под дамским седлом, была приготовлена для графини, третью дали студенту. Атаман поднял юного мастера в седло, крепко подтянул подругу, затем сам сел на коня. Он занял место по правую руку от графини

ни, по левую — другой разбойник. И к егерю и к студенту был приставлен такой же конвой. Затем остальные разбойники вскочили в седла, и атаман резким свистом дал сигнал к от правке.

Вскоре шайка исчезла в лесу.

Оставшиеся после их отъезда в комнате наверху понемногу оправились от страха. Возможно, они бы даже повеселели, как это обычно бывает по миновании большого несчастья или внезапной опасности, если бы не думы о трех их товарищах, которых увезли у них на глазах. Они не могли надивиться на Феликса, растроганная графиня проливала слезы умиления при мысли, сколь многим она обязана этому до сего дня незнакомому ей человеку, которому она не сделала ничего хорошего. Утешало всех то, что с Феликсом отважный егерь и храбрый студент, что есть кому его поддержать, когда его одолеет тоска. Им даже приходило в голову, что егерь, человек изобретательный, может, придумает, как устроить побег. Они посоветовались, что делать дальше. Графиня, не связанная честным словом с разбойниками, решила незамедлительно ехать домой, к супругу и приложить все усилия, чтобы отыскать местопребывание увезенных разбойниками и вызволить их; возчик обещал сейчас же, как приедет в Ашафенбург, обратиться в суд с просьбой о преследовании разбойников, а мастер хотел продолжать свое странствие.

Остаток ночи их никто больше не беспокоил. В харчевне, где только что разыгрались столь страшные события, царил мертвая тишина. А утром слуги графини, спустившиеся к хозяйке, чтобы приготовить все к отъезду, тут же вернулись назад и сказали, что хозяйка и челядь лежат на полу связанными и молят о помощи.

Это известие всех удивило.

— Как? — воскликнул мастер. — Выходит, что эти люди ни в чем не повинны? Выходит, мы возвели на них напраслину, они не заодно с разбойниками?

— А я говорю, пусть меня вместо них вздернут на виселицу, если мы были неправы, — возразил возчик. — Все это один обман, чтобы их нельзя было уличить. Вы что, позабыли, как подозрительно вела себя хозяйка? Позабыли, как я хотел сойти вниз, а меня не выпустила вышколенная собака и тут же явилась хозяйка с работником и сердито спросила, чего мне надо? Но должен сказать, это еще оказалось для нас счастьем, особенно для ее сиятельства графини! Не будь харчевня так подозрительна, не внуши нам хозяйка такого недоверия, мы бы разошлись по комнатам и легли спать. Разбойники напали бы на нас спящих, во всяком случае, сторожили бы у наших дверей, и славному нашему юноше невозможно было бы превратиться в графиню!

Все согласилось с мнением возчика и решили донести властям на хозяйку и работников. Но, чтобы те ничего не заподозрили, договорились не подавать виду, будто они о чем-то догадываются. Возчик с лакеями сошли в трактир, развязали укры-

вателей разбойников и постарались выказать им возможно больше сочувствия и сожаления. Чтобы гости остались довольны, хозяйка взяла с них очень дешево и пригласила почаще заезжать к ней.

Возчик оплатил свой счет, распрощался с товарищами по несчастью и уехал. Затем пустились в путь оба ремесленника. Как ни легок был узелок золотых дел мастера, все же для изнеженной хрупкой дамы он был обременителен. Но еще тяжелей стало у нее на душе, когда преступная хозяйка заезжего двора протянула ей на прощание руку.

— Ах, до чего же вы еще молоды,— воскликнула она, взглянув на хрупкого юношу,— так молоды и уже странствуете по свету! Видно, вы зелье порядочное, и мастер прогнал вас. Ну, да какое мне дело, на обратном пути милости просим ко мне в харчевню!

Графиня дрожала от страха и не решалась ответить, боясь, как бы ее не выдал нежный голос. Мастер это заметил, взял под руку своего товарища, попрощался с хозяйкой и, весело напевая, зашагал к лесу.

— Только теперь миновала опасность! — с облегчением вздохнула графиня, когда они отошли шагов на сто.— Я все время боялась, что трактирщица меня узнает и велит своим работникам задержать. О, как мне хочется всех вас отблагодарить! Приходите и вы тоже ко мне в замок, там и дожидайтесь своего поутчика.

Мастер согласился, и, пока они разговаривали, их догнал графинин дормез; дверцу быстро открыли, графиня впорхнула в карету, еще раз кивнула ремесленнику, и карета укатила.

А разбойники вместе с пленниками тем временем достигли своего притона. Они быстрой рысью проехали по непроторенным лесным тропам, с пленниками они не разговаривали, да и между собой только изредка, на каких-то поворотах тропы, перешептывались. Наконец они остановились у глубокого оврага. Разбойники спешились, атаман поднял из седла золотых дел мастера, извинился за быструю и трудную езду и спросил, не очень ли она утомила ее сиятельство.

Феликс ответил как мог жеманнее, что ему хотелось бы отдохнуть, и атаман предложил ему руку и помог сойти в овраг. Спускаться надо было по обрывистому склону, тропа была узкая и крутая, и атаману не раз приходилось поддерживать свою даму, чтобы не дать ей упасть. Наконец они дошли до низу. При чуть брезжущем свете наступающего утра Феликс увидел узкое и недлишное ущелье, не больше сотни шагов в окружности, зажатое между высоко вздымающимися отвесными скалами. Шесть — восемь жалких хижин, сколоченных из досок и неотесанных бревен, жалась одна к другой на дне обрыва. Из этих нор с любопытством выглянули несколько женщин; свора больших собак и их многочисленное потомство с лаем и визгом окружила пришедших. Атаман проводил мнимую графиню в лучшую из хижин и сказал, что

хижина предоставлена исключительно в ее распоряжение; по просьбе Феликса он разрешил, чтобы к графине были допущены егерь и студент.

Хижина была устлана оленьими шкурами и циновками, которые одновременно служили и для покрытия пола, и для сидения. Несколько кружек и мисок, выточенных из дерева, старое охотничье ружье и в самом дальнем углу сколоченный из досок и прикрытый шерстяными одеялами одр, который и кроватью-то не назовешь — вот все убранство этого графского дворца. Только теперь, оставшись одни в этой жалкой хижине, трое пленников могли поразмыслить о том необычном положении, в которое попали. Феликс, хотя он ни на минуту не раскаивался в своем благородном поступке, все же со страхом думал об ожидающей его участи, буде обман обнаружится, и хотел уже облегчить душу громкими жалобами. Но егерь шепнул ему на ухо:

— Бога ради, потише, милый, неужели ты думаешь, что нас не подслушивают?

— Каждое твое слово, каждая фраза могут вызвать у них подозрение, — прибавил студент.

Бедному Феликсу оставалось одно — молча поплакать.

— Верьте мне, сударь, — сказал он, — я плачу не потому, что боюсь разбойников, не потому, что меня страшит жизнь в этой жалкой лачуге; нет, меня гнетет совсем другая печаль. Ведь графиня так легко может позабыть то, что я только мимоходом успел ей сказать, и меня, чего доброго, сочтут вором, тогда я до конца дней своих буду несчастен.

— Но что тебя так пугает? — спросил егерь, которого удивило поведение юноши, до того державшегося так храбро и стойко.

— Выслушайте меня, и тогда вы скажете, что я прав, — ответил Феликс. — Мой отец был искусным ювелиром, а мать до замужества служила в камеристках у одной знатной особы, и когда она выходила за моего отца, графиня, у которой она была в услужении, дала ей отличное приданое. Графиня всегда очень благоволила к моим родителям и, когда я появился на свет, стала моей крестной и щедро одарила меня. А когда вскоре мои родители один за другим умерли от повальной болезни и я остался как перст один, меня уже собирались отправить в сиротский приют; моя крестная мать, узнав о постигшем нас горе, приняла во мне участие и поместила в закрытую школу, а когда я подрос, она написала мне и спросила, не хочу ли я изучить отцовское ремесло. Я с радостью согласился, вот она и отправила меня в Вюрцбург на выучку к золотых дел мастеру. Учение пошло мне впрок, и скоро я получил от мастера аттестат и уже мог снаряжаться в странствие. Я написал моей крестной, она тут же ответила, что даст мне деньги на странствие. Вместе с письмом она прислала драгоценные камни и пожелала, чтобы я сделал ей ожерелье, вставив камни в красивую оправу, и в доказательство своего искусства самолично доставил ей ожерелье и получил из ее рук до-

рожные деньги. Свою крестную я никогда не видел, вы понимаете, как я был счастлив. Я работал не покладая рук над оправой, и ожерелье вышло такое изящное и красивое, что сам мастер ему дивился. Я аккуратно спрятал его на самое дно ранца, попрощался с мастером и пошел той дорогой, что вела в замок моей крестной матери. И вдруг,— продолжал он, заливаясь слезами,— пришли эти гадкие люди и разбили мои надежды. Ведь если ее сиятельство графиня потеряет ожерелье или позабудет то, что я ей сказал, и выбросит мой плохонький ранец, как я тогда предстану пред глубоко мной чтимой крестной? Чем докажу свое уменье? Как возьму камни? И дорожные деньги тогда тоже потеряны, а я окажусь неблагодарным, раз я так легкомысленно отдал доверенное мне добро. Да и кто поверит моему рассказу о таком необычном происшествии?

— Ну, об этом не беспокойтесь! — возразил егерь. — Не думаю, чтобы графиня потеряла ожерелье, а ежели и потеряет, то, конечно, возместит его стоимость своему спасителю и подтвердит, что так действительно было. Теперь мы на некоторое время покинем вас, ведь нам действительно надо поспать, а после волнений этой ночи и вы тоже пуждаетесь в отдыхе. А потом постараемся хоть ненадолго позабыть за разговорами о приключившейся с нами беде или, что еще того лучше, подумаем о бегстве.

Они ушли. Феликс остался один и попробовал последовать совету егеря.

Когда, несколько часов спустя, егерь со студентом вернулись, их юный друг, казалось, приободрился и повеселел. Атаман, по словам егеря, поручил ему всячески заботиться о даме и обещал прислать одну из тех женщин, что они видели у хижины, она принесет ее сиятельству кофе и спросит, чем может ей служить. Боясь, что женщина будет для них помехой, они предпочли отказаться от этого любезного предложения, и когда старая безобразная цыганка подала завтрак и, ухмыляясь, спросила, не нужны ли еще какие услуги, Феликс махнул рукой, чтоб она уходила, но она все еще мешкала, и егерь выпроводил ее за дверь. Затем студент рассказал, что еще они видели в разбойничьем овраге.

— Лачуга, которую отвели вам, очаровательная графиня, — сказал он, — первоначально предназначалась для атамана. Она не так велика, но зато лучше остальных; не считая вашей, здесь их еще шесть. В них живут женщины и дети. Разбойников дома редко бывает больше шести человек зараз. Один стоит на страже недалеко отсюда, другой у тропы, что ведет наверх, а третий караулит у спуска в ущелье. Каждые два часа их сменяют трое других. При каждом из них еще две большие собаки, такие чуткие, что слыша и шаг ступить из лачуги, они тут же поднимают лай. У меня нет надежды, что нам удастся сбежать.

— Не нагоняйте на меня тоску, поспав я приободрился, — сказал Феликс. — Не теряйте надежды, а если вы боитесь, что нас подслушивают, то поговорим лучше о чем-нибудь другом и не будем огорчаться заранее. Господин студент, вы не дорассказали той

истории, что начали на заезжем дворе, так доскажите ее до конца тут, благо времени у нас хватит.

— Что-то я не припомню, о чем шла речь,— заметил студент.

— Вы рассказывали предание о холодном сердце и остановились на том, что хозяин и другой игрок вытолкали Петера-угольщика за дверь.

— Так, теперь я вспомнил,— сказал студент.— Ну, если вам охота услышать, что было дальше, я готов досказать.

ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ

Часть вторая

Когда в понедельник утром Петер пришел к себе на завод, он застал там не только рабочих, но и других людей, чье появление никого бы не обрадовало. Это были окружной начальник и три судебных пристава. Начальник пожелал Петеру доброго утра, осведомился, как он почивал, а затем развернул длинный список, где были перечислены заимодавцы Петера.

— Можете вы заплатить или нет? — строго спросил он.— И, будьте добры, поживей, мне с вами кашителиться некогда,— до тюрьмы добрых три часа ходу.

Тут Петер совсем пал духом: он признался, что денег у него нет, и позволил начальнику и его людям описать дом и усадьбу, завод и конюшню, повозку и лошадей, а пока окружной начальник и его помощники расхаживали вокруг, осматривая и оценивая его имущество, он подумал: «До Елового Бугра недалеко, если маленький лесовик не помог мне, попытаю-ка я счастья у большого». И он помчался к Еловому Бугру, да с такой быстротой, словно судебные приставы гнались за ним по пятам.

Когда он пробежал мимо того места, где в первый раз говорил со Стеклянным Человечком, ему показалось, будто его удерживает чья-то невидимая рука, но он вырвался и понесся дальше, до самой границы, которую хорошенько заприметил, и не успел он, запыхавшись, позвать: «Голландец Михель! Господин Голландец Михель!»,— как перед ним вырос великап-плотовщик со своим багром.

— Явился,— сказал он, смеясь.— А не то содрали бы шкуру и продали кредиторам! Ну, да не тревожься, все твои беды, как я уже говорил, пошли от Стеклянного Человечка, этого гордеца и ханжи. Уж если дарить, то щедрой рукой, а не как этот сквалыга. Пойдем,— сказал он и двинулся в глубь леса.— Пойдем ко мне домой, там и поглядим, столкнемся мы с тобой или нет.

«Как это «столкнемся»? — в тревоге думал Петер.— Что же он может с меня потребовать, разве у меня есть для него товар? Слушать он себе заставит или что другое?»

Они шли вверх по крутой тропе и вскоре очутились возле мрачного глубокого ущелья с отвесными стенами. Голландец Михель легко сбежал вниз по скале, словно то была гладкая мраморная лестница; но тут Петер едва не лишился чувств: он увидел, как Михель, ступив на дно ущелья, сделался ростом с колокольню; великан протянул ему руку, длиной с весло, раскрыл ладонь, шириною с трактирный стол, и воскликнул:

— Садись ко мне на ладонь да ухватись покрепче за пальцы — не бойся — не упадешь!

Дрожа от страха, Петер сделал, как ему было велено, — сел к Михелю на ладонь и ухватился за большой палец.

Они спускались все глубже и глубже, но, к великому удивлению Петера, темпес не становилось, — напротив того, дневной свет в ущелье стал словно бы еще ярче, так что было больно глазам. Чем ниже они спускались, тем меньше делался Михель, и теперь он стоял в прежнем своем облике перед домом — самым что ни на есть обыкновенным домом зажиточного шварцвальдского крестьянина. Горница, куда Михель ввел Петера, тоже во всем походила на горницы у других хозяев, разве что казалась какой-то неуютной. Деревянные часы с кукушкой, громадная кафельная печь, широкие лавки по стенам и утварь на полках были здесь такие же, как повсюду. Михель указал гостю место за большим столом, а сам вышел и вскоре вернулся с кувшином вина и стаканами. Он налил вина себе и Петеру, и они разговорились; Голландец Михель стал расписывать Петеру радости жизни, чуждальные страны, города и реки, так что тому под конец страстно захотелось все это повидать, в чем он и признался честно Голландцу.

— Будь ты даже смел духом и крепок телом, чтобы затеять большие дела, но ведь стоит твоему глупому сердцу забиться чаще обыкновенного, и ты дрогнешь; ну, а оскорбления чести, несчастья — зачем смышленому парню беспокоиться из-за таких пустяков? Разве у тебя голова болела от обиды, когда тебя на днях обозвали мошенником и негодяем? Разве у тебя были рези в животе, когда явился окружной пачальник, чтобы выкинуть тебя из дому? Ну-ка скажи, что у тебя болело?

— Сердце, — отвечал Петер, прижав руку к взволнованной груди: в этот миг ему почудилось, будто сердце его как-то пугливо заметалось.

— Не обижайся, но ведь ты не одну сотню гульденов швырнул паршивым нищим и прочему сброду, а что толку? Они призывали на тебя благословение божье, желали здоровья, — ну и что? Стал ты от этого здоровее? Половины этих денег хватило бы на то, чтобы держать при себе врача. Благословение божье — да уж нечего сказать, благословение, когда у тебя описывают имущество, а самого выгоняют на улицу! А что заставляло тебя лезть в карман, как только нищий протягивал к тебе свою драную шапку? Сердце, опять-таки сердце, — не глаза и не язык, не руки и не

поги, а только сердце,— ты, как верно говорится, припимал все слишком близко к сердцу.

— Но разве можно от этого отвыкнуть? Вот и сейчас — как я ни стараюсь заглушить в себе сердце, оно у меня колотится и болит.

— Да уж где тебе, бедолаге, с ним сладить! — со смехом вскричал Голландец Михель. — А ты отдай мне эту бесполезную вещичку, увидишь, как тебе сразу станет легко.

— Отдать вам — мое сердце? — в ужасе воскликнул Петер. — Но ведь я тогда сразу умру! Ни за что!

— Да, конечно, если бы кто-нибудь из ваших господ хирургов вздумал вырезать у тебя сердце, ты бы умер на месте, но я это делаю совсем по-другому — зайди сюда, убедись сам.

С этими словами он встал, открыл дверь в соседнюю комнату и пригласил Петера войти. Сердце юноши судорожно сжалось, едва он переступил порог, но он не обратил на это внимания, столь необычайно и поразительно было то, что открылось его глазам. На деревянных полках рядами стояли склянки, наполненные прозрачной жидкостью, и в каждой заключено было чье-нибудь сердце; ко всем склянкам были приклеены ярлыки с именами, и Петер их с любопытством прочел. Он нашел там сердце окружного начальника из Ф., сердце Толстяка Эзехиля, сердце Короля Танцев, сердце старшего лесничего; были там и шесть сердец хлебных скупщиков; восемь сердец офицеров-вербовщиков, три сердца ростовщиков, — короче говоря, это было собрание наиболее почтенных сердец из всех городов и селений на двадцать часов пути окрест.

— Смотри! Все эти люди покончили с житейскими заботами и треволениями, ни одно из этих сердец больше не бьется озабоченно и тревожно, а их бывшие обладатели чувствуют себя превосходно, выставив за дверь беспокойного жильца.

— Но что же у них теперь вместо сердца? — спросил Петер, у которого от всего увиденного голова пошла кругом.

— А вот это, — ответил Голландец Михель; он полез в ящик и протянул Петеру *каменное сердце*.

— Вот оно что! — изумился тот, не в силах противиться дрожи, пронизавшей все его тело. — Сердце из мрамора? Но послушай, господин Михель, ведь от такого сердца в груди должно быть ой-ой как холодно?

— Разумеется, но этот холод приятный. А на что человеку горячее сердце? Зимой оно тебя не согреет — хорошая вишневая паливка горячит вернее, чем самое горячее сердце, а летом, когда все испытывают от жары, ты и не поверишь, какую прохладу дарует такое сердце. И, как я уже говорил, ни тревога, ни страх, ни дурацкое сострадание, ни какие-либо иные горести не достучатся до этого сердца.

— И это все, что вы можете мне дать? — с досадой спросил Петер. — Я надеялся получить деньги, а вы предлагаете мне камень.

— Ну, я думаю, ста тысяч гульденов на первых порах тебе хватит. Если ты дашь им разумное употребление, то вскорости станешь миллионером.

— Сто тысяч? — в восторге вскричал бедный угольщик. — Да перестань же ты, сердце, так бешено колотиться в моей груди! Скоро мы с тобой простимся. Ладно, Михель! Давайте мне камень и деньги и, так и быть, вынимайте из клетки этого колотилу!

— Я знал, что ты парень с головой, — отвечал Голландец, ласково улыбаясь, — пойдем выьем еще по стаканчику, а потом я отсчитаю тебе деньги.

Они опять уселись за стол в горнице и пили, пили до тех пор, пока Петер не погрузился в глубокий сон.

Петер-угольщик проснулся от веселой трели почтового рожка и — гляди-ка! — он сидел в роскошной карете и катил по широкой дороге, а когда высунулся из окна, то увидел позади, в голубой дымке, очертания Шварцвальда. Поначалу ему не верилось, что это он, а не кто другой сидит в карете. Ибо и платье на нем тоже было совсем не то, что вчера; однако он так отчетливо помнил все происшедшее с ним, что в конце концов перестал ломать голову и воскликнул: «И думать нечего — это я, Петер-угольщик, и никто другой!»

Он сам себе удивлялся, что нисколько не грустит, впервые покидая родимый тихий край, леса, где он так долго жил, и что, даже вспоминая о матери, которая осталась теперь сирая, без куса хлеба, не может выжать из глаз ни единой слезинки, ни единого вздоха из груди; ибо все теперь стало ему в равной степени безразлично. «Ах да, — вспомнил он, — ведь слезы и вздохи, тоска по родине и грусть исходят от сердца, а у меня теперь — спасибо Голландцу Михелю — сердце холодное, из камня».

Он приложил руку к груди, но там все было тихо, ничто не шевелилось. «Я буду рад, если он и насчет ста тысяч гульденов сдержал свое слово так же, как насчет сердца», — подумал он и принялся обшаривать карету. Он нашел много всякого платья, о каком только мог мечтать, но денег нигде не было. Наконец он наткнулся на какой-то саквояж, и в нем оказалось много тысяч талеров золотом и чеками на торговые дома во всех больших городах. «Вот и сбылись мои желанья», — подумал Петер, уселся удобнее в угол кареты и помчал в далекие края.

Два года колесил он по свету, глядел из окна кареты направо и налево, скользил взглядом по домам, мимо которых проезжал, а когда делал остановку, замечал лишь вывеску своей гостиницы, потом бегал по городу, где ему показывали разные достопримечательности. Но ничто его не радовало — ни картины, ни здания, ни музыка, ни танцы; у него было камешное сердце, безучастное ко всему, а его глаза и уши разучились воспринимать прекрасное. Только и осталось у него радости, что есть и пить, да спать; так он и жил, без цели рыская по свету, для развлечения ел, от скуки спал. Время от времени он, правда, вспоминал, что был, пожалуй,

веселей и счастливей, когда жил бедно и приужден был работать, чтобы кормиться. Тогда ему доставляли удовольствие вид красивой долины, музыка и танцы, и он мог часами радоваться в ожидании пемудрящей еды, которую мать приносила ему к угольной яме. И когда он вот так задумывался о прошлом, ему казалось невероятным, что теперь он не способен даже смеяться, а ведь раньше он хохотал над самой пустячной шуткой. Теперь же, когда другие смеялись, он лишь из вежливости кривил рот, но сердце его нисколько не веселилось. Он чувствовал, как спокойно у него на душе, но доволен все-таки не был. Но не тоска по родине и не грусть, а скука, опустошенность, безрадостная жизнь в конце концов погнали его домой.

Когда он выехал из Страсбурга и увидел родной лес, темневший вдаль, когда ему снова стали попадаться навстречу рослые шварцвальдцы с приветливыми открытыми лицами, когда до его слуха донеслась громкая, гортанная, но благозвучная родная речь, то он невольно схватился за сердце; ибо кровь в его жилах побежала быстрее и он готов был и радоваться и плакать в одно и то же время,— но вот глупец! — сердце-то у него было из камня. А камни мертвы, они не смеются и не плачут.

Первым делом он отправился к Голландцу Михелю, который принял его с прежним радушием.

— Михель,— сказал ему Петер,— я поездил по свету, многое повидал, но все это вздор и только нагнало на меня скуку. Правда, ваша каменная штучка, которую я ношу в груди, от многого меня оберегает. Я никогда не сержусь и не грущу, но зато и живу как бы наполовину. Не могли бы вы чуть-чуть оживить это каменное сердце? А еще лучше — верните мне мое прежнее! За свои двадцать пять лет я с ним свыкся, и ежели оно когда и выкидывало глупые штуки, все же то было честное и веселое сердце.

Лесной дух горько и зло рассмеялся.

— Когда в свой час ты умрешь, Петер Мунк,— ответил он,— оно непременно к тебе вернется; тогда ты вновь обрешь свое мягкое, отзывчивое сердце и почувствуешь, что тебя ожидает— радость или мука! Но здесь, на земле, оно больше твоим не станет. Да, Петер, поездил-то ты вволю, но жизнь, которую ты вел, не могла пойти тебе на пользу. Осядь где-нибудь в здешних лесах, построй себе дом, женись, пусти в оборот свои деньги,— тебе не хватает настоящего дела, от безделья ведь ты и скучал, а все сваливаешь на безвишное сердце.

Петер понял, что Михель прав, говоря о безделье, и вознамерился умножить свое богатство. Михель подарил ему еще сто тысяч гульденов и расстался с ним, как с добрым другом.

Вскоре в Шварцвальде разнеслась молва, что Петер-угольщик, или Петер-игрок, возвратился из дальних стран, и теперь-де он много богаче прежнего. И на сей раз все шло так, как издавна ведется: стоило Петеру остаться без гроша, как его вытолкали из «Солица», а теперь, едва он в первый же воскресный вечер явился туда снова, все стали паперебой жать ему руку, расхваливать его

лошадь, расспрашивать о путешествиях, и когда он сел играть на звонкие талеры с Толстяком Эзехилем, на него взирали с еще большим почтением, чем раньше.

Однако теперь он стал заниматься не стекольным делом, а лесоторговлей, правда, только для виду. Главным его занятием сделалась скупка и перепродажа хлеба и ростовщичество. Мало-помалу пол-Шварцвальда оказалось у него в долгу, но он ссужал деньги только из десяти процентов или вынуждал бедняков втридорога покупать у него зерно, ежели они не могли расплатиться сразу. С окружным пачальником он был теперь в тесной дружбе, и ежели кто не мог точно в срок уплатить долг господину Петеру Мунку, начальник со своими подручными скакал к должнику, оценивал дом и хозяйство, мигом все продавал, а отца, мать и детей выгонял на все четыре стороны. Поначалу Петеру-богачу это доставляло некоторое неудовольствие, потому что несчастные бедняки, лишившись крова, осаждали его дом: мужчины молили о снисхождении, женщины пытались смягчить каменное сердце, а дети плакали, выпрашивая кусочек хлеба. Но когда он завел себе свирепых овчарок, «кошачьи концерты», как он их называл, сразу прекратились. Он науськивал псов на нищих, и те с криками разбегались. Больше всех досаждала ему «старуха». А это была не кто иная, как старая Мункиха, мать Петера. Она впала в нищету, когда ее дом и двор были проданы с молотка, а ее сынок, вернувшись домой богачом, о ней даже не вспомнил. Вот она время от времени и заживала к нему на двор, старая, немощная, с клюшкой. Войти в дом она не смела, ибо однажды он ее выгнал, но тяжело страдала оттого, что вынуждена жить подаями чужих людей, в то время как ее родной сын мог бы уготовить ей безбедную старость. Однако холодное сердце оставалось безучастным при виде знакомого увядшего лица, молящих глаз, протянутой иссохшей руки, согбенной фигуры. По субботам, когда она стучалась к нему в дверь, он ворча доставал мелкую монету, заворачивал в бумажку и высылал ей со слугой. Он слышал, как она дрожащим голосом благодарила его и желала ему благоденствия, как, кряхтя, брела прочь, но в эту минуту его занимало только одно: что он истратил попусту еще шесть батценов.

Наконец Петеру пришла мысль жениться. Он знал, что любой отец в Шварцвальде охотно отдаст за него свою дочь, и был разборчив: ему хотелось, чтобы и в этом случае люди подивились его уму и счастью. Вот почему он разъезжал по всему краю, заглядывая во все уголки, но ни одна из его прекрасных землячек не была для него достаточно хороша. Наконец, после того как Петер обошел все танцевальные залы в тщетных поисках наипервейшей красавицы, он услышал однажды, что самая красивая и добродетельная девушка во всем Шварцвальде — дочь бедного дровосека. Живет-де она тихо и уединенно, рачительно и толково ведет хозяйство в отцовском доме, а на танцы никогда не ходит, даже в троицын день или в храмовый праздник. Как только Петер прослышал об этом шварцвальдском чуде, он решил просить руки

девушки и поехал к ее отцу, чей дом ему указали. Отец красавицы Лизбет немало удивился, что к нему пожаловал такой важный барин, еще больше удивился он, услышав, что это не кто иной, как Петер-богач, желающий ныне стать его зятем. Долго раздумывать он не стал, ведь теперь, полагал он, бедности и заботам — конец, и, не спрашиваясь у Лизбет, дал свое согласие, а добрая девушка была столь послушна, что, не прекословя, стала госпожой Мунк.

Но жизнь у бедняжки пошла совсем не так, как она мечтала и надеялась. Ей казалось, что она хорошо управляет с хозяйством, но господину Петеру ничем нельзя было угодить. Она жалела бедных, и поскольку супруг ее был богат, не видела греха в том, чтобы подать пфенниг бедной нищенке или поднести рюмочку старому человеку. Однако, когда господин Петер это заметил, он устремил на нее гневный взгляд и грозным голосом сказал:

— Зачем ты раздаешь мое добро бродягам и оборванцам? Разве ты принесла с собой приданое, которое можешь раздаривать? Нищенским посохом твоего отца и печки не истопишь, а ты бросаешься деньгами, словно прищесса. Смотри, поймаю тебя еще раз, хорошенько попотчую плеткой!

Красавица Лизбет плакала тайком у себя в комнате, страдая от жестокосердия мужа, и частенько подумывала она о том, что лучше бы ей снова очутиться дома, в убогом жилище отца, нежели жить в хоромах у богатого, но жестокосердного Петера. Ах, знай она, что сердце у него из мрамора и он не может любить никого — ни ее, ни другого человека на земле, — она бы, верно, не удивлялась! Но она этого не знала. И вот, бывало, сидит она у себя на крыльчке, а мимо идет нищий, снимает шляпу и заводит свою песню, — так она зажмурилась глазами, чтобы не разжалобиться его горестным видом, и сжимала руку в кулак, чтобы печально не сунуть ее в карман и не вытащить оттуда монетку. Оттого и пошла о ней худая слава по всему Шварцвальду: красавица Лизбет-де еще жаднее, чем ее муж.

В один прекрасный день сидела Лизбет во дворе за прялкой и напевала песенку; у нее было отрадно на душе, потому что денек выдался погожий и Петер уехал на охоту. И тут она видит, что бредет по дороге дряхлый старичок, сгибаясь под тяжестью большого мешка — ей даже издали было слышно, как он кричит. С участием смотрит на него Лизбет и думает про себя, что негоже на такого маленького старого человека взваливать такую поклажу. Тем временем старичок, кричтя, подходит все ближе и, поравнявшись с Лизбет, едва не валится с ног от изнеможения.

— Ах, сжальтесь, хозяйюшка, дайте напиться, — проговорил старичок, — мочи моей больше нет!

— В ваши годы нельзя уж таскать такие тяжести, — сказала Лизбет.

— Да вот пужда заставляет спину гнуть, кормиться-то падо, — ответил старичок. — Ах, да разве богатая женщина вроде вас

может знать, как горька бедность и как освежает в такую жару глоток воды!

Услылав это, Лизбет побежала на кухню, схватила с полки кувшин и налила в него воды, но когда она попесла его старичку и, не дойдя до него нескольких шагов, увидела, как он сидит на мешке, изможденный, несчастный, жалость пронзила ее, она смекнула, что мужа нет дома, а потому отставила кувшин, взяла бокал, наполнила его вином, положила сверху изрядный кусок ржаного хлеба и подала старшку со словами:

— Глоток вина придаст вам больше сил, чем вода,— вы ведь уже такой старенький. Только пейте, не торопясь, и поешьте хлеба.

Человек в удивлении воззрился на Лизбет, старческие глаза наполнились слезами; он выпил вина и сказал:

— Я уже стар, но мало встречал на своем веку людей, что были бы так добры и так щедро и от души творили милостыню, как вы, госпожа Лизбет. Но за это вам будет даровано благоденствие — такое сердце не останется без награды.

— Не останется, и награду она получит на месте,— раздался вдруг страшный голос; когда они обернулись, то увидели у себя за спиной Петра с пылавшим от гнева лицом.— Так ты мое лучшее вино расточаешь нищим, а из моего бокала даешь пить бродягам? Что ж, вот тебе награда!

Лизбет упала к его ногам и стала просить прощения, но каменное сердце не знало жалости,— Петер перекинул в руке хлыст и рукоятку черного дерева с такой силой хватил красавицу жену по голове, что она бездыханная упала на руки старику. Когда Петер это увидел, он словно бы сразу раскаялся в содеянном и наклонился посмотреть, жива ли еще Лизбет, но тут человек заговорил хорошо знакомым Петеру голосом:

— Не трудись, Петер-угольщик, это был прекраснейший, нежнейший цветок Шварцвальда, но ты растоптал его, и уж больше ему не зацвести.

Тут вся кровь отхлынула у Петра от лица.

— Ах, это вы, господин Хранитель Клада? — сказал он.— Ну, сделанного не воротить, значит, так было ей на роду написано. Надеюсь только, вы не допесете на меня в суд, как на убийцу?

— Несчастный! — отвечал ему Стеклянный Человек.— Какая польза будет мне от того, что я отправлю на виселицу твою смертную оболочку! Не земного суда должно тебе бояться, а иного и более строгого, ибо ты продал душу злой силе!

— Если я и продал свое сердце,— закричал Петер,— то кто же виноват в этом, как не ты с твоими обманчивыми сокровищами! Это ты, злобный дух, привел меня к погибели, ты вынудил искать помощи у того, другого,— ты и в ответе за все!

Но не успел он произнести эти слова, как Стеклянный Человек начал расти и раздуваться — глаза у него стали будто суповые миски, а рот — будто жерло печи, откуда вырывалось пламя.

Петер бросился на колени и, хоть и было у него каменное сердце, задрожал, как былинка. Ястребиными когтями впился лесовик ему в затылок, поднял и завертел в воздухе, как кружит вихрь сухой лист, и швырнул оземь так, что у него затрепали кости.

— Червяк! — крикнул он громовым голосом. — Я мог бы раздавить тебя, если бы захотел, ибо ты оскорбил Владыку леса. Но ради покойницы, которая накормила и напоила меня, я даю тебе неделю сроку. Ежели ты не обратишься к добру, я приду и сотру тебя в порошок, и ты умрешь без покаяния!

Было уже поздний вечер, когда несколько человек, проходя мимо, увидели Петера-богача, распростертого на земле без памяти. Они стали его вертеть и переворачивать, пытались пробудить к жизни, но долгое время все их старания были тщетны. Наконец один из них пошел в дом, принес воды и брызнул ему в лицо. Тут Петер глубоко вздохнул, застонал и раскрыл глаза; он долго озираясь, а потом спросил, где его жена, Лизбет, но никто ее не видел. Он поблагодарил людей за помощь, побрел к себе в дом и стал всюду искать ее, но Лизбет нигде не было — ни в погребе, ни на чердаке: то, что он считал страшным сном, оказалось горестной явью. Теперь, когда он остался один, его стали посещать странные мысли: бояться он ничего не боялся, ибо сердце у него было холодное, но стоило ему подумать о смерти жены, как он начинал размышлять и о собственной кончине, — о том, сколь обремененный покинет он этот мир — обремененный слезами бедняков, тысячекратными их проклятиями, которые не могли смягчить его сердца; плачем несчастных, которых он травил собаками; обремененный безмолвным отчаянием своей матери, кровью красивой и доброй Лизбет; что ответит он ее старику отцу, когда тот придет к нему и спросит: «Где моя дочь, твоя жена?» А как будет он держать ответ перед другим, перед тем, кому принадлежат все леса, все моря, все горы и жизни людские?

Это мучило его и ночью во сне, поминутно просыпался он от нежного голоса, который зывал к нему: «Петер, добудь себе живое сердце!» А проснувшись, спешил снова закрыть глаза, ибо узпал голос, предостерегавший его во сне — то был голос Лизбет. На другой день он пошел в трактир, чтобы развеять мрачные мысли, и застал там Толстяка Эзехиля. Петер подсел к нему, они заговорили о том о сем: о хорошей погоде, о войне, о налогах и, наконец, о смерти, о том, как где-то кто-то внезапно умер. Тут Петер спросил Толстяка, что он вообще думает о смерти и что, по его мнению, за ней последует. Эзехиль ответил ему, что тело похоронят, а душа либо вознесется на небо, либо низрзнется в ад.

— Значит, сердце тоже похоронят? — с тревогой спросил Петер.

— Конечно, его тоже похоронят.

— Ну, а если у человека больше нет сердца? — продолжал Петер.

Услышав это, Эзехиль испуганно уставился на него.

— Что ты хочешь этим сказать? Ты что, насмехаешься надо мной? По-твоему, у меня нет сердца?

— О, сердце у тебя есть, и презрядное, твердое, как камень,— отвечал Петер.

Эзехиль вытаращил на него глаза, оглянулся, не слышит ли их кто, и сказал:

— Откуда ты знаешь? Может быть, и твое сердце больше уже не бьется?

— Нет, не бьется, во всяком случае, не у меня в груди,— ответил Петер Мунк.— Но скажи мне,— теперь ты знаешь, о чем я говорю,— что станется с нашими сердцами?

— Да тебе-то что за печаль, приятель? — смеясь, спросил Эзехиль.— На этом свете ты живешь припеваючи, ну и будет с тебя. Тем-то и хороши наши холодные сердца, что от таких мыслей нам ни чуточки не страшно.

— Что верно, то верно, но мысли-то в голову лезут. И ежели я теперь не знаю страха, то хорошо помню, как ужасно боялся адских мучений, когда был еще маленьким наивным мальчиком.

— Ну, хорошего нам ждать не приходится,— заметил Эзехиль.— Как-то раз я спросил об этом у одного учителя, он сказал, что после нашей смерти сердца будут взвешены — велика ли тяжесть грехов. Легкие сердца взлетят вверх, тяжелые падут вниз; я думаю, наши камни потянут немало.

— Да уж конечно,— ответил Петер.— Но мне и самому часто не по себе оттого, что мое сердце остается таким безучастным и равнодушным, когда я думаю о подобных вещах.

Так они говорили; однако в ту же ночь Петер пять или шесть раз слышал, как знакомый голос шептал ему в ухо: «Петер, добудь себе живое сердце!» Он не испытывал раскаяния в том, что убил жену, но когда говорил челяди, что она уехала, то сам при этом всякий раз думал: «Куда же она могла уехать?» Так прошло шесть дней; по ночам он неизменно слышал тот же голос и все думал о маленьком лесовике и его страшной угрозе; по на седьмое утро он вскочил с постели и воскликнул: «Ну ладно, пойду попытаюсь добыть себе живое сердце, мертвый камень в моей груди делает мою жизнь скучной и бессмысленной». Он поспешно надел воскресное платье, сел на лошадь и поскакал к Еловому Бугру. Достигнув того места на Еловом Бугре, где ели стояли особенно густо, он спешился, привязал лошадь, торопливым шагом направился к толстой ели и, став перед ней, произнес заклинание:

Харнитель Клада в лесу густом!
Средь елей зеленых таится твой дом.
К тебе с надеждой всегда взывал,
Кто в воскресенье свет увидал.

И Стекланный Человечек явился, но не такой приветливый и ласковый, как прежде, а хмурый и печальный; на нем был сюр-

тучок из черного стекла, а со шляпы спускалась длинная траурная вуаль, и Петер сразу понял, по ком он надел траур.

— Что хочешь ты от меня, Петер Мунк? — спросил он глухим голосом.

— У меня осталось еще одно желание, господин Хранитель Клада, — ответил Петер, не поднимая глаз.

— Разве каменные сердца могут желать? — спросил Человечек. — У тебя есть все, чего требовал твой дурной нрав, и я вряд ли смогу исполнить твоё желание.

— Но ведь вы подарили мне три желания; одно-то у меня еще осталось.

— И все же я могу тебе в нем отказать, если оно глупое, — продолжал лесовик, — по говори, послушаем, чего ты желаешь.

— Тогда выпьте у меня из груди мертвый камень и отдайте мне мое живое сердце! — сказал Петер.

— Разве я заключил с тобой эту сделку? — спросил Стекланный Человечек. — И разве я Голландец Михель, который дарит богатство вместе с каменным сердцем? Там, у него, нищи свое сердце.

— Ах, он никогда мне его не вернет! — ответил Петер.

— Жаль мне тебя, хоть ты и негодяй, — произнес Человечек после некоторого раздумья. — Но поскольку твоё желание не глупо, то я не могу вовсе отказать тебе и оставить без всякой помощи. Итак, слушай: силой ты сердце себе не вернешь, а вот хитростью — пожалуй, и, может быть, даже без особого труда, ведь Михель был и остался глупым Михелем, хоть он и почитает себя великим умником. Ступай прямо к нему и сделай все, как я тебе скажу.

Он научил Петера, как себя вести, и дал ему крестик из прозрачнейшего стекла.

— Жизни тебя лишит он не сможет и отпустит на волю, если ты сунешь ему под нос этот крестик и при этом будешь молиться. А как только получишь от него то, чего добивался, приходи опять ко мне, на это же место.

Петер Мунк взял крестик, постарался хорошенько запомнить все наставления Человечка и отправился дальше, во владения Голландца Михеля. Он трижды позвал его по имени, и великан мгновенно явился.

— Ты убил жепу? — с ужасным смехом спросил он. — Я бы поступил так же, она раздаривала твоё имущество нищим. Но тебе придется на время уехать — ее будут искать, не найдут, и поднимется шум; так что тебе, верпо, нужны деньги, за этим ты и пришел?

— Ты угадал, — ответил Петер. — Только на этот раз денег надо побольше — до Америки-то далеко.

Михель пошел вперед и привел его к себе в дом; там он открыл сундук, полный денег, и стал доставать оттуда целые столбики золотых монет. Пока он отсчитывал Петеру деньги, тот сказал:

— А ты, Михель, пустобрех! Ловко ты меня провел — сказал, что у меня в груди камень, а мое сердце, мол, у тебя!

— Разве это не так? — удивился Михель. — Неужели ты слышишь свое сердце? Разве оно у тебя не холодное, как лед? Разве ты чувствуешь страх или горе или способен в чем-то раскаиваться?

— Ты просто остановил мое сердце, но оно по-прежнему у меня в груди, и у Эзехиля тоже, он мне и сказал, что ты нас падул, где уж тебе выпутать у человека сердце из груди, да еще так, чтобы он ничего не почувствовал, для этого надо быть волшебником.

— Уверяю тебя, — раздраженно воскликнул Михель, — у Эзехиля и у всех, кто получил от меня богатство, такие же каменные сердца, как у тебя, а ваши настоящие хранятся у меня здесь, в комнате.

— Ну и горазд ты врать! — засмеялся Петер. — Это ты рассказывай кому-нибудь другому! Думаешь, я не навидался, когда путешествовал, всяких диковинных штук? Сердца, что у тебя в комнате, искусственные, из воска. Ты богат, спору нет, но колдовать ты не умеешь.

Тут великан рассердился и распахнул дверь в комнату.

— Ну-ка, войди и прочитай ярлыки; воп в той склянке — сердце Петера Мунка, гляди, как оно трепещет. Может ли воск шевелиться?

— И все-таки оно из воска, — отвечал Петер. — Настоящее сердце бьется совсем не так, мое-то все еще у меня в груди. Нет, колдовать ты не умеешь.

— Ладно, я тебе сейчас докажу! — сердито крикнул Михель. — Ты сам почувствуешь, что это сердце твое.

Он взял сердце Петера, распахнул на нем куртку, вынул из его груди камень и показал ему. Потом подышал на сердце и осторожно вставил его на место. Петер сразу почувствовал, как оно забилося, и обрадовался — он снова мог радоваться!

— Ну как, убедился? — улыбаясь, спросил его Михель.

— Да, твоя правда, — отвечал Петер, осторожно доставая из кармана крестик. — Никогда бы не поверил, что можно делать такие чудеса!

— Верно? Как видишь, колдовать я умею. Ну, а теперь давай я вставлю тебе твой камень обратно.

— Тихонечко, господин Михель! — крикнул Петер, сделав шаг назад и держа перед собой крестик. — Попалась рыбка на крючок. На сей раз в дураках остался ты! — И он принялся читать молитвы, какие только мог вспомнить.

Тут Михель стал уменьшаться — он делался все ниже и ниже, потом пополз по полу, извиваясь, словно червь, стеною и охая, а сердца вокруг забились и застучали, как часы в мастерской часовщика. Петер испугался, его охватил ужас, и он бросился прочь из комнаты, прочь из дома; не помня себя от страха, вскарабкался он по скале, ибо слышал, как Михель вскочил, стал топтать ногами,

бесповаться и слать ему вслед ужасные проклятья. Выбравшись наверх, Петер поспешил на Еловый Бугор. Тут разразилась страшная гроза; слева и справа от него сверкали молнии, раскалывая деревья, но он целым и невредимым достиг владений Стеклянного Человечка.

Сердце его радостно билось, уже потому только, что оно билось. Но вот Петер с ужасом оглянулся на свою жизнь,— она была подобна грозе, которая за минуту перед тем расщепляла вокруг него прекраснейшие деревья. Петер подумал о Лизбет, своей красивой и доброй жене, которую он убил из жадности, и показался себе настоящим извергом; прибежав к обиталищу Стеклянного Человечка, он горько рыдался.

Хранитель Клада сидел под елью и курил маленькую трубку, по смотрел он куда веселее, чем давеча.

— Что ты плачешь, Петер-угольщик? — спросил он. — Может быть, тебе не удалось получить обратно твое сердце и ты так и остался с каменным?

— Ах, сударь! — вздохнул Петер. — Пока у меня было холодное сердце, я никогда не плакал, глаза у меня были сухими, как земля в июльский зной, но теперь мое собственное сердце рвется на части, лишь подумаю, что я натворил: должников своих я довел до сумы, больных и нищих травил собаками; да вы сами видели, как мой хлыст обрушился на ее прекрасное чело!

— Петер! Ты был великим грешником! — сказал Человечек. — Деньги и праздность развратили тебя, и твое сердце окаменело, перестало чувствовать радость и горе, раскаяние и жалость. Но раскаяние смягчает вину, и, знай я, что ты искренне сожалеешь о своей жизни, я бы мог еще кое-что для тебя сделать.

— Ничего я больше не хочу, — отвечал Петер, горестно повесив голову. — Моя жизнь кончена, мне уж радости не видать; что стану я делать один на всем свете? Матушка никогда не простит мне того, как я над ней издевался, быть может, я, чудовище, свел ее в могилу! А Лизбет, жена моя! Лучше убейте меня, господин Хранитель Клада, тогда уж разом кончится моя злосчастная жизнь!

— Хорошо, — отвечал Человечек, — если такова твоя воля, — топор у меня под рукой.

Он спокойно вынул трубочку изо рта, выбил ее и сунул в карман. Потом неторопливо встал и скрылся в ельнике. А Петер, плача, сел на траву; жизнь для него теперь ничего не значила, и он покорно ждал рокового удара. Немного погодя он услышал у себя за спиной легкие шаги и подумал: «Вот и конец!»

— Оглянись еще разок, Петер Муцк! — воскликнул Человечек.

Петер вытер слезы, оглянулся и увидел свою мать и жену Лизбет, которые ласково глядели на него. Он радостно вскочил на ноги.

— Так ты жива, Лизбет! И вы здесь, матушка,— вы простили меня?

— Они простят тебя,— произнес Стеклянный Человек,— ибо ты искренне раскаялся, и все будет забыто. Возвращайся теперь домой, в отцовскую хижину, и стань угольщиком, как прежде; если ты будешь трудолюбив и честен, то научишься уважать свое ремесло, а твои соседи будут любить и почитать тебя больше, чем если бы ты имел десять бочек золота.

Вот что сказал Стеклянный Человек, и на этом он с ними простился.

Все трое не знали, как им хвалить и благословлять его, и счастливые отправились домой.

Великолепного дома Петера-богача больше не существовало; в него ударила молния, и он сгорел вместе со всем богатством; но до отцовской хижины было недалеко, туда и вел теперь их путь, а о потере имущества они несколько не сокрушались.

Но каково было их удивление, когда они подошли к хижине! Она превратилась в добротный крестьянский дом, убранство его было просто, но удобно и опрятно.

— Это сделал добрый Стеклянный Человек! — воскликнул Петер.

— Какой прекрасный дом! — сказала Лизбет. — Мне здесь гораздо уютнее, чем в большом доме со множеством слуг.

С тех пор Петер Мунк стал трудолюбивым и добросовестным человеком. Он довольствовался тем, что имел, неутомимо занимался своим ремеслом, а со временем без посторонней помощи нажил состояние и списал уважение и любовь во всем крае. Он никогда больше не ссорился с Лизбет, чтил свою мать и подавал бедным, которые стучались к нему в дверь. Когда через несколько лет Лизбет произвела на свет хорошенького мальчика, Петер отправился на Еловый Бугор и произнес заклинание. Но Стеклянный Человек не показывался.

— Господин Хранитель Клада! — громко позвал Петер. — Послушайте, мне ничего не надо, я только хочу просить вас быть крестным отцом моему сыночку!

Но никто не отозвался, только налетевший вдруг ветер шумел в елях и сбросил в траву несколько шишек.

— Ну что ж, раз вы не хотите показаться, возьму-ка я на память эти шишки! — воскликнул Петер, сунул в карман шишки и пошел домой. Когда же дома он снял праздничную куртку и его мать, перед тем как уложить ее в сундук, вывернула карманы, оттуда выпали четыре тяжелых свертка, а когда их развернули, там оказались сплошь новенькие баденские талеры, и среди них ни одного фальшивого. Это был подарок Человека из елового леса своему крестнику, маленькому Петеру.

С тех пор и жили они мирно и безбедно, и еще много лет спустя, когда у Петера Мунка уже волосы поседелели, он не уставал повторять: «Да, уж лучше довольствоваться малым, чем иметь золото и всякие другие богатства и при этом — холодное сердце».

Шел уже пятый день, а Феликс, егерь и студент все еще были в руках у разбойников. Они очень тосковали и жаждали освобождения, хотя атаман и его подчиненные обходились с ними не плохо. Чем дольше тянулось время, тем сильнее возрастал их страх, что обман будет обнаружен. На пятый день вечером егерь сообщил товарищам по несчастью, что твердо решил этой ночью бежать, пусть даже он поплатится за это жизнью. Он всячески склонял их тоже к побегу и объяснил, как собирается его осуществить.

— Того, что стоит всего ближе к нам, я беру на себя; ничего не поделаешь, ведь дело идет о самозащите, а самозащита законом не воспрещается. Его придется убить.

— Убить? — ужаснулся Феликс. — Вы хотите его убить?

— Да, это твердо решено, раз его смерть спасет жизнь двум людям. Должен вам сказать, что собственными ушами слышал, как разбойники с озабоченным видом шептались, что их ищут по лесу, а старухи, озлобившись, проговорились о недобрых намерениях разбойничьей шайки; они всячески нас ругали и дали понять, что, если на разбойников нападут, нам нечего ждать пощады.

— Господи боже! — в ужасе воскликнул юноша и закрыл лицо руками.

— Я предлагаю, пока они еще не приставили нам пожа к горлу, опередить их. Когда стемнеет, я подкрадусь к ближнему караульному, он окликнет меня, я шепну, что графине внезапно стало дурно, и когда он обернется, покончу с ним. Затем приду за вами, молодой человек, и второй тоже не уйдет от нас, а с третьим мы и давно справимся.

И сам егерь в эту минуту и слова его ужаснули Феликса. Он уже собрался отговорить его от такого кровавого замысла, но тут дверь тихонько отворилась и кто-то крадучись вошел к ним. Это был атаман. Он сразу осторожно затворил за собой дверь, а пленникам сделал знак не шуметь. Сев рядом с Феликсом, он сказал:

— Ваше сиятельство, вы в безвыходном положении. Граф, ваш супруг, не сдержал слова, он не только не прислал выкупа, но заявил местному начальству. Солдаты рыскают по лесу, чтобы арестовать меня и моих людей. Я угрожал вашему супругу покопчить с вами, если он попытается нас схватить. Но то ли ему не дорога ваша жизнь, то ли он не верит моему слову. Ваша жизнь в наших руках, по нашему закону вы обречены на смерть. Что вы можете мне возразить?

Пленники были подавлены, они сидели, не поднимая глаз, не зная, что сказать, ведь Феликс отлично понимал: признавшись в передевании, он только усугубит опасность.

— Сверх моих сил подвергать такой опасности даму, к которой я отпущусь с великим почтением, — продолжал атаман, — для вашего спасения возможно только одно, вот я и хочу предложить вам этот единственный выход: *я предлагаю бежать всем нам вместе.*

Изумленные неожиданностью, они молча смотрели на него.

— Большинство моих людей,— продолжал он,— решило податься в Италию и примкнуть к одной очень крупной шайке. Что до меня, то служить под началом другого мне не улыбается, поэтому я не заодно с ними. Если бы вы, ваше сиятельство, взяли меня под свою защиту и обещали, прибегнув к вашим сильным связям, замолвить за меня слово, то, пока еще не поздно, я мог бы вас спасти.

Феликс в смущении молчал. Он был слишком честен, все существо его возмущалось при мысли сначала преднамеренно подвергнуть опасности человека, который хочет спасти ему жизнь, а потом оказаться бессильным защитить его. Он все еще молчал, и тогда атаман заговорил снова.

— В настоящее время всюду вербуют людей в войска, я удовольствуюсь самой скромной должностью. Я знаю, вы многое можете, но ведь я не требую ничего, мне достаточно вашего обещания, что вы постараетесь хоть немного помочь мне в этом деле.

— Хорошо, обещаю оказать вам содействие, сделать все, что могу, все, что в *моих* силах,— ответил Феликс, не подымая глаз.— Чем бы все это для вас ни кончилось, для меня утешительно уже то, что вы добровольно порываете с разбойничьей жизнью.

Растроганный атаман поцеловал руку доброй даме и шепнул, чтобы через два часа, после того как стемнеет, она была готова, а потом вышел из хижины столь же осторожно, как перед тем вошел. После его ухода все трое с облегчением вздохнули.

— Поистине, сам господь бог вложил это ему в сердце! — воскликнул егерь.— Какое неожиданное спасение! Мне и во сне не снилось, что на свете еще бывает такое.

— Вот уж правда неожиданное! — согласился с ним Феликс.— Но честно ли я поступил, обманув его? Что пользы ему в моем заступничестве? Я же не признался, кто я, а ведь это все равно что заманить его на вселницу, разве не так, господин егерь?

— Ну к чему такая совесть, милый юноша! — возразил студент.— И это после того, как вы так мастерски сыграли свою роль! Нет, пусть это вас не мучает, это вполне законная самозащита. Ведь не постыдился же он дерзко похитить во время пути почтенную даму, и не будь вас, как знать, чем бы все это кончилось для графини! Нет, вы поступили вполне честно. Впрочем, я полагаю, тот факт, что он, атаман шайки, сам отдастся в руки правосудия, послужит ему на пользу.

Этот последний довод утешил юношу. В радостном возбуждении и все же тревожась и замирая от страха, что их плап может потерпеть неудачу, провели они ближайшие часы. Уже стемнело, когда атаман снова заглянул к ним, положил узел с одеждой и сказал:

— Ваше сиятельство, чтобы облегчить нам бегство, вам необходимо переодеться мужчиной. Будьте готовы. Через час мы отправимся в путь.

С этими словами он вышел, и егерь едва удержался, чтобы не расхохотаться.

— Вот вам и второе переодевание,— сказал он,— и, честное слово, оно пристало вам куда больше первого!

Они развязали узел, достали отличный охотничий костюм и все, что к нему полагается, костюм пришелся Феликсу впору и очень к лицу. Когда он был готов, егерь хотел было бросить платье графини в угол, но Феликс не позволил, он связал ее вещи в узелок и сказал, что попросит графиню подарить их ему, и он сохранит их до конца жизни на память об этих удивительных днях.

Наконец атаман вернулся. Он был вооружен до зубов, егерю он возвратил отобранное у того ружье и пороховницу. Студенту он тоже вручил ружье, а Феликсу подал охотничий нож и попросил на всякий случай повесить его на пояс. К счастью, было уже очень темно, не то по сияющему виду Феликса, когда он вооружился ножом, атаман мог бы легко догадаться, кто он на самом деле. Когда они осторожно вышли за дверь, егерь обнаружил, что на ближнем сторожевом посту никого нет. Это дало им возможность незаметно проскользнуть мимо хижины, но атаман не повел их обычной тропой, из глубины ущелья подымавшейся в лес, он направился к отвесной скале, на первый взгляд неприступной. Однако, когда они были уже у ее подножия, атаман обратил их внимание на веревочную лестницу, висевшую на скале. Он перекинул ружье за спину и стал подниматься первым, затем протянул руку графине и пригласил следовать за ним, егерь замыкал шествие. За скалой оказалась тропинка, и они быстро пошли по ней.

— Эта тропинка выведет нас на дорогу в Ашафенбург,— сказал атаман.— По ней мы и пойдем, у меня точные сведения, что граф, ваш супруг, в данное время там.

Молча продолжали они свой путь, атаман впереди, остальные трое гуськом за ним. Через три часа они остановились. Атаман попросил Феликса сесть отдохнуть на пенек. Он достал хлеб и походную флягу со старым вином и предложил усталым путникам подкрепиться.

— Я думаю, мы не позже чем через час паткнемся на военный кордон, расставленный по всему лесу. В таком случае будьте столь добры, поговорите с офицером и попросите его прилично обращаться со мной.

Феликс согласился и на это, хотя мало надеялся на успех своего заступничества. Они отдыхали с полчаса, затем двинулись дальше. Они шли еще около часа и теперь приближались к проселочной дороге; уже забрезжило утро, в лесу чуть посветлело, тут вдруг раздался громкий окрик: «Стойте! Ни шагу дальше!» Они остановились как вкопанные, им преградили дорогу пятеро солдат и приказали следовать за ними к майору, их командиру, и дать ему объяснение, куда и зачем они идут. Пройдя шагов пятьдесят, они заметили, что в кустах и слева и справа поблескивают штыки,— видимо, лес был оцеплен. Под дубом сидел майор в окружении

офицеров и нескольких штатских. Задержанных привели к майору, и он уже собирался допросить их, кто они и откуда, но тут вдруг вскочил со своего места один из присутствующих и воскликнул:

— Боже мой! Кого я вижу, ведь это же Готфрид, наш егерь!

— Так точно, господин управляющий! — радостно ответил егерь. — Я самый, чудом спасенный из рук пайки разбойников.

Офицеры очень удивились, увидав его тут. А егерь попросил майора и управляющего отойти с ним в сторонку и в кратких словах рассказал, как они были спасены и кто тот четвертый, что сопровождал их.

Обрадованный его сообщением, майор тут же припал пужные меры и отдал распоряжение препроводить важного арестованного дальше, а золотых дел мастера подвел к своим офицерам и представил им доблестного юношу, смелость и присутствие духа которого спасли графиню, и все радостно жали ему руку, расточали похвалы и никак не могли наслушаться рассказов его и егеря о том, что они пережили.

Меж тем совсем рассвело. Майор решил лично проводить освобожденных в город. Он вместе с ними и графским управляющим отправился в ближайшую деревню, где стоял его экипаж, там он усадил Феликса рядом с собой в экипаж; егерь, студент, управляющий и много других людей ехали верхами впереди и позади них, и так это поистине триумфальное шествие двинулось по дороге в город. С быстротой молнии разнесся слух о разбойничьем нападении в шпессартской харчевне и о самоотверженном юноше, и не менее быстро передавалась из уст в уста весть о его освобождении. Поэтому и нет ничего удивительного, что в городе, куда они ехали, улицы были запружены народом: всем хотелось увидеть молодого героя. Навстречу медленно подъезжавшему экипажу хлынула толпа народа. «Вот он, — раздались крики. — Видите, это он сидит рядом с офицером! Да здравствует смелый золотых дел мастер!» И тысячеголосое «ура!» огласило воздух.

Феликс был смущен, растроган кликами толпы. Но еще более трогательное зрелище ожидало его в ратуше. Богато одетый мужчина средних лет встретил его у лестницы и обнял со слезами на глазах.

— Как мне отблагодарить тебя, сын мой! — воскликнул он. — Ты вернул мне счастье, то счастье, коего я чуть не лишился навсегда! Ты спас мне жену, моим детям спас мать! При ее хрупком здоровье она не выдержала бы тягостной жизни в плену у разбойников.

Так говорил супруг графини. Чем решительнее отказывался Феликс сказать, какую награду желал бы получить за свой самоотверженный поступок, тем непреклоннее настаивал граф. Тут юноша вспомнил о тяжелой участи атамана разбойников; он рассказал, что тот его спас и что спасал он, собственно, не его, а графиню. Граф, тронутый не столько поступком атамана, сколько

новым доказательством благородства и бескорыстия, кои проявил Феликс своей просьбой, обещал сделать все, что в его силах, чтобы спасти разбойника.

Еще в тот же день граф в сопровождении храброго егеря повез Феликса в замок, где графиня, озабоченная судьбой самоотверженного юноши, с нетерпением ждала вестей. Как описать ее радость, когда супруг ввел к ней ее спасителя? Она не уставала его расспрашивать и благодарить, она велела привести детей, чтобы они посмотрели на доблестного юношу, которому их мать столь миссгм обязана. Малыши протянули ему ручки, и ласковые слова их детской признательности, их уверения, что после отца с матерью для них нет никого на свете дороже его, были для Феликса лучшей наградой за те бессонные ночи, за все то, что ему пришлось претерпеть у разбойников.

Когда прошли первые минуты радостной встречи, лакей по знаку графини принес одежду и хорошо знакомый ранец, отданные Феликсом графине в лесной харчевне.

— Здесь все, что вы дали мне в ту страшную минуту, — с ласковой улыбкой сказала она, — в этих вещах тайные чары, облачив меня в них, вы поразили моих преследователей слепотой. Теперь они снова в вашем распоряжении, но я хочу предложить вам оставить эту одежду мне на память о вас, а взамен принять ту сумму, что разбойники назначили как выкуп за меня.

Феликса испугал столь щедрый подарок; благородство не позволило ему принять вознаграждение за то, что он сделал по доброй воле.

— Ваше сиятельство, — сказал он в волнении, — я не могу согласиться на это. Одежда, как вы того пожелали, пусть остается у вас, но сумму, которую вы назвали, я принять не могу. Но я знаю, что вам угодно меня вознаградить, поэтому я прошу не лишать меня вашего благоволения, иной награды мне не надо, и, в случае если мне понадобится ваша помощь, позволить мне обратиться к вам.

Долго еще уговаривали они юношу, но ничто не могло изменить его решения. Графиня и ее супруг наконец уступили, и лакей хотел уже унести одежду и ранец, но тут Феликс вспомнил об ожерелье, о котором за столь радостными событиями совсем было забыл.

— Постойте! — остановил он лакея. — Ваше сиятельство, разрешите мне взять всего одну вещь из ранца, остальное полностью и навсегда принадлежит вам.

— Все в вашем распоряжении, — сказала она, — хотя я охотно сохранила бы все на память о вас, берите, берите то, чего не хотите лишиться. Однако позвольте спросить, чем вы так дорожите, что не хотите оставить мне?

Юноша тем временем открыл ранец и достал футляр красного сафьяна.

— Берите все, что принадлежит мне, — с улыбкой ответил он. — Но это принадлежит моей дорогой крестной матери. Это,

ваше сиятельство, ожерелье моей работы, и его я должен отдать ей,— прибавил он, открыв и подавая ей футляр из красного сафьяна.— Ожерелье, на котором я пробовал свои силы.

Она взяла футляр, но, мельком взглянув на него, смутилась и протянула его Феликсу.

— Как?! Эти камни! — воскликнула она.— И они, вы говорите, предназначены вашей крестной?

— Ну, да,— ответил Феликс,— моя крестная прислала их мне, я вставил их в оправу и шел к ней, чтобы лично отдать ей ожерелье.

До слез растроганная графиня смотрела на него.

— Так, значит, ты Феликс Пернер из Нюрнберга? — воскликнула она.

— Ну да! Но откуда вы вдруг узнали, как меня зовут? — спросил он, с изумлением глядя на нее.

— О чудесный перст провидения! — обратилась умиленная графиня к ничего не понимавшему супругу.— Это же Феликс, наш крестник, сын нашей камеристки Сабинь! Феликс! Ведь это ко мне, ко мне ты шел. Так ты, сам того не зная, спас свою крестную!

— Как? Значит, вы графиня Зандау, так много сделавшая для нас с матерью? А это замок Майенбург, тот самый, куда я держал путь? Как благодарен я счастливой судьбе, которая столь неожиданно свела меня с вами; значит, своим поступком мне хоть в малой доле удалось выразить вам свою великую признательность!

— Ты сделал для меня больше, чем я когда-либо смогу сделать для тебя,— возразила она.— Но пока я жива, я постараюсь доказать тебе, сколь бесконечно многим все мы тебе обязаны. Ты будешь сыном моему супругу, братом моим детям, а я буду тебе любящей матерью; ожерелье, которое привело тебя ко мне в час величайшей опасности, отныне для меня самое приятное украшение: оно постоянно будет напоминать мне о тебе и твоём благородстве.

Так сказала графиня и сдержала слово. Она щедро помогала Феликсу в годы страствий. Когда он вернулся уже сведущим в своем деле мастером, она купила ему в Нюрнберге дом, полностью обставила его, парадную комнату в доме украшали хорошо выполненные картины, на которых были изображены сцены из жизни Феликса в лесной харчевне и в разбойничьем ущелье.

Так и зажил в Нюрнберге Феликс, умелый золотых дел мастер. Слава о его искусстве, а также молва о его удивительной доблести привлекали к нему заказчиков со всей страны. Многие приезжие, попав в чудесный город Нюрнберг, приходили в мастерскую к знаменитому мастеру Феликсу, чтобы поглядеть на него, подивиться его геройству и мастерству, а то и заказать ему красивое украшение. Однако самыми желанными для него гостями были егерь, машинный мастер, студент и возчик. Всякий раз по дороге из Вюрцбурга в Фюрт возчик заезжал к Феликсу, егерь чуть не

каждый год привозил ему подарки от графини, мастер, исходив многие немецкие земли, под конец устроился на жительство у Феликса. Как-то навестил их и студент. Он за это время стал важным государственным мужем, но не стеснялся отужинать в обществе мастера Феликса и его приятеля. Они вспоминали все пережитое на заезжем дворе и шпессартском лесу, и бывший студент рассказал, что видел в Италии атамана разбойников: он вполне исправился, стал военным и служит верой и правдой неаполитанскому королю.

Феликса эта весть обрадовала. Не будь атамана, оп, надо думать, вряд ли попал бы в тогдашнее опасное положение, но, не будь этого человека, оп бы и не смог уйти от разбойников. Вот и выходит, что в душе у честного золотых дел мастера жили только добрые и дружественные мысли, когда ему вспоминалась *харчевня в Шпессарте*.

ФАНТАСМАГОРИИ В БРЕМЕНСКОМ ВИННОМ ПОГРЕБКЕ

Осенний подарок друзьям вина

Доброе вино — хороший товарищ...
и кому не случится иной раз опьянеть.

Шекспир

Двенадцати апостолам бременского
винного погребка в знак признательности
и памяти.

Автор. Осень 1827

— С ним не сговоришь, — сказали они, спускаясь по лестнице той гостиницы, где я остановился, я их ясно слышал. — Теперь его уже в девять часов клонит ко сну, настоящий сурок, кто бы мог это подумать четыре года тому назад.

Не скажу, что мои друзья рассердились на меня понапрасну. Ведь сегодня вечером в городе устраивался танцевальный чай с музыкой, декламацией и бутербродами, и мои приятели приложили немало стараний, чтобы я, приезжий, провел приятно вечер. Но для меня это действительно было невысказано, я не мог пойти. Чего ради идти на танцевальный чай, раз она не будет там танцевать, чего ради идти на чай с пением и бутербродами, где мне (я это наперед знал) придется петь, а она меня не услышит, чего ради мешать веселью задушевных друзей унылым и хмурым настроением, от которого я сегодня не мог отделаться? О господи, уж лучше бы они позлились на меня минутку, сходя с лестницы, но не скучали с девяти вечера до часа ночи, беседуя только с моим бременским телом и тщетно взывая к душе, ибо она бродила за несколько улиц оттуда по кладбищу при церкви Божьей матери.

Но мне было обидно, что любезные мои приятели обозвали меня сурком и приписали сонливости то, что на самом деле объяснялось желанием бодрствовать. Только ты, сердечный друг Герман, правильно меня понял. Ведь я слышал, как ты сказал уже внизу на соборной площади: «Нет, дело не в сонливости — у него же блестят глаза. Опять он выпил, то ли многовато, то ли мало-вато, и, значит, хочет глотнуть еще, но — в одиночестве».

Откуда только у тебя такой дар провидения? Или ты догадался, что, если глаза у меня смотрят бодро, значит, почью мне

предстоит встреча со старым рейнским вином; откуда мог ты знать, что грамоту и письменное разрешение, выданные мне рагушей, я пушу в ход как раз этой ночью, дабы приветствовать Розу и ваших двенадцать апостолов? К тому же у меня сегодня особый, «високосный» день.

На мой взгляд, не так уж плоха усвоенная мною от деда привычка поспеть и поразмыслить над теми зарубками, что нанесены за год на древо жизни. Ежели ты празднуешь только Новый год да пасху, рождество или троицу, то в конце концов эти праздники станут привычными, покажутся буднями и перестанут вызывать воспоминания. А как бы хорошо, чтобы душа, вечно озабоченная житейской суетой, когда-нибудь завернула на постоянный двор собственного своего сердца и угостилась за долгим табльдотом воспоминаний, а затем написала бы добросовестный счет *ad notam*¹, подобный тому, что трактирщица Быструха подала рыцарю. Дедушка называл такие дни своими високосными днями. Это не значило, что он приглашал на банкет друзей или проводил такой день весело и шумно, в свое удовольствие; нет, он углублялся в себя и услаждал свою душу в опочивальне, знакомой ему уже семьдесят пять лет. Еще и по сию пору, хотя он уже давно покоится на кладбище в холодной могиле, еще и по сию пору я нахожу в его голландском Горациии те строки, что он читал в такие дни; еще и по сию пору, словно это было вчера, вижу я его большие голубые глаза, задумчиво устремленные на пожелтевшие страницы семейной книги для памятных записей. И так ясно вижу я, как его глаза постепенно увлажняются, как дрожит на седых ресницах слеза, как сжимается властный рот, как старик медленно, словно не решаясь, берет перо и ставит черный крест под именем «одного из своих отошедших в вечность братьев».

«У барина високосный день», — шепотом увещевали нас слуги, когда мы, как обычно, шумно и весело мчались вверх по лестнице. «У дедушки високосный день», — перешептывались мы и думали, что он сам готовит себе рождественские подарки, ведь у него не было никого, кто бы зажег ему елку. И разве мы были не правы, думая так в детской простоте? Разве он не зажигал рождественскую елку своих воспоминаний, разве не горели тысячи мерцающих свечек — любимые часы долгой жизни, и не казалось, что, сидя вечером своего високосного дня тихо и умиротворенно в креслах, он детски радуется дарам прошлого?

Его високосный день был и тогда, когда его вывели из дома. Я пустил слезу, подумав, что дедушка в первый раз за долгое-долгое время попал на свежий воздух. Его повезли по дороге, по которой я так часто ходил вместе с ним. Но только везли его не долго, а потом перешли через черный мост и положили дедушку глубоко в землю. «Вот теперь он справляет свой настоящий високосный день, — подумал я, — но не пойму, как он вернется оттуда, ведь на него набросали столько камней и дерна». Он не вернулся

¹ Для сведения (*лат.*).

оттуда. Но его облик сохранился у меня в памяти, и, когда я подрос, я очень любил рисовать себе его умный открытый лоб, ясный взгляд, властный и в то же время такой ласковый рот. Вместе с его обликом возникало множество воспоминаний, и его високосные дни были самыми любимыми картинами в этой длинной галерее воспоминаний.

А сегодня разве не первое сентября, дата, которую я избрал для своего високосного дня, не так ли? Мне же предлагают объедаться бутербродами в светском обществе и слушать всякие арии, да сверх того еще аплодисменты и щebet. Нет! Я прибегну к тебе, превосходный рецепт, столь превосходного не пропишет ни один врач на свете. Я спущусь вниз к тебе, старая проверепная аптека, чтобы, «как предписано, каждый раз осушать полный бокал».

Когда пробило десять часов, я уже спускался по широким ступеням в винный погреб; я надеялся, что не встречу ни одного гуляки, ведь для остальных людей день был будничным, а на дворе шумела непогода, флюгера затягивали неожиданные песни, дождь барабанил по мостовой соборной площади. Я протянул муниципальному сторожу погребка распоряжение принести мне вина, он смерил меня с пог до головы недоумевающим взглядом.

— Так поздно? Да еще сегодняшней ночью! — воскликнул он.

— Для меня до полуночи никогда не бывает поздно, — возразил я, — а наутро будет еще достаточно ранний час.

— Но неужели же... — начал было он, но, снова взглянув на печать и почерк своего начальника, молча, хоть и нерешительно, зашагал впереди меня. Что за отрада было видеть, как свет от его свечи в бумажном колпачке скользит по длинному ряду бочек, как он дрожит на сводах, какие рисует причудливые очертания и тени, как блуждает по столбам в глубине погреба, так что чудится, будто это суетятся возле бочек хлопотливые купорщики. Он хотел отпереть мне одну из тех залец, где за круговой чашей могут поместиться, и то очень тесно, шесть — восемь приятелей, не больше. Я люблю сживать в таких укромных уголках с закадычными друзьями: в тесном помещении сидят ближе друг к другу, каждое слово слышно, беседа звучит задушевнее. Но когда я совсем один и одинок, я люблю свободное помещение, где и думается и дышится свободнее. Для своего одинокого пиршества я выбрал старый сводчатый зал, самый большой в здешних подземных покаях.

— Вы ждете друзей? — спросил служитель.

— Я буду один.

— Может, придет кто и незваный, — прибавил он, робко озираясь на тени, которые отбрасывала свеча.

— Вы это о чем? — удивился я.

— Так, ни о чем, просто подумалось, — ответил он, зажегши свечи и поставив передо мной большой зеленый бокал. — Про первое сентября всякое толкуют, к тому же господин сенатор Д. два часа как ушли отсюда, и я вас уже не ждал.

— Господин сенатор Д.? Зачем он приходил? Он меня спрашивал?

— Нет, они только приказали взять пробы.

— Какие пробы, друг?

— Да с двенадцати и с Розы,— ответил старик, доставая штофики с длинными бумажными полосками на горлышках.

— Как? — воскликнул я.— Мне было сказано, что я могу пить вино, нацеженное тут же при мне из бочки.

— Да, но только в присутствии кого-либо из магистрата. Вот господин сенатор и приказали мне нацедить пробы; так, если вам угодно, я вам сейчас налью.

— Ни-ни, ни капельки,— прервал я его,— тут я ни рюмки не выпью, подлинное наслаждение пить прямо из бочки, а если сейчас нельзя, то я хоть у бочки выпью. Идемте, отец, заберите ваши пробы, а я понесу свечу.

Я уже несколько минут наблюдал за страшным поведением старого служителя. Он то глядел на меня и откашливался, будто порывался что-то сказать, то брал со стола штофики с пробами, совал их в свои обширные карманы, то нерешительно вытаскивал их обратно и снова ставил на стол. Мне это надоело.

— Ну, так когда же мы двинемся? — воскликнул я, всей душой стремясь в Апостольский подвал.— Долго вы еще будете возиться с вашими штофиками?

Серьезный тон, каким это было сказано, как будто придал ему смелости. Он ответил довольно решительно:

— Нет, сударь, сейчас нельзя! Сегодня уж никак нельзя!

Я подумал, что это обычный прием управителей, кастелянов и служителей при погребках, чтобы выманить у приезжих на чаек, и сунул ему в руку довольно крупную монету.

— Нет, я не для того,— сказал он, пытаюсь вернуть мне деньги.— Нет, сударь, не для того! Я вам все сейчас начистоту выложу: сегодня ночью меня не заставишь пойти в Апостольский подвал, ведь сегодня почь на первое сентября.

— Ну, и что отсюда следует? Что за чепуха?

— Господи помилуй, можете думать, как вам угодно, но сегодняшнюю ночь там нечисто, ведь сегодня годовщина Розы.

Я так расхохотался, что загудели своды.

— Еще чего! За свою жизнь я не раз слышал о привидениях, но о вишних привидениях что-то не слыхивал! Не стыдно вам, убежденному сединами, нести такой вздор! Но печего разводить разговоры. Тут сенат полновластный хозяин. Сегодня ночью я могу пить в здешнем погребе где и когда захочу. Посему приказываю вам именем магистрата идти со мной. Отпри мне погреб Бахуса, старик!

Это подействовало. Без возражений, хотя и неохотно, взял он свечи и сделал мне знак следовать за ним. Сперва мы снова прошли через большой зал, затем через ряд меньших, пока наш путь не привел нас к узкому, со всех сторон сдавленному проходу. Шаги глухо отдавались в этом ущелье, а дыханье, отражаясь от каменных сводов, казалось отдаленным шепотом. Наконец мы очутились перед дверью, загремели ключи, дверь заскрипела и

отворилась, свет озарил своды, передо мной на огромной винной бочке сидел любезный друг Бахус. Упоительное зрелище! Не очень-то изящным и красивым изобразили его бременские мастера, не прекрасным греческим юношей; не представили они его и старым и пьяным, отвратительным и пузатым, с закатившимися глазами и высунутым языком, как его богохульно увековечил общепринятый миф. Постыдный антропоморфизм, слепая людская тупость! Такой облик был у его жрецов, поседевших, служа ему, это их разнесло от блаженного веселья, это у них рдел нос пламенным отсветом багряного потока, это они замерли в немом восторге, вперив в небо остановившийся взгляд,— а люди припи-сали богу то, что украшало его служителей!

Иначе изобразили его бременские мастера. Жизнерадостный, веселый сидит наш холостяк верхом на бочке. Такой круглолицый, цветущий, пьяные глазки смотрят умно, задористо, видно, он не раз приложился к чарке, рот расплылся в широкой улыбке, короткая крепкая шея, все его небольшое тело дышит покойной, изобильной жизнью. Но особое искусство вложил создавший тебя мастер в обработку ручек и ножек. Так и кажется, что сейчас ты шевельнешь ручку и прищелкнешь короткими пальчиками, а расплывшийся в широкой улыбке рот раскроется для веселого возгласа: уля-ля! Так и кажется, что в озорном пьяном веселье ты согнешь круглые колени, напружишь икры, пристукнешь пятками ипустишь галопом старую большую бочку, и все Розы, апостолы и другие меньшие бочки с гиком и улюлюканьем припустятся за тобой!

— Царю небесный! — воскликнул старик служитель, вцепившись в меня.— Вы что, не видите, как он ворочает глазами и болтает ножками?

— В своем ли вы уме, отец? — сказал я, бросив робкий взгляд на деревянного бога вина.— Вам померещилось. Просто на нем играет пламя свечей.

Но все же на душе у меня стало смутно. Я вышел вслед за стариком из Бахусова погреба. Не знаю, было ли то от мерцания свечей, был ли то обман зрения, только, когда я оглянулся, мне почудилось, будто он кивнул, дрыгнул вслед мне ножкой и весь затрясся, скорчился от сдерживаемого смеха. Я невольно устремился за стариком и постарался не отставать от него.

— А теперь к двенадцати апостолам,— сказал я.— Посмотрим, какого вкуса пробы там!

Он ничего не ответил, просто покачал головой, продолжая идти. Нам надо было подняться на несколько ступеней к маленькому погребку, к подземному небосводу, к блаженной обители двенадцати. Как далеко усыпальницам и склепам старых королевских замков до этих катакомб! Пусть стоят там саркофаг к саркофагу, пусть на черном мраморе воздается хвала тем, что почивают здесь в ожидании «радостного дня восстания из мертвых», пусть словоохотливый чичероне в траурном одеянии, с крепом на шляпе перевозит пещавалое великолешие того или иного праха, пусть

он перечисляет отменные добродетели некоего принца, павшего в той или иной баталии, пусть повествует о нежной красоте княгини, на гробнице которой девственная мирта прильнула к полураспустившемуся бутону розы, — все это напомнит нам, что мы смертны, возможно, даже исторгнет слезу, но насколько же трогательней эта опочивальня целого столетия, это последнее пристанище замечательного поколения! Вот они лежат перед вами в темно-коричневых простых гробах, без мишурного блеска, без позументов. Их скромным заслугам, их непритязательным добродетелям, их превосходному праву не воздается хвала на мраморных досках, но какой же человек, ежели он хоть мало-мальски чувствителен, не умилился, когда старый сторож погребка — этот служитель здешних катакомб, этот кистер подземной церкви — поставит свечи на гробы, когда осветятся благородные имена великих усопших. Подобно властителям царств, они не нуждаются в перечислении титулов и фамилий; их имена просто написаны крупными буквами на их гробницах. Там Андрей, здесь Иоанн, в том углу — Иуда, а этом — Петр. Кто не умилился, услышав: здесь покоится благородный Ниренштейнец, 1718 года рождения, здесь — Рюдесгеймец, 1726 года рождения. Направо Павел, налево Иаков, добрый Иаков!

А в чем их заслуги? Вы еще спрашиваете? Разве вы не видите, как старик наливает в зеленый бокал, как он подает мне великолепную кровь апостола? Багряным золотом сверкает она в стакане. Когда его растило солнце на Иоганнесберге, оно было светлое, чуть золотистое. Столетие сгустило его окраску! Какие слова найти, чтобы определить упоительный букет, который исходит от бокала? Соберите цвет всевозможных деревьев, сорвите все полевые цветы, прибавьте индийские пряности, опрыскайте амброй, окурите пахучей янтарной смолой эти прохладные подвалы, смешайте все эти тончайшие ароматы, подобно тому как пчела собирает воедино мед из всевозможных цветов, какой же это слабый, какой обычный запах, недостойный нежного благоухания вашего кубка, уроженцы Бингена и Лаубенгейма, недостойный вашего благоухания, уроженцы Ниренштейна 1718 года.

— Вы качаете головой, отец? Осуждаете, что меня так радует встреча с вашими старыми знакомыми? Вот, друг, возьми бокал, выпей за процветание двенадцати! Давай чокнемся за их здоровье!

— Боже упаси, чтобы я в сегодняшнюю ночь хоть каплю выпил, — ответил он, — с нечистым шутки плохи. Перепробуйте все штофики, и пойдемте дальше. Меня в этом подвале жуть берет!

— Что же, тогда спокойной ночи, старожилы с берегов Рейна, и сердечное спасибо за усадку! И знайте, я рад услужить вам — и тебе, мой крепкий, пламенный Иуда, и тебе, мой нежный ласковый Андрей, и тебе, мой Иоанн, придите ко мне, я жду вас, жду!

— Царю небесный! — прервал меня старик, он захлопнул дверь и поспешил повернуть ключ в замке. — Видно, вы опьянели от нескольких глотков вина, раз призываете нечистого! Разве не знаете, что сегодняшней ночью, как всегда в ночь на первое сентября, встают духи вина и ходят друг к другу в гости? Пусть мне

откажут от места, по, если вы опять поведете такие речи, я убегу. Еще не пробил двенадцати, но ведь в любую минуту из бочки может вылезти вишневый дух с богомерзкой рожей и до смерти напугать нас!

— Отец, ты бредишь! Но успокойся, я не пророку больше ни слова, чтобы не пробудить твоих вишневых привидений. А теперь отведи меня к Розе.

Мы продолжали наш путь; мы вошли в новый подвал, в бременский розовый садик. Там лежала она, наша старая Роза, большая, огромная, внушительная и высокомерная с виду. Какая огромная бочка, и каждый бокал стоит золота. Год рождения 1615-й! О, благородная лоза, скажи, где руки, что сажали тебя, где глаза, что радовались твоему цветению, где все те веселые люди, что встречали ликованием твои богатые грозди, когда их срезали на прирейнских холмах, когда давили ягоды, освобождая их от выжимок, и в чаши золотой струей стекал сок? Эти люди исчезли, как волны многоводной реки, омывавшей твой родной виноградник. Где они, где старые господа ганзейцы, почтенные сенаторы, отцы этого старого города, те, что сорвали тебя, благоуханная роза, и пересадили под здешние прохладные своды на радость внукам? Ступайте на Апсгариевское кладбище, подымитесь к церкви Божьей матери и возьмите вино на их могилы! Они ушли, и вместе с ними ушло два столетия!

Итак, за ваше здоровье, почтенные господа anno¹ 1615, и за здоровье ваших достойных внуков, столь гостеприимно протянувших руку мне, чужому в их городе, и угостивших меня здешним бальзамом.

— Так, а теперь спокойной ночи, фрау Роза, — уже приветливее прибавил старик служитель, укладывая штофики в корзиночку, — спокойной ночи и счастливо оставаться. Сюда, сюда, нет, не за угол, на выход из погреба сюда, уважаемый. Не наткнитесь на бочки, идемте, я посвечу.

— Ни в коем случае, — возразил я, — теперь только начнется настоящая жизнь. Пока было лишь предвкушение. Принеси мне туда, в большую залу, коллекционного вина урожая двадцать второго года, так, две-три бутылки. Я видел, как это вино зеленело, при мне его давили. Я уже отдал дань восхищения старым годам, теперь надо воздать должное и моему времени.

Бедняга застыл, выпучив глаза, и, казалось, не верил своим ушам.

— Сударь, грех так шутить, — торжественно произнес он наконец. — Сегодняшней ночью я не останусь здесь ни за какие блага, не останусь, и все тут.

— А кто говорит тебе оставаться? Подай вино, и с богом. Я хочу справиться сегодня ночью воспоминаний и облюбовал для этого дела твой погребок, ты мне не нужен.

— Но я не имею права оставить вас одного, — возразил он, —

¹ Года (лат.).

Я, конечно, понимаю, что вы, не во гнев вашей милости будь сказано, погребок не обворуете, но это не разрешается.

— Ну, в таком случае запири меня тут, в помешении, повесь на дверь тяжеленный замок, чтоб я не мог выбраться, а в шесть утра разбуди и получи причитающиеся с меня деньги.

Старик попытался было возражать, но напрасно, в конце концов он поставил на стол три бутылки вина и девять свечей, вытер зеленый бокал, налил мне коллекционного вина двадцать второго года и пожелал, по всему видно, с тяжелым сердцем, спокойной ночи. Он действительно запер дверь на два поворота ключа и повесил еще замок, мне подумалось, скорее из заботливого опасения за меня, чем из пристрастия к своему погребу. Как раз пробило половину двенадцатого. Я слышал, как он сотворил молитву и поспешил уйти. Шаги его доносились все глуше и глуше, но, когда он запер наружную дверь, под сводами в переходах и залах грянуло точно из пушки.

Итак, наконец мы с тобой паедине, о душа, глубоко внизу, под землей. Наверху, на земле, люди спят, им снятся сны, а здесь вокруг меня тоже спят в своих гробах духи вина. О чем грезится им? Может быть, об их быстротечном детстве, может быть, они вспоминают о далеких горах, где они родились, где выросли, о многоводном старике отце, о Рейне, каждую ночь ласково напевавшем им колыбельную песню?

Вспоминаете ли вы солнце — нежную мать, поцелуем пробудившую вас ото сна, когда в ясную весеннюю пору вы впервые открыли глазки и взглянули вниз на чудесную рейнскую землю? Вспоминаете ли вы еще, как май пришел в свой немецкий парадиз и мать одела вас зелеными платяницами — листвою, а старик отец этому очень радовался, поглядывал вверх из своего зеленого ложа, кивал нам и весело журчал у камня Лорелей?

А ты, душа, вспоминаешь ли и ты розовые дни юности? Мягкие холмы своей родины, покрытые виноградниками, синие воды могучей реки, цветущие долины Швабии? О, упоительная пора сладких грез! Как радовали тебя книги с картинками, рождественские елки, материнская любовь, пасхальные недели и пасхальные яйца, цветы, птицы, оловянные и бумажные солдатки, и первые штанишки и курточки, в которые одели твою маленькую брентную оболочку, гордую своим ростом. Вспоминаешь ли ты, как покойный отец качал тебя на ноге, а дедушка всегда позволял кататься верхом на его трости с золотым набалдашником?

А теперь, со следующим бокалом, шагнем, душа, на несколько лет вперед. Вспомним то утро, когда меня привели в спальню к хорошо нам знакомому человеку, лицо которого стало таким бледным, и я, сам не понимая почему, поцеловал его руку. Ведь не мог же я подумать, что злые люди, которые положили его в шкаф и накрыли черными покрывалами, не мог же я подумать, что они не принесут его обратно? Успокойся, он тоже заснул только на время.

А вспоминается ли нам таинственная, полная радости жизнь в дедушкиной библиотеке? Ах, в ту пору мне была знакома только одна книга — мой заклятый враг: противный учебник Брёдера. Я не знал, что дедушкины фолианты переплетены в кожу не только для того, чтобы было удобно строить из них дома и сараи для меня и моего стада!

Вспоминается ли мне еще, как я расправился с немецкой литературой меньшего формата? Ведь я запустил в голову моему брату Лессинга, правда, в ответ он пребольно отгупил меня «Путешествием Софии из Мемеля в Саксопию». В ту пору я, конечно, не думал, что впоследствии сам буду сочинять книги!

И ты, старый замок, ты тоже возникаешь из тумана минувших лет! Как часто твои полуразрушенные ходы, подземелье, крепостная башня, темницы служили нам, детворе, местом шумных игр! В солдат и разбойников, в кочевников и караваны! Как часто я с наслаждением исполнял подчиненную роль казака, в то время как другие дрались, изображая генералов — Платовых, Блюхеров, Наполеона и им подобных. Разве не случилось мне в угоду другу быть порой лошадьё? Господи, как чудесно там игралось!

Где они, друзья нашего детства, товарищи тех золотых дней, когда ни чин, ни звание, ни титулы не играли роли? Графы и бароны, надо думать, проводят ныне время, путешествуя по свету, или служат при дворе камергерами; бедняки в качестве подмастерьев бродят по Германии, босиком, с тяжелой котомкой за плечами, охотятся у дверей карет за пфеннигами и ловят их на лету в свои потемневшие от дождя шляпы, и, часто случается, любовное томление ложится на их плечи еще большим бременем, чем котомка. Другие товарищи, те, что преуспели в классической словесности благодаря аккуратности и прилежанию в школе, стали пасторами и сидят в шлафроке или стихаре около своей женушки. Другие теперь чиновники, еще другие аптекари, кое-кто референдарии или еще что-нибудь в том же роде. И только мы с тобой, моя душа, сойдя с обычной стези, сидим здесь, в бременском винном погребе и услаждаем себя вином. Но кем же особенным мы стали? Доктором? Им может стать всякий, у кого хватит ума написать диссертацию.

Однако, душа, я осушаю уже четвертый бокал. Четвертый! Чувствуешь ты некую связь между вином и языком? Между языком и глоткой? Я утверждаю, что здесь перекресток, и тут же у него указатель. На одной стороне написано: «Дорога в желудок». Эта широкая проезжая дорога идет под гору, так и катится, так и катится, так и скользит все по ней. Поэтому более грубая пища обычно отправляется по этой дороге. Другая табличка указателя гласит: «Дорога в голову». По пей отправляются винные духи, изрядное время уже проскучавшие в бочке с презренной грубой материей, и теперь, когда им предоставлена свобода, они посматривают на табличку, указывающую путь направо и вверх. В то время как вино сплошным потоком устремляется палево и вниз, винные духи поднимаются вверх и попадают в гостиницу под вы-

веской «Седалище души». Эти духи — мирный, разумный народ. Они вносят свет в твой дом, душа, пока их всего четверо или пятеро, потом я уж за них не поручусь, они могут содейть в мозгу драку и всяческое бесчинство.

Как прекрасен четвертый период жизни, который мы начали с четвертым бокалом! Нам с тобой четырнадцать лет, о душа! Но как все изменилось за этот короткий срок! Детские игры, солдатики и всякий прочий хлам далеко позади, и мы с тобой, как мне вспоминается, читаем запоем. Теперь мы уже добрались до Гете и Шиллера, мы глотаем их, хоть и не все нам понятно. Или это не так? Нам с тобой уже все понятно? Ты хочешь сказать, что в те годы я уже мог понять любовь, если в прошлое воскресенье на вечеринке поцеловал в темном углу за комодом Эльвиру и отверг нежности Эммы? Варвар! Ведь мог же я предположить, что эта тринадцатилетняя девочка тоже читала «Вертера» и даже кое-какие сочинения Клаурена и почувствовала ко мне любовь. Но сменим декорации. Привет тебе, горная долина, привет тебе, голубая многоводная река! На твоём берегу я провел три долгих года. Прожил те годы, за которые мальчик становится юношей. Привет тебе, монастырский приют, и тебе, крытая галерея с портретами умерших пастырей, и тебе, церковь с замечательным алтарем, привет и вам, чудесные ландшафты, купающиеся в золотом сиянии утренней зари! Привет вам, замки на скалах, пещеры, долины, зеленые леса! Те долины, те стены монастыря были тесным гнездом, растившим нас, пока мы не оперились, а суровому горному воздуху мы обязаны тем, что не стали неженками.

Я приступаю к пятому бокалу, к пятому столетию нашей жизни. Я медленно прихлебываю благородное рейнское вино и выпиваю вас капля за каплей, любезные сердцу воспоминания, вы расцветаете, о годы моей юности, вы источаете чудесное благоухание, подобное тому аромату, что исходит из моего бокала. Взгляд мой повеселел, о душа, ведь вокруг друзья моей юности! Как назвать мне тебя, жизнь студенческих лет — ты и возвышенная, благородная, ты и грубая, варварская, и милая, и беспорядочная, и мелодичная, и отталкивающая, и все же такая приятная и живительная! Как описать мне вас, золотые часы, ликующие звуки братской любви? В каких тонах говорить о вас, чтобы меня правильно поняли? Какими красками изобразить тебя, никем не постигнутый хаос? Мне, мне описать тебя? Ни за что на свете. Твоя смехотворная сторона у всех на виду, она не скрыта от «непосвященных», ее описать можно, но твое внутреннее обаяние знает только рудокоп, который в братской компании спустился с песней в шахту. Золото, вот что принесет он наверх, только чистое золото. Много или мало, не важно. Но это еще не все то ценное, что он добыл. Он не расскажет постороннему, что видел, для слуха непосвященного это прозвучало бы и слишком необычно, и все же слишком изысканно. Там, в глубине, живут духи, не доступные ни зрению, ни слуху постороннего. Там, в подземных залах, звучит музыка, но прозаический слух человека рассудочного воспри-

мет ее как пустую, ничтожную. Но тот, кого она заберет за живое, кто сам запоет вместе с ней, ощутит своеобразное посвящение, даже если он и усмехнется тому, что его фуражка, которую он сохраняет как символ, продырявлена. Старенький мой дедушка! Теперь я знаю, о чем ты думал, когда «барин справлял свой високосный день». У тебя тоже были милые сердцу друзья юности, я знаю, почему дрожала слеза на твоих седых ресницах, когда ты добавлял еще один крест в книгу для памятных записей. Они живы!

Брось, брат, эту бутылку, начнем новую для новых радостей. Наполним шестой бокал! Кто может уразуметь тебя, о любовь?!

Мы были не первые и не последние. Мы читали о любви и думали, что любим. Всего удивительнее и, однако, всего естественнее, что фазы или стадии такого рода любви отражали прочитаемое. Разве не рвали мы незабудки и лютики и не преподносили робко букетики докторской дочке в Г., разве не выжимали из глаз слезу только потому, что прочитали: «В полях срывает он лилею и молча преподносит ей...», «...и тайно слезы льет в тиши...»?¹ Разве не любили à la Вильгельм Мейстер, то есть не знали, кого мы любим — Эммилину или нежную Камиллу, а то и Оттилию? Разве они все три в изящных почтовых чепчиках не подсматривали из-за спущенных штор, когда зимой мы пели у них под окном серенаду и бойко перебирали струны гитары окоченевшими на морозе пальцами? А потом, когда выяснилось, что все они бездушные кокетки, разве мы не кляли тогда безрассудно любовь и не зареклись жениться до тех пор, пока швабы не поумнеют, то есть не раньше сорока лет?

Кто может уразуметь тебя, о любовь? Кто может заречься любить? Ты возникаешь в глазах любимой и через наши глаза украдкой пробираешься в сердце. И все же ты могла так холодно слушать те песни, что я тебе пел, ты не хотела отвечать на взгляды, что я так часто тебе посылал! Мне хотелось быть генералом только ради того, чтобы она с замираньем сердца прочитала в газете мою фамилию: «Генерал Гауф отличился в последнем бою, в сердце ему попало восемь пуль — но он остался жив». Мне хотелось быть барабанщиком только ради того, чтобы у дверей ее дома дать волю своему горю в оглушительной барабанной дробь, а если она в испуге выглянула бы из окна, я поступил бы как раз наоборот тем русским барабанным удальцам, которые так наяривают, что ушам больно, я бы, наоборот, от фортиссимо перешел в пиано и в тихом адажио барабанной дробь нашептывал ей: «Я люблю тебя!» Мне хотелось бы стать знаменитым только ради того, чтобы слух обо мне дошел до нее и она с гордостью подумала: «Когда-то он был влюблен в меня». Но, увы! Люди не говорят обо мне, самое большее ей завтра скажут: «Вчера он опять до полуночи валялся в винном погребе!» Добро бы еще я был сапожни-

¹ Перевод И. Миримского.

ком или портным! Но это пошлая мысль, недостойная тебя, Адельгунда!

Теперь, верно, в городе уснули все, не спят только двое — самый высокий и самый низкий: сторож наверху, на соборной колокольне, да я внизу, в погребке. Ах, почему я не на колокольне! Каждый час я брал бы рупор, и к тебе в спальню слетала бы моя песня. Но нет! Ведь я бы нарушил твой сон, мой нежный ангел, пробудил бы тебя от сладких, приятных грез. Здесь же, внизу, меня никто не слышит, итак, я затаю свою песню. Душа! Разве я не подобен солдату, стоящему на посту, чье сердце исходит тоской по родине? И разве эту песню сложил не один из моих друзей?

В почном дозоре на посту
Стою от вахты за версту
И думаю думаю свою
Про милую в родном краю.

Я помню поцелуй ее,
Когда погнали под ружье.
Она мне шапку подала
И на прощанье обняла.

Пусть ночь темна и холодна,
Зато мне милая верна.
Едва подумаю о ней —
Теплей и сердцу веселей.

Сейчас в каморку ты войдешь,
Лампаду робкую зажжешь,
Чтоб помолиться перед сном
О суженом в краю чужом.

Но коли ты сейчас грустишь,
И слезы льешь, и ночь не спишь, —
Не убивайся, срок пройдет,
Господь солдата бережет.

Пробило полночь в тишине,
Уж на подходе смена мне,
В каморке тихой засыпай
И в снах меня не забывай! ¹

Вспоминает ли она обо мне в своих сновидениях? Я пел под глухое гудение колоколов. Уже полночь? В полуночном часе есть особая таинственная жуть; чудится, будто тихо-тихо вздрагивает земля, спящие под ней люди, поворачиваясь на другой бок, сотрясают тяжелый кров и спрашивают соседа, что покоится в ближней

¹ Перевод М. Рудницкого.

каморке: «Утро еще не настало?» Совсем иначе доходит вниз ко мне трепетный голос полуночного колокола, совсем иначе, чем в полдень, когда он звонко разнесится в светлом чистом воздухе. Тише! В погребке как будто скрипнула дверь? Страшно, если бы я не знал, что здесь внизу я совсем одинок, если бы я не знал, что люди ходят только там, наверху, я бы подумал, что тут, в подвалах, раздаются шаги. Ой, так и есть; шаги ближе; кто-то ищет ощупью дверь, вот нашел ручку, нажимает, но дверь заперта на ключ, закрыта на засовы и задвижки. Сегодня ночью меня не потревожит ни один смертный. Ой, что это? О, ужас! Дверь откроется!

В дверях стояли двое, они отвешивали церемонные поклоны, уступая друг другу дорогу. Один был длинный, худой, в пышном черном парике с буклями, в темно-красном кафтани допотопного покроя, отделанном золотыми галунами и золототкаными пуговицами; его невероятно длинные, тощие ноги торчали из узких штанов черного бархата с золотыми пряжками у колен, ниже шли красные чулки, а на башмаках тоже красовались золотые пряжки. Шпагу с фарфоровым эфесом он просунул в клапан на штанах. Размахивая маленькой шелковой треуголкой, он отвешивал поклоны, и при этом букли парика водопадными струйками ниспадали ему на плечи. Лицо у него было бледное, изможденное, глаза глубоко запавшие, большой нос огненно-красного цвета. Его спутник, гораздо ниже его ростом, которому он уступал дорогу, имел совсем иное обличье. Волосы у него были прилизаны, смазаны яичным белком, только на висках закручены в две трубочки, похожие на кобуры пистолета. Коса длиной в локоть сползала вдоль спины, на нем был светло-серый мундир с красными отворотами, ноги были всунуты в ботфорты, а упитанный животик — в богато расшитый камзол, доходивший до самых колен; на поясе висела рапира невероятной длины. В его заплывшем жиром лице было какое-то добродушие, особенно в маленьких рачьих глазках. Для вящей учтивости он размахивал огромной войлочной шляпой с зашпунными с двух сторон полями.

После того как я оправился от первого испуга, у меня осталось еще достаточно времени для наблюдений, ведь эти господа в течение нескольких минут выдвигали в дверях всякие искуснейшие аптраша. Наконец длинный распахнул пастежь дверь, взял низенького под руку и ввел его в мою залу. Они повесили шляпы на стену, отстегнули шпаги и молча сели за стол, не обратив на меня внимания. «Разве сегодня в Бремене карнавал?» — подумал я, разглядывая странных гостей. И все же в их облике было что-то жуткое. Не по себе было мне от их застывшего взгляда, от их молчания. Я уже хотел собраться с духом и заговорить, но тут в погребке снова послышался шум шагов. Шаги приблизились, дверь открылась, и четверо новых господ, тоже в старомодной одежде, вошли в зал. Мое внимание особенно привлек один, в охотничьем костюме, с арапником и рогом. Он чрезвычайно весело огляделся вокруг.

— Мое почтение, милостивые государи с берегов Рейна! — произнес басом длинный в красном кафтане, встав и отвесив поклон.

— Мое почтение, — пропещал маленький, — давно не видались, господин Иаков!

— Эй, эй, больше бодрости! Доброго здоровья, господин Матфей! — обратился охотник к маленькому. — И вам тоже, господин Иуда, и вам тоже доброго здоровья! Но что это значит? Где бокалы? Где трубки и табак? Видно, он, старый греховодник, жалкая мокрица, еще не очнулся от сна?

— Вот ведь лежебока! — отозвался маленький. — Этаким сопя, лежит себе пожевывает на кладбище, по погоди же, я тебя сейчас вызвою!

С этими словами он схватил колокол, стоявший на столе, и завопил и засмеялся резко и пронзительно. Остальные трое вновь пришедших тоже пожелали здравствовать всей честной компании и, поместив в угол палки, шпаги и шляпы, сели за стол. Того, что сидел между охотником и красным Иудой, они называли Андреем. Это был изящный, весьма приятный господин, на его прекрасных, еще юношеских чертах лежала печать строгой грусти, а на нежных губах блуждала кроткая улыбка; он был в белокуром с буклями парике, составлявшем разительный, однако приятный контраст с его большими карими глазами. Напротив охотника сидел крупный мужчина с красными прожилками на щеках и багровым носом. Нижняя губа у него отвисла; он барабанил пальцами по толстому животу. Они называли его Филиппом.

Рядом с ним сидел ширококостный мужчина, похожий на воина; его темные глаза сверкали отвагой, яркий румянец играл на щеках, густая борода затеняла рот. Его называли господин Петр.

Как у истых пьяниц, разговор без вина у них не клеился. Тут в дверях появилась новая фигура: седенький старичок на дрожащих ногах. Голова его казалась черепом, обтянутым сухой кожей, тусклые глаза глубоко запали. Тяжело дыша, втащил он в погреб большую корзину и смиренно поклонился гостям.

— Смотрите-ка! Вот и он, вот Валтасар, старый сторож винного погреба! — приветствовали его гости. — Пошевеливайся, старик, ставь бокалы и подавай трубки! Где это ты застрял? Уже далеко за полночь.

Старик несколько раз не совсем благопристойно зевнул, да и вообще вид у него был заспанный.

— Чуть не проспал первое сентября, — прокряхтел он. — У меня такой крепкий сон, а с тех пор как кладбище замостили, я плохо слышу. Но где же остальные гости? — продолжал он, доставая из корзины и ставя на стол бокалы причудливой формы и впушительных размеров. — Где же остальные? Вас всего шестеро, и старой Розы тоже нет.

— Ставь штофы, — приказал Иуда, — чтобы мы могли наконец выпить, и ступай за ними. Они еще в бочках, постучи

своими костяшками и вели им вставать, скажи, мы все уже в сборе.

Но не успел господин Иуда промолвить эти слова, как за дверью раздался громкий шум и смех.

— Гип-гип-ура! Да здравствует девица Роза, ура! И ее драгоценному дружочку Бахусу тоже ура! — раздались голоса, и сидящие за столом таинственные гуляки повскакивали с мест, громко крича: — Она, она тут! Девица Роза, и Бахус, и все остальные, ура! Теперь пойдет настоящее веселье! — И они подымали заздравные чаши, смеялись; толстяк барабанил себя по животу, а бледный сторож добросил шапку до самой подволоки, ловко швырнув ее между расставленными ногами, и присоединился к общему ликоваанию, крича: «Гип-гип-ура!» — да так пронзительно, что у меня зазвело в ушах. Какое зрелище! Деревянный Бахус, проскакавший по погребу верхом на бочке, спешил и, как был, голышом, затопал маленькими ножками в зал, своим круглым ласковым личиком и ясными глазками приветствуя всю компанию. Он вел за руку, почтительно, как песту, старую матрону высокого роста и внушительных объемов. Я по сей день не знаю, как могло это случиться, но тогда меня как осенило: эта дама и есть старая Роза, огромная бочка в Розовом подвале.

И как же эта старая рейнская уроженка разоделась! В молодости она, надо думать, была очень хороша собой. Хотя время и проложило морщины у нее на лбу и возле рта, хотя яркий румянец молодости и сошел с ее щек, все же два столетия не смогли окончательно стереть благородные черты ее красивого лица. Брови у нее, правда, поседели, и на заострившемся подбородке нахально вылезло несколько седых волосков, но приглаженные волосы, красиво окаймлявшие лоб, были каштанового цвета, и только кое-где в них серебрилась седина. Черная бархатная шапочка тесно прилегала к вискам, под стать шапочке была душегрейка из тонкого черного сукна, а из-под нее выглядывал корсаж красного бархата с серебряными крючочками и шнуровкой. На шее блесло широкое гранатовое ожерелье, а на нем висела золотая медаль, пышная юбка коричневого сукна охватывала ее дородное тело, а крошечный белый передничек, отделанный тонким кружевом, глядел плутовато. С одной стороны передничка висела большая кожаная сумка, с другой — связка огромных ключей, словом, Роза была вполне под стать тем почтенным матронам, что anno 1618 гуляли по улицам Кельна или Майнца.

А следом за Розой вошли, размахивая треуголками, еще шесть веселых кумпанов в кое-как падетых на голову париках, в долгополых кафтанах и длинных, богато затканых камзолах.

Уважительно, с должной благопристойностью повел Бахус при общем ликовании свою даму к столу. Она, как то приличествует, поклонилась всей компании и опустилась на стул, рядом с ней сел деревянный Бахус, а Валтасар, сторож при погребе, подсунул под него толстую подушку, иначе Бахусу было бы слишком низко сидеть. И последние шесть собутыльников тоже сели за

стол, и тогда я заметил, что здесь и вправду все двенадцать рейнских апостолов, которые обычно покоятся в бременском Апостольском подвале.

— Ну вот мы и собрались,— сказал Петр, когда ликование несколько приутихло,— вот мы и собрались, весь наш молодой веселый народ тысяча семисотого года, как всегда все в добром здравии. Ну, так за ваше здоровье, девица Роза, вы тоже не постарели, все такая же осапистая и красивая, как пятьдесят лет тому назад, за ваше здоровье, живите и здравствуйте, и ваш драгоценный дружок, господин Бахус, пусть тоже живет и здравствует!

— Да здравствует старая Роза, да здравствует! — воскликнули все, подняли бокалы и выпили. А господин Бахус, пивший из большой серебряной чаши, без труда осушил две кварты рейнского, и по мере того, как пил, он на глазах у всех вырастал и толстел, наподобие свиного пузыря, когда его надувают.

— Покорнейше благодарю, уважаемые господа апостолы и родственники,— ответила фрау Розалия, приветливо кланяясь.— Вы, я вижу, все такой же беспутный шутник, господин Петр! Я ни о каком драгоценном дружке ничего не знаю, и негоже так смущать благоправную девицу,— говоря так, она опустила очи долу и осушила бокал внушительного размера.

— Драгоценная моя подружка,— возразил Бахус, смотря на нее нежными глазками и беря ее за руку,— драгоценная моя, к чему так жеманиться? Ты же отлично знаешь, что мое сердце принадлежит тебе уже двухсотую осень и что среди всех остальных я привечаю тебя. Скажи, когда мы отпразднуем свадьбу?

— Ах вы, беспутный плутишка! — ответила старая дева и, покраснев, отвернулась от него.— С вами и четверти часа не просидишь, как вы уже пристаёте со своими амурами. Честной девушке и смотреть-то на вас зазорно. Что вы чуть не голышом по погребу бегаете? Могли бы на сегодняшнюю ночь позаимствовать у кого-нибудь штаны. Эй, Валсатар,— позвала она, развязывая свой белый передничек.— Поважи господину Бахусу этот передник, уж очень у него непотребный вид!

— Розочка, если ты меня сейчас поцелуешь,— воскликнул настроенный на любовный лад Бахус,— я позволю повязать мне на живот эту тряпицу, хоть и вижу в этом злую обиду своему наряду, но чего не сделаешь ради прекрасной дамы!

Валтасар повязал ему передничек, и он нежно склонился к Розе.

— Ах, не будь здесь этой молодежи...— прошептала она, застыдившись и тоже склоняясь к нему.

И все же бог вина приобрел под общие разудалые и разгульные клики и вспомоществование в виде передничка, и желанные проценты. Затем, опять осушив свою чару, он раздулся на несколько пядей вширь и ввысь и запел хриплым голосом:

Ветшают пынче замки все,
Прошло для замков время,
И лишь один стоит в красе,
Им славен город Бремен.
Роскошеству его палат
Сам кайзер, верно, был бы рад.
А в пише за решеткой
Какая там красotka!

Глаза что ясное вишо,
Пылают щеки ало,
А платье! — не видал давно
Такого матерьяла!
Наряд из дуба у нее,
Из тонкой бересты шитье,
И зашнурован туго
Железною подпругой.

Да вот беда, ее покой
Закрыт замками прочно,
А я хожу вокруг с мольбой
Порою полуночной
И у решетчатых дверей
Шепчу ей: «Отвори скорей,
Чтоб нам с тобой обняться
И всласть намиловаться».

И так все ночи я без сна
Брожу по подземелью,
Но лишь однажды мне она
Свою открыла келью.
Видать, я ей не угодил,
Себе же — сердце занозил.
Открой, святая Роза,
И вытащи занозу!¹

— Вы шутник, господин Бахус,— сказала Роза, когда он закончил нежною трелью,— вы же знаете, что бургомистр и господа сенаторы держат меня в строгом затворничестве и не разрешают ни с кем амуриться.

— Но мне-то ты все-таки могла бы иногда отворить свою спаленку, любезная Розочка,— прошептал Бахус,— у меня охота вкушать от сладости твоего ротика.

— Вы плутишка,— смеясь, ответствовала она.— Вы турок и путаетесь со многими; думаете, я не знаю, как вы любезничаете с ветреной французенкой, мамзель Бордосской, и с мамзель Шампанской, бледнолицой, как мел, да, да, у вас скверный нрав, вы не цените верную пемецкую любовь.

¹ Перевод М. Рудницкого.

— Правильно, я тоже так говорю! — воскликнул Иуда и протянул длинной костлявой рукой к руке девицы Розы. — Я тоже так говорю, а по сему случаю возьмите меня в присяжные кавалеры, дражайшая, а этот голыш пусть за своей французенкой волочится.

— Что? — крикнул деревянный голыш и, разгневавшись, выпил несколько кварт вина. — Что? Розочка, ты хочешь связаться с этим юнцом тысяча семьсот двадцать шестого года рождения? Фи, стыдись; а что касается моего голого наряда, господин умник, так я не хуже вашей милости могу напялить парик, надеть кафтан и прицепить шпагу, но я парядился так потому, что в теле у меня пламень и я не мерзну в погребке. А то, что девица Роза о французенках говорит, так это чистейшая выдумка. Я к ним иногда хаживал и забавлялся их остроумием, вот и все; я верен тебе, драгоценная моя, и тебе принадлежит мое сердце.

— Нечего сказать, хороша верность! — возразила его дама. — Довольно того, что дошло до нас из Испании, какие у вас с тамошними дамами шашни. О слащавой потаскушке Херес и говорить не стоит, это всем известно, а что вы скажете о девицах Дентилья де Рота и о Сан-Лукар? Да еще о сеньоре Педро Хименес?

— Черт возьми, уж очень вы ревнивы! — рассердился он. — Нельзя окончательно порвать старые связи. А что касается сеньоры Педро Хименес, то здесь вы не правы. Я бываю у нее только из добрых чувств к вам, потому что она ваша родственница.

— Наша родственница? Что вы сказки рассказываете? — заговорили разом все двенадцать и Роза. — Каким это образом?

— Разве вам неведомо, что эта сеньора, в сущности говоря, родом с берегов Рейна. Почтенный дон Педро Хименес вывез ее еще совсем молоденькой лозой с берегов Рейна к себе на родину в Испанию, там она прижилась, и он усыновил ее. Еще и по сию пору, хотя она и приобрела сладостный испанский характер, еще и по сию пору она не утратила сходства с вами, ведь основные фамильные черты не стираются окончательно. У нее та же окраска, тот же аромат, что и у вас; и это делает ее вашей достойной родственницей, драгоценнейшая девица Роза.

— За здравие, за здравие гишпанской тетушки Хименес, — воскликнули апостолы и подняли кубки.

Девица Роза, должно быть, не очень-то доверяла своему обожателю и подняла кубок с кисло-сладкой миной. Но, по-видимому, ей не хотелось продолжать дуться, и она начала разговор.

— А вы, дорогие мои рейнские родственники, все собрались? Да, вот мой нежный, приятный Андрей, вот отважный Иуда, вот пламенный Пестр! Добрый вечер, Иоанн, проти сонные глазки, ты какой-то совсем унылый. А ты, Варфоломей, не в меру растолстел и как будто обленился. А вот и веселый Павел, а как оглядывает всех Иаков, все такой же, как и прежде. Но как же так? За столом вас тринадцать! Кто это там в чужеземном наряде, кто его сюда пригласил?

Господи, как я испугался! Все они поглядели на меня с удивлением и, по-видимому, были не очень довольны моим присутствием. Но я собрался с духом и сказал:

— Покорнейше прошу разрешения представиться почтенной компании. Я человек, удостоенный степени доктора философии, только и всего, и в данное время проживаю в здешнем городе в гостинице «Город Франкфурт».

— Но ответствуй, удостоенный степени смертный, как посмел ты пожаловать сюда к нам в такой час,— весьма строго спросил Петр, и его пламенный взор сверкнул молнией.— Кажется, следовало бы знать, что тебе не место в такой высокородной компании.

— Господин апостол,— ответил я и по сей день еще не понимаю, откуда взялась у меня такая смелость, верно, от вина.— Господин апостол, прежде всего, пока мы не добрые знакомые, воспрещаю вам именовать меня на «ты». А что касается вашей высокородной компании, в которую якобы я пожаловал, так это ваша высокородная компания пожаловала ко мне, а не я к ней! Я, милостивый государь, сижу в этом помещении уже три часа!

— А что вы делаете в такой поздний час здесь в вишном погребе? — не так гневно, как апостол, спросил Бахус.— В это время земные обитатели обычно спят.

— Ваше превосходительство, на то есть своя причина,— ответил я,— я друг и приверженец благородного напитка, что цедят в здешнем подвале. Недаром высокородный сенат соизволил дать мне соизволение панести визит господам апостолам и девице Розе, что, как то приличествует, я и выполнил.

— Значит, вы охотно пьете рейнское вино? — сказал Бахус.— Ну, так у вас хороший вкус, что весьма похвально, особенно в теперешнее время, когда люди охладели к этому золотому напитку.

— Да, черт поberi их всех! — воскликнул Иуда.— Теперь никто не выпьет нескольких кварт рейнского, разве какой-нибудь заезжий доктор или досужий магистр, гуляющий в каникулярное время, да и эти пищие норовят выпить на дармовщинку.

— Покорнейше прошу извинить меня, господин фон Иуда,— прервал я наводящего страх господина в красном кафтане.— Я только отведал немного вашей виноградной крови тысяча семисотого года и некоторых других годов, ею меня потчевал здешний уважаемый бургомистр, а та, что стоит сейчас на столе, помоложе, и расплатился я за нее чистоганом.

— Доктор, не принимайте так близко к сердцу его слова,— сказала девица Роза.— Иуда это не со зла, его только сердит, и тут он прав, что времена переменились, и народ пошел какой-то вялый.

— Да,— воскликнул Андрей, нежный, приятный Андрей,— мне думается, что теперешнее поколение чувствует себя недостойным благородных напитков, потому сейчас и приходится варить всякую бурду из шнапсов и сиропов и давать ей разные помпезные

наименования: Шато Марго Силери, Сен-Жюльен или какие другие в том же роде, и потчевать этой смесью за трапезами, а вокруг рта от нее остается красное кольцо, потому что вино подкрашено, и наутро болит голова, потому что это презренный шнапс.

— Да, раньше, когда мы были еще молодыми, можно сказать юными, в годы девятнадцатый и двадцать шестой, жизнь была совсем другая, — повел речь Иоанн. — Даже еще в пятидесятом году в этих прекрасных покоях кипела жизнь. Каждый вечер, будь то ясной весной, когда солнце светит, будь то зимой, когда падает снег или идет дождь, каждый вечер во всех подвальчиках было полно гостей. Тут, где мы сейчас сидим, восседал во всем своем величии и блеске бременский сенат. Во внушительных париках, при шпагах, с отвагой в сердце, и перед каждым сенатором стояла большая чара.

— Здесь, здесь, не наверху, не на земле, здесь была их ратуша, вот это была зала сената; имспно здесь, за стаканом прохладного вина трактовали они о благе города, о соседях и прочих делах. Ежели сенаторы не сходились в суждениях, они не спорили, не пререкались, а бодро подымали заздравную чашу, вино согрело сердца, весело разливалось по жилам, и тогда быстро созревало решение, сенаторы пожимали друг другу руки и по-прежнему оставались друзьями, потому что были друзьями и приверженцами благородного вина. Данное слово было свято, и утром наверху, в присутственной комнате магистрата, приводили в исполнение то, на чем порешили накапуне в вишном погребе.

— Да, хорошее было время! — воскликнул Павел. — С тех пор и повелось и до сего дня еще ведется, чтобы у каждого сенатора был свой вишний листок, ежегодный вишний счет. Тем господам, что сидели и шли здесь каждый вечер, не угодно было всякий раз лезть в карман и развязывать кошель. Они велели отмечать на бирке, сколько было выпито, а в Новый год рассчитывались, и в наши дни еще есть славные господа, которые тоже так делают, но таких осталось немного.

— Да, да, детки, — сказала старая Роза, — прежде было иначе, так пятьдесят, сто, двести лет тому назад. Тогда гости приводили в погреб жен и дочерей, и бременские красавицы пили рейнское или вино наших соседей — мозельское — и славились далеко вокруг цветущими щечками, алыми губками и прекрасными сияющими глазами. Теперь они пьют всякую мизерабельную дрянь, вроде чая или чего-то в том же роде, что, как говорят, растет далеко отсюда — у китайцев — и что в мое время женщины пили, когда их одолевал кашель или какая другая хворь. Рейнское, приятное, давно признанное рейнское вино они терпеть не могут. Подумайте только, бога ради, они подливают в него испанское сладкое вино, вот тогда оно им по вкусу, они говорят: рейнское слишком кисло.

Апостолы громко расхохотались, и я невольно вторил им, а Бахус так трясся от хохота, что Валтасару пришлось его держать.

— Да, доброе старое время, — воскликнул толстый Варфоло-

мей,— бывало, бюргеры выпивали два штофа в один присест и не пьянели, а теперь их один бокал с ног валит. Потеряли привычку.

— Много лет тому назад случилась тут прелюбопытная история,— сказала девица Роза и улыбнулась.

— Расскажи, расскажи твою историю,— стали просить все; она выпила изрядно вина, чтобы прочистить глотку, и начала свой рассказ.

— В году тысяча шестисотом, да еще каких-нибудь двадцать, тридцать лет, в немецких землях шла великая война из-за веры. Одни думали так, а другие этак, и, вместо того чтобы разумно за стаканом вина обо всем столковаться, они проламывали друг другу черепа. Альбрехт фон Валленштейн, генерал-фельдмаршал императорской армии, свирепствовал в протестантских землях. Шведский король Густав-Адольф сжалился и пришел им на помощь с большим войском, конным и пешим. Баталий дано было множество, оба войска ожесточенно преследовали друг друга на Рейне и на Дунае, но это и все; не было ни решительного наступления, ни решительного отступления. В те годы Бремен и остальные ганзейские города были нейтральны и не хотели портить отношения ни с той, ни с другой стороной. Но путь шведу лежал через их владения и ему важно было сохранить с ними дружбу и согласие, поэтому он решил отправить к ним посла. Однако всюду было ведомо, что в Бремене все дела вершатся в винном погребе и что сенаторы и бургомистр мастера пить; вот шведский король и боялся, как бы они не насели слишком рьяно на его посла и в конце концов не напоили его допьяна, а тогда он согласится и на невыгодные для шведов условия.

В шведском лагере был полковник, который чудовищно пил. Два-три штофа вина к завтраку были ему нипочем, а вечером на закуску он выпивал полбочонка и затем отлично спал. Вот когда короля мучили опасения, как бы не опоили в бременской погребке его посла, канцлер Оксенштирна рассказал ему о полковнике по имени Кунстштюкер, который может здорово пить. Король обрадовался и приказал позвать полковника.

Перед королем предстал тщедушный человек, являвший весьма странное зрелище своим бледным лицом с синеватыми губами и огромным медно-красным посом. Король спросил его, сколько он считает возможным выпить, если приняться за дело всерьез. «О, король и повелитель,— ответил тот,— всерьез я за это дело никогда не принимался и до сего дня себя еще не проверял; вино стоит недешево, за день больше семи-восьми штофов не выпьешь, а то влезешь в долги». — «Ну, а сколько, по-твоему, ты все же можешь выпить?» — опять спросил его король, а тот бесстрашно ответил: «Если вы, ваше величество, соблаговолите заплатить, я бы охотно пропустил дюжину штофиков, но мой стремянный Валтасар Бездоннер пьет еще лучше меня». Тогда король послал и за Валтасаром Бездоннером, стремянным полковника Кунстштюкера, и если хозяин был уже достаточно бледен и худ, то слуга был и

того бледней и худее, а лицо у него было просто пепельное, словно он всю жизнь пил только воду.

Тогда король повелел посадить полковника и Бездошера, его стремянного, в палатку и доставить туда несколько бочонков старого хохгеймерского и ниренштейпского, а им приказал проверить свои силы. С одиннадцати утра до четырех вечера они осушили бочонок хохгеймерского и полтора бочонка ниренштейпского. Изумленный король пожаловал к ним в палатку, чтобы посмотреть, в каком они виде. Оба сабутыльника твердо держались на ногах, и полковник сказал: «Так, а теперь я отпущу ремень от портупей, тогда дело лучше пойдет». А Бездошер расстегнул три пуговицы на колете.

Все присутствующие были потрясены, а король сказал: «Лучших послов в веселый город Бремен мне не пайти». И тут же повелел отменно снаряжить полковника, равно как и Бездошера, который должен был изображать писаря. Король и капцлер научили полковника, что говорить во время беседы, и взяли с обоих слово за все время пути пить только воду, дабы встреча в погребе закончилась великой удачей. Полковнику Кунштшюкеру велено было мазать свой красный нос искусно изготовленной помадой, пока он не побелеет, чтобы в погребу не раскусили, каков их сабутыльник.

Совсем истощенные от водной диеты, прибыли они в город Бремен, посетили бургомистра, и тот сказал сенату: «Ой, каких двух бледных и худых кумпанов прислал к нам швед. Вечером мы поведем их в наш погреб и напоим допьяна. Я беру на себя посла, а доктор Перец займется писарем». Итак, после вечернего звона их торжественно проводили в погребок, бургомистр вел полковника Кунштшюкера, а доктор Перец, тоже пивший на славу, вел под руку стремянного, одетого посольским писарем и державшегося со скромным достоинством. Следом шли господа сенаторы, приглашенные на переговоры. Здесь, в этом самом зале они сели за стол и сперва откушали тушеного зайца, ветчины и селедки, чтобы набраться сил к предстоящей выпивке, затем посол, как то и положено, хотел приступить к переговорам, а писарь вытащил из сумки пергамент и перо, но бургомистр сказал: «Нет, ни в коем случае, почтенные господа, так не годится; в Бремene не заведено вершить дела всухую; по обычаю наших отцов и дедов надо сперва выпить за здоровье гостей». — «Я, собственно, не пьющий, — ответил полковник, — но раз вашему высокородию так желательно, я глоточек выпью». И они начали пить и вести разговоры о мире, о войне и об имевших место баталиях. Бургомистр и доктор, чтобы подать гостям хороший пример, усердно пили за их здоровье и сильно разгорячились. При каждой новой бутылке послы извинялись, они-де к вину не привычны, оно уже и так ударило им в голову. Бургомистр был этому рад и в свое удовольствие пропускал чарку за чаркой и скоро уже не знал, с чего начать, но, как обычно бывает в этом удивительном состоянии, подумал: «Посол уже пьян, и писаря доктор уже здорово напоил», и посему сказал:

«А теперь приступим к делу». Шведы были довольны и повели себя так, будто они и впрямь пьяным-пьяны, и со своей стороны стали усердно пить за здоровье хозяев.

Вот так все пили, судили и рядили и опять пили, пока бургомистр не заснул на полуслове, а доктор Перец не свалился под стол. Тут за дело взялись прочие господа сенаторы, они пили за здоровье гостей и трактовали о делах; но если полковник пил здорово, то и стремянный не отставал от него; пять купорщиков неустанно бегали взад и вперед и наполняли бокалы, потому что вино исчезало мгновенно, словно его выливали в песок. В конце концов гости напоили хозяев, так что все сенаторы, кроме одного, свалились под стол.

Этого единственного оставшегося на ногах рослого здорового мужчигу звали Вальтер. В Бремене о нем говорили всякое, и, не будь он сенатором, его бы давно обвинили в черной магии и колдовстве. Господин Вальтер, в сущности, был ремесленником — золотых дел мастером, но в гильдии он обратил на себя внимание, стал старшиной цеха, а затем прошел и в сенат. Он не ударил лицом в грязь, пил вдвое больше, чем оба гостя вместе взятые, им даже стало жутковато, — он рассудка не потерял, а у полковника уже мутилось в глазах и в голове словно колесо вертелось. Каждый раз, осушив бокал, сенатор Вальтер совал руку под шляпу, и стремянному чудилось, будто над его черными, как вороново крыло, волосами подымается голубоватое облачко, легкое, как дымка. Вальтер пил и пил, пока полковник Кунштштюкер не положил тихонько голову на живот бургомистру и не погрузился в блаженный сон.

Тут сенатор Вальтер со странной улыбкой обратился к писарю: «Любезный кумпан, вид у тебя важный, но, сдается мне, ты лучше справляешься со скребницей, чем с пером». Писарь обомлел. «Что вы имеете в виду, сударь? — сказал он. — Я надеюсь, вы это не всерьез, не забывайте, я писарь посольства его величества».

«Ха-ха-ха! — громко расхохотался Вальтер. — С каких это пор подлинные посольские писари ходят в таких балахонах и пишут на заседаниях такими перьями?» Тут стремянный увидал, что он в своей рабочей одежде копыа, а в руке у него — вот так штука! — самая обыкновенная скребница. Он пришел в ужас; понял, что правда обнаружена, и от страха не знал, куда деться. Но господин Вальтер как-то странно и насмешливо улыбнулся и одним махом выпил за его здоровье полторы кварты вина, потом сунул руку за ухо, и стремянный явственно увидел, как у него над головой поднялась легкая дымка. «Боже меня упаси, сударь, пить с вами впредь, — вырвалось у него, — вы, как я теперь думаю, черно-книжник и на всякие штуки мастер».

«Это еще как сказать, — ответил Вальтер спокойно и дружелюбно, — по тебе, дражайший конюх, мало поможет, если ты и дальше будешь пытаться меня перепить: я ввинтил себе в мозг крошечный кран, через него винные пары выходят наружу. Вот

смотри!» Он выпил большой бокал вина, повернулся затылком к Бездоннеру, разобрал на макушке волосы — и, гляди-ка! — у него из головы, словно из бочки, торчал крохотный серебряный кран. Он повернул втулочку, и сразу же оттуда вышел голубоватый дымок. Теперь стало понятно, что винный дух несколько не отягощает мозг.

От удивления стремянный всплеснул руками. «Вот так изобретение, господин колдун! — воскликнул он. — А не можете ли вы за спасибо ввинтить и мне в голову такую штучку?» — «Нет, так дело не пойдет, — не спеша ответил Вальтер, — видно, вы недостаточно сведущи в тайных науках, но вы полюбились мне, уж очень здорово вы пьете, поэтому я готов услужить вам. Вот сейчас у нас вакаптное место управителя в бременском погребке; Валтасар Бездоннер, брось службу у шведов, там больше воды, чем вина, пьют, и послужи высокородному сенату города Бремена. Если ты в тот или иной год вылакаешь больше вина, чем положено, не беда, выпьем еще; такого молодчика, как ты, нам давно не хватало. Валтасар Бездоннер, если хочешь, я тебя завтра же сделаю управителем погреба. Не хочешь — как хочешь, только тогда весь город узнает, что швед вместо писаря послал нам копюха». Предложение пришлось Валтасару по вкусу, словно его угостили благородным вином. Он оглядел огромное винное царство, хлопнул себя по животу и сказал: «Согласен». Затем они договорились по разным пунктам: что станется со злосчастной душой Бездоннера после кончины его бременного тела. Он стал управителем бременского винного погреба, а полковник Кунстштюкер отправился обратно в шведский лагерь, не договорившись ни до чего определенного. А когда императорское войско вошло в город, бургомистр и сенат были рады, что не связали себя обязательствами со шведом, хотя и не могли понять, как это так вышло.

Вот что рассказала Роза. Апостолы и я поблагодарили ее и очень посмеялись над обоими посланцами, а Павел спросил:

— А что случилось с веселым гулякой Валтасаром Бездоннером? Так и остался управителем погреба?

Роза оглянулась и, усмехнувшись, показала на угол залы.

— Вот он, веселый бражник, в том углу сидит, как и двести лет тому назад.

Мне стало страшно, когда я поглядел туда: в углу сидел бледный, изнуренный человек, он плакал и рыдал, неустанно запивая свое горе рейнским вином, и это был не кто иной, как тот управитель погреба Валтасар, который явился сюда с кладбища, откуда его вызвонил Матфей.

— Так как же, старик, значит, раньше чем стать купорщиком, ты служил в стремянных у полковника Кунстштюкера и даже был то ли писарем, то ли секретарем посольства? — обратился к нему Иаков. — Какие же условия поставил тебе господин с краном в черепной коробке?

— Ох, сударь, — простонал Валтасар, тяжело вздыхая из самой глубины души, и стоны его звучали так жутко, словно ему

вторила на фяготе смерть, смерть, которая пребудет во веки веков.— Ох, сударь, не требуйте, чтобы я рассказал.

— Говори, не таись! — закричали апостолы.— Чего хотел от тебя этот спиртоотсос, этот винный духоотвод? Чего он хотел от тебя?

— Моей души.

— Несчастный,— очень серьезно сказал Петр.— И что же он предлагал за твою несчастную душу?

— Вино,— пробормотал Валтасар еле внятно, и мне показалось, что в голосе его звучит безнадежность.

— Говори яснее, старик, как он обделал сделку с твоей душой?

Валтасар долго молчал, наконец он заговорил:

— Зачем расспрашивать, милостивые господа? Это страшно, а вам не понять, что значит потерять душу.

— Верно,— согласился Павел,— мы веселые духи, дремлем в вине и радуемся вечному, ничем не омраченному счастью и благоденствию, вот потому-то на нас и не может напасть страх. Кто обладает властью над нами, кто может опечалить, напугать нас? Ну, так рассказывай!

— Но за столом сидит человек, он этого не вынесет,— сказал мертвец,— при нем я не решусь говорить.

— Смелей, смелей,— сказал я, дрожа от страха.— Я могу вынести определенную порцию ужасов, и, в конце концов, что тут такого? Просто вы оказались у черта в лапах.

— Сударь, прочитали бы вы лучше молитву,— пробормотал старик,— но раз вы этого хотите, так слушайте: с человеком, который в ту ночь сидел со мной тут, в этом самом подвале, приключилось злое дело. Он продал душу дьяволу, а выкупить ее мог только при одном условии: заменить другой душой. Он уже не раз имел на примете всяких людей, но им всегда удавалось от него улизнуть. Меня он держал крепче. Я вырос, как дикарь, неучем, а ведя военную жизнь, много размышлять не приходится. Когда едешь по полю битвы и луна освещает землю, а на ней лежат скошенные смертью друзья и враги, смотришь и думаешь: «Они умерли и уже не живут»; о душе я не очень-то помышлял, а о тебе и преисподней и того меньше. Раз жизнь так коротка, то надо ею как следует насладиться, а вино и игра были моей страстью. Это заметил слуга преисподней и в ту ночь сказал мне: «Пожить лет двадцать — тридцать тут, в спиртном царстве, в винном раю и попить сколько душа хочет, вот это жизнь, так ведь, Валтасар?» — «Да, сударь,— ответил я,— но чем я могу заслужить такую жизнь?» — «Что, по-твоему, приятнее,— продолжал он,— жизнь в свое удовольствие здесь, на земле, или то, что будет потом, когда и знать-то уже не знаешь, живешь ты еще и пьешь ли вино?» Я поклялся страшной клятвой и сказал: «Мои бранные останки отправятся туда же, где лежат останки моих собутыльников. Мертвый ничего не чувствует и ни о чем не думает. Я знаю это по тем своим товарищам, которым пуля пробила череп,

посему я предпочитаю жить и радоваться жизни». Он же сказал мне: «Бжели ты отречешься от того, что будет потом, то нет ничего легче сделать тебя управителем этого погребка, напиши только свое имя вот тут, в книжке, и поклянись крепкой клятвой». — «Что будет со мной потом, меня мало заботит, — сказал я. — Я согласен стать управителем здешнего погребка навсегда и навечно, на все время, пока я живу, а там, когда меня закопают, пусть дьявол или любой, кто захочет, возьмет все то, что от меня останется».

Когда я произнес эти слова, мы оказались уже не вдвоем: рядом со мной сидел третий, он протягивал книжку, в которой я должен был поставить свою подпись. Но это был не ювелир, а кто-то другой.

— Кто же это был? Говори! — в нетерпении торопили апостолы.

Глаза старого управителя страшно сверкнули, а бледные губы задрожали. Он несколько раз пытался заговорить, но, казалось, судорога сжимает ему горло. Потом он вдруг решительно и смело посмотрел в темный угол, осушил свой бокал и бросил его об пол.

— Раскаяние ничему не поможет, старик Валтасар, — сказал он, смахивая с ресниц крупные слезы, — рядом со мной сидел дьявол.

При этих словах всех охватила жуть, безнадежная жуть. Апостолы глядели серьезно, молчали, уставившись в свои бокалы, Бахус закрыл лицо руками, а Роза побледнела и притихла. Казалось, все затаили дыхание, слышно было только, как тревожно стучат зубы в черепе мертвеца.

— Когда я был еще маленьким, послушным мальчиком, отец научил меня писать мою фамилию и имя. Я поставил свою подпись в книжке, которую держал в когтях дьявол. С той поры я зажил па славу, во всем Бремене не было человека веселее Валтасара, управителя винным погребом. Я пил все самые лучшие, самые превосходные, вкусные вина, что были тут. В церковь я не ходил, а когда начинался благовест, я шел к самой лучшей бочке и пил сколько захочу. Когда я состарился, на меня стал нападать страх, а когда я думал о смерти, по спине пробегал холодок. Жены, которая плакала бы обо мне, у меня не было, детей, которые утешили бы меня, тоже не было; поэтому, когда меня одолевали думы о смерти, я пил до потери сознания и засыпал. Так я и жил долгие годы, волосы у меня поседели, ноги и руки ослабли. Я жаждал успокоиться в могиле. И вот как-то я проснулся и в то же время чувствовал, что никак не могу проснуться по-настоящему: глаза не желали открываться; когда я хотел встать с постели, пальцы не гнулись, а ноги лежали неподвижно, будто не ноги, а чурбаны. К моей кровати подошли люди, пощупали меня и сказали: «Старик Валтасар умер».

Умер, подумал я и испугался: умер и не сплю? Умер и думаю? Меня охватил несказанный страх, я чувствовал, что сердце

остановилось, и все же что-то во мне шевелится и сжимается, не тело — тело лежит неподвижное, мертвое; так что же это такое? И мне стало страшно-страшно.

— Твоя душа! — невнятно произнес Петр.

— Твоя душа! — прошептали вслед за ним и другие.

— Потом с меня сняли мерку, длину и ширину, чтобы сколотить шесть досок, и положили меня в этот ящик, а под голову подсунули твердую, набитую стружками подушку и заколотили гроб, а душа моя устрасалась все больше и больше, потому что не могла уснуть. Потом я услышал похоронный звон соборного колокола, меня подняли и понесли, и никто не пролил ни слезинки. Меня отнесли на кладбище при церкви Божьей матери, там вырыли могилу; я и по сей день еще слышу, как терлись веревки, когда их тащили вверх из могилы, а я уже лежал внизу, потом в могилу набросали земли и камней, и наступила тишина.

Но когда настал вечер, когда на всех колоколах пробило десять, одиннадцать часов, моя душа задрожала еще сильнее. «Что будет с тобой, что будет с тобой?» — думал я. Я хотел прочитать молитву, которую помнил еще с детских лет, но губы мои не шевелились. Тут пробило двенадцать, и тяжелый могильный камень был сброшен одним рывком, а гроб содрогнулся от страшного удара...

В этот миг ударом, от которого пошел гул по всему подвалу, вышибло дверь нашего зала, и на пороге появилась высокая белая фигура. Я был так взбудоражен вином и ужасами этой ночи, так сбит с толку, что не вскрикнул, не вскочил, как, вероятно, поступил бы в другое время, а терпеливо ждал то страшное, что должно было свершиться. Первой моей мыслью было: сейчас появится дьявол.

Помните ту страшную минуту в «Доп Жуане», когда все ближе и ближе слышатся гулкие шаги, когда вбегает с криком Лепорелло и статуя Командора, сойдя со своего боевого копы на памятнике, приходит на пир? К нам в подвал вошла размеренным, гулко отдающимся шагом гигантская каменная фигура в панцире, но без шлема, с огромным мечом в руке. Бездушное лицо застыло в неподвижности, и все же каменные уста разомкнулись:

— Желаю здравствовать, любезные рейнские лозы, не мог не прийти в гости к прекрасной соседке в день ее рождения. Желаю здравствовать, девица Роза. Разрешите сесть за ваш пиршественный стол?

Все с изумлением глядели на гигантскую статую, но фрау Роза прервала молчание, захлопала от радости в ладоши и воскликнула:

— Боже мой! Да ведь это каменный Роланд, что уже не одно столетие стоит в нашем добром городе Бремене на соборной площади. Как приятно, господин рыцарь, что вы соблагволили оказать нам такую честь. Оставьте щит и меч и располагайтесь как дома. Не желаете ли вы сесть во главе стола рядом со мной? О господи, как я рада!

Деревянный бог вина, за это время изрядно выросший, бросал косые взгляды то на каменного Роланда, то на наивную даму своего сердца, столь громко и необузданно выражавшую свою радость. Он пробормотал что-то о незваных гостях и нетерпеливо задрыгал ногами. Но Роза пожала ему под столом руку и утихомирила его нежным взглядом. Апостолы подвинулись ближе друг к другу и уступили Роланду место возле старой девы. Он положил меч и щит в угол и довольно неловко сел на стул. Но, увы! Стульчик был рассчитан на добропорядочных бременских горожан, а не на каменного великана, — стул треснул и сломался, и Роланд растянулся на полу.

— Только жалкое поколение могло сколотить эту рухлядь, в мое время даже хрупкая девица, сев на этакую скамеечку, продавала бы сиденье, — сказал герой и медленно встал. Валтасар подкатил к столу бочку и пригласил рыцаря сесть. Бочка выдержала, только две клепки треснули. Валтасар наполнил большой бокал вином и поднес Роланду. Тот сжал его своей широкой каменной дланью: трах! бокал раскололся, и вино полилось Роланду по пальцам.

— Эх, не мешало бы вам снять каменные перчатки, — сердито проворчал Валтасар и подал ему серебряный кубок в полторы кварты: в старые времена кубки таких размеров звались четвертинами. Рыцарь взял его, только кое-где от его каменных пальцев остались вмятины, разинул огромную пасть и влил в нее вино.

— По вкусу ли вам вино? — спросил Бахус гостя. — Вы, верно, давно вина не пивали?

— Клянусь мечом, вино отменное. Какое это вино?

— Красное энгельгеймское, государь мой, — ответил управитель погребца.

При этих словах каменные глаза рыцаря приобрели жизнь, заблестели, ласковая улыбка скрасила изваянные черты, рыцарь с наслаждением погрузил взор в кубок.

— Энгельгейм, сладостное, любезное сердцу имя, — молвил он. — Рыцарский замок моего славного повелителя. Значит, и по сию пору еще не забыто твое имя и цветут еще лозы, некогда посаженные Карлом в его Энгельгейме? Вспоминают ли еще и Роланда и Каролуса Магнуса, его наставника?

— Это вам надо спросить у того человека, что сидит вон там, — ответил Иуда. — Мы больше с землей дела не имеем. Он назвался доктором и магистром, надо полагать, он может вам сообщить то, что касается человеческого рода.

Гигант вопрошающе взглянул на меня.

— Благородный паладин, — сказал я, — хоть в наши дни род людской измелчал и обмяк и люди в своем скудоумии прилепились к настоящему и не заглядывают ни в будущее, ни в прошлое, все же память у нас не окончательно иссякла. Мы чтим великих и славных мужей, которые некогда ступали по земле нашей родины, мы и по сие время живем в их тени. Есть еще чувствительные люди, которые, когда их дожимает уж слишком будничное,

бесцветное настоящее, спасаются в прошлое, при упоминании прославленных времен сердца их бьются сильнее, они почтительно бродят среди руин, где некогда сидел в своем подземном покое великий король, где вокруг него стояли рыцари, где звучала многозначительная речь Эгинхарда, где милая Эмма подносила кубок самому верному паладину Карла. А где упоминается имя вашего великого властителя, там не забывают и Роланда. Вы были его ближайшим соратником, и ваше имя тесно связано с ним и в песне; и в предании, и в памятных нам образах. Последний призывный звук вашего рога все еще звучит из-под земли в Ронсевале и будет звучать до тех пор, пока не сольется с трубным гласом, возвещающим Страшный суд.

— Значит, мы не напрасно жили на свете, добрый старый Карл, потомство чтит наши имена,— молвил рыцарь.

— Да, если бы люди позабыли имя того, кто первый посадил виноград на рейнских берегах, им было бы впору хлебать воду из Рейна, они были бы недостойны пить виноградную кровь с его холмов,— воскликнул пламенный Иоанн.— Так подыдем бокалы, любезные кумпаны и апостолы, подыдем бокалы за здоровье нашего достойного родоначальника, за здоровье Карла Великого!

Все подняли кубки, и Бахус сказал:

— Да, это было прекрасное, славное время, и я, как и тысячу лет тому назад, радуюсь, вспоминая о нем. Там, где теперь на холмах раскинулись чудесные виноградники от берега Рейна до горных хребтов, где в рейнской долине виноградные лозы одна за другой взбегают вверх и сбегают вниз по склонам, там прежде простирался дремучий лес. И вот однажды король Карл Великий глядел из своего Энгельгеймского замка на горы, и он увидел, что солнце уже в марте месяце одевает теплом холмы, стоняет снег в Рейн, что на деревьях рано распускаются листья, а молодая трава спешит из земли навстречу весне. И тогда у него родилась мысль вырастить виноград там, где до того стоял лес.

Тут на рейнских холмах, около Энгельгейма, закипела деятельная жизнь, лес исчез, земля была готова воспринять в свое лоно виноградную лозу. Тогда Карл послал людей в Венгрию и Испанию, в Италию и Бургундию, в Шампань и Лотарингию, повелев привезти виноградные лозы. Он посадил в лоно земли голые ветки.

И я возрадовался от всего сердца, что царство мое распространилось и на немецкую землю, а когда там зацвели первые лозы, я с блестящей свитой вступил в Рейнгау. Мы расположились на холмах и потрудились на славу и в воздухе и на земле. Мои слуги протянули топчайшие сети, чтобы ловить весеннюю росу и уберечь от нее лозы, они поднимались наверх, приносили в долину теплые солнечные лучи и заботливо омывали ими маленькие виноградники, они черпали воду из зеленого Рейна и поили нежные корни и листья. А осенью, когда поворожденное дитя рейнских холмов лежало в колыбели, мы устроили всеелое празднество и пригласили на пиршество все четыре стихии. Они богато одарили

младенца и положили принесенные на память подарки к нему в колыбель. Огонь прикрыл дитяти глаза ладонью и сказал: «Пусть пребудет с тобой мой знак навеки, пусть живет в тебе чистый, ласковый пламень, пусть придаст он тебе цену». Потом приблизился воздух в легком золотом одеянии, он положил руку на голову дитяти и сказал: «Пусть будет светлой и нежной твоя окраска, как золотистая утренняя кромка на холмах, как золотистые волосы рейнских красавиц». И вода в серебряном уборе склонилась над дитятей и прожурчала: «Я всегда буду близко от твоих корней, пусть твое потомство вечно зеленеет и цветет, пусть раскинется оно по всему берегу плодородного Рейна». А земля подошла и поцеловала дитя в уста и пахнула на него сладостным дыханием. «Ароматы всех моих трав, нежные запахи моих цветов собрала я тебе на память,— сказала она.— Самые благовонные масла, амбра и миро уступят твоему нежному букету, а прелестнейших твоих дочерей парскут в честь царицы цветов именем Роза».

Так сказали стихии; мы порадовались на драгоценные дары, украсили дитя свежими виноградными листьями и послали в королевский замок. А король изумлялся, глядя на прекрасного младенца, пестовал и лелеял его, а лозу, выросшую на берегу Рейна, ценил наряду с самыми дорогими своими сокровищами.

— Андрей, любезный братец,— воскликнула девица Роза,— у тебя такой сладостный, такой нежный голос, не споешь ли ты песню во славу рейнской земли и ее вин?

— Я спою, ежели это послужит вам на радость, благородная дева, и не будет в тягость вам, благородный Бахус, и для вас, государь мой, рыцарь Роланд, также будет иметь свою приятность.

И он пропел очаровательную песню, мелодичную и чувствительную, гармонично и изящно сложенную, что явно указывало на старого мастера 1400—1500-х годов.

Слова вылетели у меня из головы, но мелодию, простую и прелестную, мне все же хотелось бы вспомнить. Петр вторил певцу звучным прекрасным голосом. Казалось, всех охватило желание петь: когда кончил Андрей, не дожидаясь просьб, запел Иуда, а за ним последовали и остальные. Даже Розе, хотя она и очень жеманилась, все же пришлось спеть песню 1615 года, которую она исполнила приятным, чуть дрожащим голосом. Роланд пропел громовым басом военный гимн франков, из которого я понял всего несколько слов, и, наконец, когда все кончили, они поглядели на меня. Роза кивнула, предлагая мне тоже выступить. И тогда я пропел:

На Рейне, на Рейне лозой виноградной
Немецкое зреет вино.
Спускаясь по берегу тенью прохладной,
Отраду сулит нам оно¹.

¹ Перевод М. Рудницкого.

Слушая слова песни, они сидели, затаив дыхание, и переглядывались, они придвинулись ближе, а те, что сидели поодаль, вытягивали шеи, будто боясь упустить хоть слово. Я ободрился, голос окреп, песня лилась все громче и громче, — выступление перед такой публикой вдохновило меня. Старая Роза кивала в такт головой, подпевая мне, а глаза апостолов светились радостной гордостью. Когда я замолк, они обступили меня, они жали мне руки, а Андрей коснулся моих губ пещным поцелуем.

— Доктор, вот это песня! Как радуется она душу! — воскликнул Бахус. — Доктор, сердечный друг, скажи, ты сам ее сложил, она зародилась в твоём удостоенном докторской степени мозгу?

— Нет, ваше превосходительство, я не такой мастер по части песен. Того, кто ее сложил, уже давно похоронили. Его звали Маттиас Клаудиус.

— Добро-доброе человека ценили — доброго-доброе похоронили, — вздохнул Павел. — Какая светлая, какая веселящая песня, светлая и чистая, как натуральное вино, смелая и веселящая, как дýхи, живущие в вине, приправленная пряной шуткой, веселым юмором, как тот пряный аромат, что исходит из бокала чистого вина.

— Государь мой, он давно умер, это я знаю, но другой великий смертный сказал: «Доброе вино — хороший товарищ... и кому не случится иной раз опьянеть». И я полагаю, что друг Маттиас тоже так думал, пируя с друзьями, иначе он вряд ли сложил бы такую чудесную песню, которую и по сей день распевают все веселые люди, бродя среди рейнских холмов или потягивая благородное рейнское вино.

— Так эту песню и вправду поют? — воскликнул Бахус. — Знаете, доктор, меня это радуется, пожалуй, не так уж оскудел род людской, раз еще не забыты такие светлые, прекрасные песни, раз люди еще поют их.

— Ах, государь мой, — печально молвил я, — очень много у нас людей с узкими взглядами, таковы ханжи от поэзии, они не желают признавать подобные песни за стихотворения, как иные святоши не считают «Отче наш» за молитву, для них такая молитва недостаточно мистична.

— Дураки были во все времена, сударь мой, — возразил мне Петр, — а кроме того, пусть лучше всякий за собой примечает. Но раз мы заговорили о вашем поколении, то не сообразовали ли вы рассказать нам, что делалось на земле за последний год.

— Если это интересно присутствующим здесь господам и дамам... — робко начал я.

— Смелей, смелей, — воскликнул Роланд, — что до меня, то рассказывайте хоть о событиях за последние пятьсот лет, я на своей соборной площади вижу только папиросников, пивоваров, пасторов и старух.

Остальные поддержали его.

— Во-первых, что касается немецкой литературы...— начал я свое повествование.

— Стой! *Manum de fabula!*¹ — прервал меня Петр.— Какое нам дело до вашей жалкой мази, до ваших мелочных, мерзких, уличных перебранок и трактирных потасовок, до ваших стихоплетов, лжепророков и...

Я испугался: если этим господам не интересна даже наша чудесная, великолепная литература, о чем мне тогда рассказывать? Я подумал и снова начал:

— Очевидно, за последний год Жюко, если говорить о театре...

— О театре? О театре не надо! — прервал меня Андрей.— К чему нам слушать о ваших кукольных комедиях, марионетках и прочей ерунде. Уж не думаете ли вы, что нас хоть сколько-нибудь трогает, освистан или нет какой-то там ваш сочинитель комедий? Неужели на земле не происходит теперь ничего интересного, ничего имеющего всемирно-историческое значение, ничего, о чем стоило бы рассказывать?

— Ах, избави бог,— возразил я.— Всемирной истории у нас больше нет, по этой части теперь остался только франкфуртский союзный сейм. У наших соседей, пожалуй, что-то еще иногда случается. Вот, например, во Франции иезуиты опять вошли в силу и завладели скипетром, а в России, говорят, была революция.

— Вы путаете названия стран, мой друг,— сказал Иуда.— Верно, вы хотели сказать, что в России опять появились иезуиты, а во Франции произошла революция.

— Никак нет, господин Иуда Искаротский,— ответил я,— все, как я сказал, так и есть.

— Вот тебе на! — задумчиво пробормотали они.— Очень странно, всё вверх дном.

— И нигде не воюют? — спросил Петр.

— Немножко воюют греки с турками, по скоро кончат.

— Вот это прекрасно! — воскликнул паладин и ударил каменным кулаком по столу.— Меня уже давным-давно приводит в ярость, что христианский мир так подло позволяет мусульманам держать в оковах этот великий народ. Поистине это прекрасно. Вы живете в хорошее время, ваше поколение благороднее, чем я думал. Значит, рыцарство Германии, Франции, Италии, Испании и Англии выступило, чтобы сразиться с неверными, как сражалось с ними в прежнее время под знаменами Ричарда Львиное Сердце? Генуэзский флот бороздит Архипелаг, переправляя в Грецию тысячи воинов, королевская орифламма приближается к стамбульскому берегу, и в первых рядах развевается австрийский стяг? Да, для такого сражения я бы охотно опять сел на кося, из-

¹ Руки (прочь) от выдумки! (лат.)

влек бы мой добрый меч Дюрандаль и затрубил бы в призывный рог, чтобы все герои, что покоятся в могиле, встали из гроба и вместе со мной ринулись в бой с турками.

— Благородный рыцарь,— ответил я, краснея за наше поколение,— времена изменились. При теперешнем положении вас, вероятно, арестовали бы как демагога, потому что ни габсбургских знамен, ни орифламы, ни британской арфы, ни испанских львов в теперешних сражениях не видно.

— Кто же, если не они, вступили в таком случае в бой с полумесяцем?

— Сами греки.

— Греки? Неужели? — воскликнул Иоанн.— А другие государства? Чем же заняты другие государства?

— Их послы еще не отозваны из Порты.

— Смертный, что ты говоришь? — застыв от удивления, спросил Роланд.— Кто может оставаться безучастным, когда где-нибудь народ отстаивает свою свободу? Пресвятая богородица, что делается на свете! Поистине камни и те возопили бы!

Произнеся последние слова, он от ярости так сжал кубок, словно тот был не из серебра, а из олова, и вино брызнуло на своды. Загремев, встал рыцарь из-за стола, взял свой щит и длинный меч и громяющим шагом вышел из зала.

— Ну и гневливый же кумпан каменный Роланд,— когда с шумом захлопнулась дверь, пробормотала Роза, стряхивая с косынки капли вина.— Ишь что выдумал, каменный дурень,— на старости лет собрался воевать. Покажись он только да при таком росте, его тут же без всякого разговора укутат правофланговым в Бранденбургский гренадерский полк.

— Девушка Роза,— сказал Петр,— он гневлив, это верно. Он мог бы, конечно, выйти отсюда по-иному, но, вспомните, ведь он был в свое время *fugioso*, неистовым; раздавить серебряный кубок или обрызгать вином даму, это что, он и не то еще выкидывал. Разобравшись как следует, я не могу посочинять на него за горячность; ведь в свое время он тоже был человеком, да к тому же еще славным паладином великого короля, храбрым рыцарем, который, захоти того Карл, один ринулся бы в бой против тысячи мусульман. Ему стало стыдно, вот он и разгневался.

— А ну его, каменного великана! — сказал Бахус.— Меня он стеснял, да, стеснял. Этот олух в нашу компанию не годится, он все время с насмешкой взирал на меня с высоты своих десяти футов. Только бы помешал нашему веселью, испортил бы мне все удовольствие. Ничего у нас из танцев не вышло бы, где уж ему при его-то негнущихся каменных ногах пускаться в пляс, тут же и свалился бы.

— Ура, ура! Танцы, ура, танцы! — закричали апостолы.— Валтасар, давай музыку!

Иуда встал, падел огромные перчатки с крагами, дошедшими ему до локтя, церемонно поклонился девушке Розе и сказал:

— Высокочитимая и прекраснейшая девица Роза, осмелюсь просить вас об особой чести — подарить мне первый...

— *Manum de...*¹ — осадил его патетическим жестом Бахус.— Бал аранжирован мною, посему я должен его открыть. Вы, милостивый государь, танцуйте с кем вам будет угодно, моя Розочка будет танцевать со мной. Правда, сокровище мое?

Она, покраснев, присела в знак согласия, а Иуду апостолы подняли на смех. Меня бог вина подозвал величественным жестом.

— Доктор, вы музицировать умеете? — спросил он.

— Немного.

— С такта не собьетесь?

— Нет, с такта не собьюсь.

— Ну тогда берите этот бочонок, садитесь рядом с Валтасаром Бездоннером, управителем здешнего погреба и кларнетистом. Возьмите в руки вот эти деревянные бочарные молоточки и аккомпанируйте ему барабанной дробью.

Я был удивлен, однако согласился, правда, нехотя. Но если мой барабан был несколько необычен, то инструмент Валтасара был и того удивительнее: вместо кларнета он сунул в рот железный кран от сорокаведерной бочки. Рядом с ним уселись Варфоломей и Иаков с огромными воронками для вина, которые они приспособили под трубы, и ожидали, когда будет дан знак к началу. Стол отодвинули к сторонке, Роза и Бахус приготовились к танцу. Он махнул рукой, и грянула ужасающая, визгливая, фальшивая, оглушительная музыка, в такт которой я барабанил по бочонку.

Валтасар дудел в свой кран, который гудел и свистел, как дудка почного сторожа. Чередовались только два тона: основной и противный пискливый фальцет. Оба трубача до отказа надули щеки, но извлекали из своих инструментов лишь робкие жалобные звуки, от которых щемило сердце, как от тех звуков, что издают морские раковины, когда в них трубят тритоны.

Танец, который исполняли Роза и Бахус, вероятно, был в ходу лет двести тому назад. Она взялась за юбку и растянула ее в обе стороны так, что стала похожа на большую толстую бочку. Стоя на месте, она перебирала погами, то поднимаясь на цыпочки, то приседая в книксене. Зато ее кавалер, волчком вертевшийся вокруг нее, проявлял куда больше живости; он подпрыгивал, выделявая всякие смелые пируэты, прищелкивал пальцами и выкрикивал: гоп-ля, гоп-ля-ля! Забавно было смотреть на развевающийся во все стороны передничек девицы Розы, повязанный ему Валтасаром, на его дрыгающие ноги и на широкую веселую улыбку.

Наконец он как будто устал, он подозвал Иуду и Павла и что-то им шепнул. Они спяли с него передник и, взявшись за оба

¹ Руки прочь... (лат.)

конца, принялись его тянуть и тянули, пока он не растянулся в целую простыню. Потом они позвали остальных, расставили их вокруг простыни и велели взяться за ее край. «Так, теперь они, должно быть, пачнут ко всеобщему удовольствию качать старика Валтасара, — подумал я. — Были бы своды повыше, а то, чего доброго, он еще разобьет себе голову». Тут Иуда и силач Варфоломей подошли к нам и схватили... меня. Валтасар Бездоннер язвительно усмехнулся. Я дрожал, я сопротивлялся, напрасно. Иуда крепко схватил меня за горло и грозился задушить, если я не перестану упираться. Я чуть не потерял сознание, когда они под общие ликующие крики положили меня на простыню, но я все же взял себя в руки. «Только не очеь высоко, благодетели мои, не то я расшибу о подволоку череп», — в страхе взмолился я. Но они смеялись и перекрикивали меня. Тут они начали раскачивать простыню, а Валтасар трубил в воронку; меня бросало то вверх, то вниз; сначала на три-четыре, пять футов. Вдруг они стали подбрасывать сильнее, я взлетел наверх и... сводчатый потолок раздвинулся, словно облако, я летел все выше, теперь уже над крышей ратуши, все выше, выше соборной колокольни. «Да, теперь тебе конец, теперь, если упадешь, сломаешь шею, в лучшем случае руки или ноги! — думал я. — Боже мой, представляю себе, как она посмотрит на калеку! Прощай, прощай жизнь, прощай любовь!»

Наконец я достиг высшей точки полета и теперь с той же стремительностью стрелой полетел вниз. Трах! Вниз, сквозь крышу ратуши, вниз, сквозь своды погреба. Но упал я не на простыню, а прямо на стул и вместе со стулом грохнулся навзничь на пол.

Некоторое время я лежал, оглушенный падением. Сильная боль в голове и холодный пол наконец привели меня в чувство. Вначале я не понимал, свалился ли я дома с постели или лежу в каком-то другом месте. Наконец я вспомнил, что свалился откуда-то с большой высоты. Я с опаской ощущал себя, руки, ноги, все цело, только голову ломило от падения. Я поднялся, огляделся. Я был в каком-то сводчатом помещении, в подвальный люк проникал тусклый свет, на столе с неубрашными стаканами и бутылками чуть мерцала свеча при последнем издыхании, вокруг стола стояли стулья, а перед каждым стулом — пробные штофики с длинной полоской бумаги на горлышке. Так, теперь я постепенно все вспомнил. Я в Бремене, в винном погребе, я вошел сюда вчера на ночь глядя, пил вино, приказал меня тут запереть, а потом... дрожь от страха, я оглядел помещение, — все, все пробудилось вдруг в памяти. Что, если призрачный Валтасар все еще сидит в своем углу, а винные духи еще витают вокруг меня? Я отважился обвести робким взглядом все углы сумрачного подвала. А вдруг... вдруг это мне только приснилось?

Размышляя, обошел я длинный стол. Штофики с пробками стояли против каждого, как он сидел. Во главе стола Роза, потом Иуда, Иаков... Иоанн — все на тех же местах, где ночью я их видел, казалось мне, во плоти. «Нет, сон не бывает таким ярким, —

подумал я.— Все, что я видел, что слышал, было наяву!» Но долго размышлять не пришлось: я услышал, как в двери повернулся ключ, дверь открылась, и старый управитель погребца вошел и поклонился мне.

— Только что пробило шесть часов,— сказал он,— и я тут, как вы и приказывали. Пришел вас выпустить. А как вы спали нынешней ночью? — продолжал он, когда я молча встал, чтобы последовать за ним.

— Сносно, насколько можно сносно выспаться на стуле.

— Сударь,— испуганно воскликнул он, внимательно приглядевшись ко мне.— Не приключилось ли с вами ночью чего неладного? Вы такой бледный, расстроенный, и голос дрожит!

— Отец, ну что могло здесь со мной приключиться? — ответил я, принуждая себя рассмеяться.— Что я бледен, что кажусь расстроенным, так как же ищаче, ведь я только под утро заснул да еще не в постели.

— Что вижу, то вижу,— сказал он, покачав головой.— Да и почной сторож сегодня чуть свет пришел ко мне и сказал, что, когда он проходил после полуночи мимо погребного люка, оттуда доносились голоса, какое-то пение, говор.

— Вздор, ему померещилось! Я немного попел для собственного развлечения, может, говорил во сне, вот и все.

— Чтобы я еще когда оставил в такую ночь кого-нибудь в погребу, нет, боже меня упаси! — бормотал он, подымаясь со мной по лестнице.— Должно, и натерпелись вы здесь страху, такого насмотрелись и наслушались! Пожелаю вам, сударь, доброго утра!

А в нише за решеткой
Какая там красотка!

Помня слова весельчака Бахуса, побуждаемый жаждой любви, я пошел, проспав всего несколько часов, пожелать доброго утра своей прелестнице. Но она приняла меня холодно, сдержанно, а когда я шепнул ей несколько нежных слов, она отвернулась и громко смеясь, сказала:

— Ступайте, проспитесь сперва, сударь!

Я взял шляпу и вышел, так пренебрежительно она со мной никогда раньше не говорила. Мой приятель, сидевший там в комнате за роялем, вышел следом за мной.

— Сердечный друг,— горестно сказал он, пожимая мне руку,— с твоей любовью покончено раз и навсегда, выбрось ее из головы.

— Это я и сам заметил,— сказал я.— К черту все на свете: прекрасные глаза, алые губки и глупую доверчивость к тому, что говорят девичьи взгляды, что произносят девичьи уста!

— Не кричи, наверху услышат,— прошептал он.— Но скажи, бога ради, правда, что ты всю ночь провалялся пьяный в винном погребе?

— Да, правда! А кому какое до этого дело?

— Не знаю, как это дошло до нее, но она проплакала все утро, а потом сказала: избави ее бог от такого пьяницы, который почи напролет просиживает за стаканом вина и из любви к выпивке пьет в полном одиночестве, это пропащий человек, она не хочет больше о тебе слышать.

— Вот как? — равнодушно отозвался я, и мне стало немного жаль себя.— Значит, она меня никогда не любила, иначе выслушала бы меня; передай ей мой почтительнейший поклон. Прощай.

Я поспешил в гостиницу, быстро упаковался и в тот же вечер уехал. Проезжая в почтовой карете мимо статуи Роланда, я весьма дружески поклонился рыцарю давних времен, и к ужасу почтальона он кивнул мне каменной головой. Старой ратуше и винному погребу я послал воздушный поцелуй, потом забился в угол кареты и мысленно вновь пережил фантазмагории этой ночи.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|------------|
| <i>В. Каверин. Сказки Гауфа</i> | 3 |
| Сказка под видом альманаха. <i>Перевод Н. Касаткиной . .</i> | 9 |
| КАРАВАН. Перевод Н. Касаткиной | 13 |
| Рассказ о калифе-аисте | 15 |
| Рассказ о корабле привидений | 23 |
| Рассказ об отрубленной руке | 31 |
| Спасение Фатьмы | 42 |
| Рассказ о Маленьком Мухе | 54 |
| Сказка о мнимом принце. | 66 |
| АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ ШЕЙХ И ЕГО НЕВОЛЬНИКИ. Пере- | |
| вод И. Татариновой | 83 |
| Карлик Нос | 89 |
| Молодой англичанин | 113 |
| История Альмансора | 130 |
| ХАРЧЕВНЯ В ШПЕССАРТЕ. Перевод И. Татариновой . . | 141 |
| Сказание о гульдене с оленем. <i>Перевод С. Шлапоберской</i> | 145 |
| Холодное сердце. Часть первая. <i>Перевод С. Шлапоберской</i> | 161 |
| Приключения Сауда. <i>Перевод И. Татариновой</i> | 180 |
| Стинфольская пещера. <i>Перевод И. Татариновой</i> | 209 |
| Холодное сердце. Часть вторая. <i>Перевод С. Шлапоберской</i> | 228 |
| ФАНТАСМАГОРИИ В БРЕМЕНСКОМ ВИННОМ ПОГРЕБКЕ. | |
| <i>Перевод И. Татариновой</i> | 249 |

Гауф В.

Г24 Сказки: Пер. с нем./Вступ. статья В. Каверина;
Худож. А. Лурье.— М.: Худож. лит., 1988.— 286 с.
(Классики и современники. Зарубеж. лит-ра).

ISBN 5-280-00045-0

Настоящий сборник немецкого писателя-романтика Вильгельма Гауфа (1802—1827) составляют три цикла его наиболее популярных сказок: «Караван», «Александрийский шейх и его невольники», «Харчевня в Шпессарте». В них вошли сказки «Рассказ о Маленьком Муке», «Карлик Нос», «История Альмансора» и др. Кроме того, в книгу включена философская новелла-сказка «Фантасмагории в бременском винном погребке». Книга рассчитана на взрослого читателя.

Г $\frac{4703000000-188}{028(01)-88}$ 129-88

ББК 84.4Г

КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННОКИ

Зарубежная литература

ВИЛЬГЕЛЬМ ГАУФ

Сказки

Редактор *Т. Блантер*

Художественный редактор *А. Моисеев*

Технический редактор *Л. Витушкина*

Корректоры *Т. Калинина, И. Филатова*

ИБ № 4971

Сдано в набор 29.07.87. Подписано в печать 15.12.87. Формат 60×90³/₁₆. Бумага кн.-жур. № 2. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 18. Усл. кр.-отт. 18,75. Уч.-изд. л. 20,75. Изд. № I-2766. Тираж 1 700 000 (3 зав. 500 001—750 000) экз. Заказ № 1359. Цена 1 р. 70 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28

1 р. 70 к.



Зарубежная литература



В. Гауф СКАЗКИ

